

Фредерик Бастиа
Протекционизм и коммунизм



*«Протекционизм и коммунизм / Пер. с франц. Ю. А. Школенко.»: Социум; Челябинск; 2011
ISBN 978-5-91603-035-8*

Аннотация

Фредерик Бастиа (1801–1850) – французский экономист, государственный деятель и публицист, отстаивавший частную собственность, свободные рынки и ограниченное правительство. Он возглавлял движение за свободу торговли во Франции, печатался в разнообразных периодических изданиях. Большинство его работ написано в течение нескольких лет до и после Революции 1848 г. – это было время, когда социализм быстро завоевывал позиции во Франции. Таким образом, Бастиа одним из первых среди сторонников свободы оказался на острие борьбы с идеями социализма: он анализировал и разъяснял все социалистические заблуждения по мере их появления и показывал, как социализм неизбежно должен выродиться в коммунизм.

Фредерик Бастиа Протекционизм и коммунизм

Государство

Я бы очень желал, чтобы установили премию не 500 франков, а 1 миллион франков с награждением еще крестами и лентами для выдачи их тому, кто дал бы хорошее, простое и вразумительное определение слова *Государство*.

Какую громадную услугу оказал бы он обществу!

Государство ! Что это такое? Где оно? Что оно делает? Что должно делать?

То, что мы знаем теперь про него, – это какая-то таинственная личность, которая, наверное, более всех на свете хлопочет, более всех тормозится, более всех завалена работой, с которой более всех советуются, которую более всех обвиняют, к которой чаще всех обращаются и взывают о помощи.

Я не имею чести знать вас, милостивый государь, но готов держать какое хотите пари – один против десяти, что вы в течение уже шести месяцев занимаетесь составлением утопий, и бьюсь об заклад – один против десяти, что исполнение ваших утопий вы возлагаете на *Государство*. А вы, милостивая государыня, я уверен в этом, от всего сердца желаете излечить все страдания бедного человечества и были бы очень рады, если бы *Государство* пришло вам на помощь.

Но, увы, несчастное Государство, подобно Фигаро, не знает, кого слушать, в какую сторону ему повернуться. Сто тысяч голосов из печати и с трибуны кричат ему все разом:

- «Организуйте труд рабочих!»,
- «Искорените эгоизм»,
- «Подавите нахальство и тиранию капитала»,
- «Сделайте опыты с навозом и яйцами»,
- «Избороздите страну железными дорогами»,
- «Оросите равнины»,
- «Посадите лес в горах»,
- «Постройте образцовые фермы»,
- «Откройте благоустроенные мастерские»,
- «Населите Алжир»,
- «Выкормите детей»,
- «Обучите юношество»,
- «Поддержите старость»,
- «Разошлите жителей городов по деревням»,

«Уравновесьте выгоды всех отраслей промышленности»,

«Дайте займы деньги без процентов всякому, кто желает получить»,

«Освободите Италию, Польшу, Венгрию»,

«Обучите верховую лошадь»,

«Поощряйте искусство, дайте нам музыкантов и танцовщиц»,

«Запретите торговлю и заодно создайте нам торговый флот»,

«Отдайте истину и зароните в наши головы семена разума. Назначение *Государства* – просвещать, развивать, расширять, укреплять, одухотворять и освящать душу народов».

«Но, господа, минуту терпения, – жалостно отвечает *Государство* . – Я постараюсь удовлетворить вас, но для этого мне необходимы некоторые средства. Я заготовило проекты пяти или шести налогов, совсем новых и самых благословенных в мире. Вы увидите сами, с каким удовольствием будут платить их».

Но тут поднялся страшный крик: «У-у! Нечего сказать, невелика заслуга сделать что-нибудь на такие средства! К чему же тогда и называться *Государством* ? Нет, вы бросьте ваши новые налоги, мы же требуем еще отмены старых налогов. Уничтожьте налог на соль, на напитки, на литературу, патенты, а также поборы».

Среди этого гвалта, после того как страна два или три раза меняла свое *Государство* за то, что оно не удовлетворяло всех ее требований, я хотел бы заметить, что она страдает противоречием. Но, Боже мой, на что я отваживаюсь?! Лучше было бы сохранить мне это замечание про себя.

И вот я навсегда скомпрометирован, теперь все считают меня человеком *без сердца, без души* , сухим философом, индивидуалистом, буржуа – одним словом, экономистом английской или американской школы.

О, простите меня, великие писатели, которые ни перед чем не останавливаются, даже перед противоречиями. Я, конечно, не прав, я охотно отступаю. Я ничего так не желаю, будьте уверены в этом, как если бы вы действительно открыли вне нас существующее благотворительное и неистощимое в своих благодеяниях существо, называемое *Государством*, которое имело бы наготове хлеб для всех ртов, работу для всех рук, капиталы для всех предприятий, кредит для исправления всех проектов, масло для всех ран, целебный бальзам для всех страданий, советы на случай всяких затруднений, решения по всем сомнениям, истину для всех умов, развлечения от всякой скуки, молоко для детей, вино для старцев, которое предусматривало бы все наши нужды, предупреждало бы все наши желания, удовлетворяло бы нашу любознательность, исправляло бы все наши промахи, все наши ошибки и избавляло бы нас от всякой предусмотрительности, осторожности, проницательности, опытности, порядка, экономии, воздержания и всякого труда.

И почему же мне не желать этого? Ей-богу, чем больше я размышляю об этом, тем больше убеждаюсь, как это было бы удобно для всех, мне же самому хочется поскорее воспользоваться этим неисчерпаемым источником богатства и света, этим универсальным целителем, этой неисчерпаемой сокровищницей, этим непогрешимым советником, которого вы зовете *Государством* .

Вот почему я и прошу, чтобы мне показали, определили его, и вот почему я предлагаю учредить премию для того, кто первый откроет этого Феникса. Согласитесь же со мной, что это драгоценное открытие еще не сделано, потому что до сих пор все, что являлось под именем *Государства* , народ тотчас же опрокидывал именно за то, что оно не выполняло нескольких противоречивых требований программы.

Говорить ли? Я боюсь, чтобы в этом отношении мы не сделались игрушкой самой странной иллюзии, которая когда-либо овладевала умом человека.

Человеку свойственно иметь отвращение к труду и страданиям, а между тем он обречен самой природой страдать от лишений, если не возьмет на свои плечи всю тягость труда, ему остается только выбрать одно из этих двух зол. Но что надо сделать, чтобы избегнуть и того и другого? До сих пор он находил для этого только одно средство – пользоваться трудом своего ближнего – и никогда не найдет другого. Надо сделать так, чтобы труд и удовольствие не распределялись между всеми в естественной пропорции, но чтобы весь труд падал на долю одних, а все удовольствия жизни приходились на долю других. Отсюда рабство и хищение, в каком бы виде они ни проявлялись: в виде ли войн, лицемерия, насилия, стеснений, обманов, чудовищных злоупотреблений и т. д., вполне согласны с породившей их мыслью. Должно ненавидеть и бороться с притеснителями, но все-таки нельзя упрекнуть их в том, что они непоследовательны.

С одной стороны, рабство, хвала Господу, отживает свой век. С другой стороны, хотя существующая теперь возможность для каждого защищать свое добро затрудняет всякое прямое и открытое хищение, однако сохраняется еще несчастная первоначальная склонность, присущая всем людям, – делить сложные дары жизни на две части, на одних валить всю тяжесть труда и страданий, а для себя самих сохранять только удовольствия этой жизни. Посмотрим, в какой новой форме проявляется это печальное направление.

Притеснитель не давит теперь притесняемого прямо собственными руками – наша совесть стала к этому слишком чувствительна. Тиран и его жертва еще существуют, но между ними поместился посредник – *Государство*, т. е. сам закон. Чем, спрашивается, лучше всего можно заглушить укоры совести, а что еще дороже – преодолеть сопротивление? И вот все мы по тому или другому праву, под тем или другим предлогом обращаемся к *Государству*. Мы говорим ему: «Я нахожу, что соотношение между моими радостями жизни и трудом не удовлетворяет меня, и я хотел бы для восстановления желаемого равновесия между ними попользоваться чем-нибудь от благ моего ближнего. Но это небезопасно для меня. Не можете ли вы помочь мне в этом? Не можете ли вы дать мне хорошее место? Или побольше стеснить промышленность моих конкурентов? Или даром ссудить меня капиталами, которые вы отобрали у их владельцев? Или воспитать детей моих на казенный счет? Или выдать мне премию в виде поощрения? Или обеспечить меня, когда мне исполнится 50 лет? Тогда со спокойной совестью я достигну своей цели, потому что за меня будет действовать сам закон, а я буду пользоваться всеми выгодами хищения, ничем не рискуя и не возбуждая ничего негодования!»

Так как, с одной стороны, очевидно, что все мы обращаемся к *Государству* с подобными требованиями, а с другой стороны, доказано, что *Государство* не может удовлетворить одних, не усилив тягостей других, то в ожидании иного определения *Государства* я позволю себе привести здесь мое мнение. Почем знать, может быть, оно и удостоится премии? Вот оно.

Государство – это громадная фикция, посредством которой все стараются жить за счет всех.

В наше время, как и прежде, каждый в большей или меньшей степени хочет пользоваться трудами ближнего. Никто не позволяет себе явно выражать это чувство, и всякий скрывает его даже от самого себя. Но как же поступают тогда? Выдумывают посредника и обращаются к *Государству*, которому каждый класс общества по очереди говорит так: «Вы, которые законно и честно можете брать, берите у общества, а мы уж поделим». Увы! *Государство* всегда слишком склонно следовать такому адскому совету, так как оно состоит из министров, чиновников и вообще людей, сердцу которых никогда не чуждо желание и которые готовы всегда как можно скорее ухватиться за него, умножить свои богатства и усилить свое влияние. *Государство* быстро соображает, какую выгоду оно может извлечь из возложенной на него обществом роли. Оно станет господином, распорядителем судеб всех и каждого; оно будет

много брать, но зато ему и самому много останется: оно умножит число своих агентов, расширит область своих прав и преимуществ, и дело кончится тем, что оно дорастет до подавляющих размеров.

Но что следует хорошенько заметить себе, это поразительное ослепление общества на сей счет. Когда солдаты победоносно и радостно обращали в рабство побежденных, они были, правда, варварами, но не были непоследовательны. Цель их, как и наша, состояла в том, чтобы жить за счет других, но они ни в чем не противоречили ей. А что мы должны думать о народе, который и не подозревает, что взаимный грабеж есть все-таки грабеж, хотя он и взаимный; что он не стал менее преступен потому, что совершается в установленном законом порядке; что он ничего не прибавляет к общему благосостоянию, а, напротив, еще умаляет его на всю ту сумму, которой стоит ему разорительный посредник, называемый *Государством* ?

И эту великую химеру мы начертали в назидание народу на фронте нашей Конституции. Вот первые слова, которыми начинается ее вступление:

«Франция учредила республику для того, чтобы... поднять всех граждан на все возвышающуюся ступень нравственности, света и благосостояния».

Следовательно, по этим словам, Франция, т. е. *понятие отвлеченное, призывает французов, т. е. действительно существующих людей*, к нравственности, благосостоянию и т. д.

Не значит ли это, по смыслу этой странной иллюзии, ожидать всякого блага не от самих себя, а от чьей-то сторонней энергии? Не указывает ли это на то, что рядом и независимо от французов существует еще какое-то добродетельное, просвещенное и богатое существо, которое может и должно изливать на них свои благодеяния? Не дает ли это право предполагать, и притом без всякой надобности, что между Францией и французами, т. е. между простым, сокращенным и отвлеченным понятием о всех личностях в совокупности и между этими самими личностями, существуют еще какие-то отношения отца к сыну, опекуна к опекаемому, учителя к ученику? Кто не знает, что иногда выражаются метафорически и называют родину нежной матерью. Но чтобы доказать воочию всю бессодержательность приведенного положения нашей Конституции, достаточно показать, что оно не только легко, но и с выгодой для здравого смысла может быть выражено в обратной форме. Так пострадала ли бы точность выражения, если б во вступлении было сказано:

«Французы устроились в республику, чтобы призвать Францию на всевозрастающую ступень нравственности, света и благосостояния»?

Какое же значение имеет аксиома, в которой подлежащее и дополнение могут свободно переставляться без ущерба смыслу? Всякий понимает, когда говорят: мать выкормит ребенка, но странно было бы сказать: ребенок выкормит мать.

Американцы иначе понимали отношение граждан к *Государству*, когда в заголовке своей Конституции начертали следующие простые слова:

«Мы, парод Соединенных Штатов, желая образовать более совершенный союз, установить справедливость, обеспечить внутреннее спокойствие, оградить, умножить общее благосостояние и обеспечить блага свободы себе и нашему потомству, постановляем...»

Тут нет ничего химерического, нет никакой *абстракции*, от которой граждане требовали бы себе всего. Они надеются только на себя, на свою собственную энергию.

Если я позволил себе критически отнестись к первым словам нашей Конституции, то не из-за метафизической тонкости, как это можно подумать, а просто потому, что, по моему убеждению, это *олицетворение Государства* служило в прошлом и послужит в будущем обильным источником для всяких бедствий и революций.

И точно, общество с одной стороны, *Государство* – с другой стоят как два различных существа; последнее должно изливать на первое целый поток человеческих радостей, а первое имеет право в изобилии требовать их от последнего. Что должно произойти при этом?

Ведь *Государство* не об одной руке и не может быть таковым. У него две руки – одной брать, а другой раздавать или, иначе, одна тяжелая, а другая легкая рука. Деятельность второй по необходимости подчинена деятельности первой. Строго говоря, *Государство* может брать и не отдавать, что и случалось иногда. Это объясняется пористым и липким свойством обеих рук, в которых всегда удерживается какая-нибудь часть, а иногда и все сполна, до чего только они прикасаются. Но чего никогда не видели, чего никогда никто не увидит и чего даже предположить нельзя – чтобы *Государство* возвращало обществу более, чем сколько оно получило с него. Совершенно безрассудно с нашей стороны то, что мы становимся по отношению к нему в положение каких-то смиренных нищих. Для *Государства*, безусловно, невозможно предоставлять частные выгоды некоторым лицам без того, чтобы не нанести большого вреда целому обществу.

Очевидно, стало быть, что *Государство* оказывается вследствие наших обращаемых к нему требований в заколдованном кругу.

Если оно отказывается делать добро, которого от него требуют, то его обвиняют в слабости, нежелании, неспособности. Если оно хочет исполнить это требование, то принуждено давить народ двойными налогами, т. е. делать больше зла, чем добра, и навлечь на себя общее нерасположение с другого конца.

Таким образом, у общества две надежды, у правительства два обещания: *много благ и никаких налогов*. Так как надежды и обещания противоречат друг другу, то они никогда и не осуществляются.

Не в этом ли причина всех наших революций? Между *Государством*, раздающим неисполнимые обещания, и обществом, преисполненным неосуществимых надежд, становятся два класса людей: честолюбцы и утописты. Роль их вполне определяется их положением. Достаточно этим искателям популярности крикнуть народу: «Правительство обманывает тебя; если бы мы были на его месте, то осыпали бы тебя благодеяниями и освободили бы от налогов!» – и народ верит, надеется, делает революцию.

И лишь только друзья его заберут власть в свои руки, как их уже заваливают бесчисленными требованиями об уступках. «Дайте же мое работы, хлеба, пособия, денег, образования, колоний, – кричит народ, – и освободите меня, как вы обещали мне, из когтей казны».

Новое *Государство* смущается не менее прежнего, потому что в отношении невозможного очень легко давать обещания, но нелегко исполнять их. Оно старается выгадать время, которое нужно ему, чтобы вызрели его широкие проекты.

Сначала оно робко делает опыты: с одной стороны, слегка расширяет начальное обучение, с другой – слегка изменяет питейный акциз (1830). Но роковое противоречие всегда стоит перед ним лицом к лицу: коли оно хочет быть филантропом, то поневоле заботится о пополнении казны, а если отказывается от нее, то поневоле отказывается и от филантропии.

Эти два обещания всегда и неизбежно сталкиваются одно с другим. Прибегать к кредиту,

т. е. пожирать будущее, составляет теперь единственное действенное средство помирить эти обещания, и вот стараются сделать немного добра в настоящем за счет большого зла в будущем. Но такой прием вызывает призрак банкротства, которое губит кредит. Что же остается делать? Новое *Государство* отважно берется за дело: собирает силы вокруг себя, душит общественное мнение, обращается к произволу, надсмехается над своими же прежними принципами, объявляет во всеуслышание, что управлять можно только при условии быть непопулярным, – короче говоря, оно объявляет себя *всеуправляющим* .

Здесь-то и ждут его другие искатели популярности: они эксплуатируют ту же иллюзию, идут тем же проторенным путем, достигают тех же успехов и вскоре затем поглощаются той же пропастью...

Прочитайте последний манифест монтаньяров, выпущенный ими по поводу выбора президента.

Он, правда, длинноват, но в общем может быть выражен в таких словах: *Государство должно давать гражданам много и брать с них мало* . Это все та же тактика или, если хотите, то же заблуждение.

Государство обязано даром «обучать и воспитывать всех граждан».

Оно обязано:

«Давать общее и профессиональное образование, приуроченное по возможности к нуждам, призванию и способностям гражданина»;

«Вселить в него сознание о его обязанностях по отношению к Богу, к людям и к самому себе; развить его чувства, склонности и способности, наконец, научить его знать свое собственное дело, понимать свои интересы и знать свои права»;

«Сделать для всех доступными науку и искусства, продукты мысли, сокровища ума, все умственные наслаждения, возвышающие и укрепляющие душу»;

«Исправлять всякий вред, претерпеваемый гражданами от пожара, наводнения и пр.»;

«Быть посредником между капиталом и трудом и регулятором кредита»;

«Оказывать серьезное поощрение и действительное покровительство земледелию»;

«Выкупать железные дороги, каналы, рудники» (и, без сомнения, управлять ими с той промышленной способностью, которой оно отличается);

«Вызывать великодушные начинания, поощрять их и всеми зависящими от него средствами содействовать их исполнению. Как регулятор кредита, оно будет в широких размерах заправлять промышленными и земледельческими ассоциациями ради обеспечения их успехов».

Все это *Государство* должно исполнить, однако без ущерба тем обязанностям, которые теперь лежат на нем. Так, например, оно должно всегда сохранять угрожающий вид перед иностранцами, потому что «мы, – говорят подписавшиеся под этой программой, – связанные этой святой солидарностью и прошлым республиканской Франции, несем наши обеты и наши надежды за преграды, воздвигаемые деспотизмом между народами; прав же, которых мы желаем для себя, желаем мы и для всех, кто страдает под гнетом тиранов; мы хотим, чтобы наша славная армия была в случае надобности также и армией свободы».

Вы видите, что «мягкая рука» *Государства* , эта «добрая» рука, всем дающая и все распределяющая, будет слишком занята во время правления монтаньяров. Вы думаете, может быть, что столько же работы будет и для «жесткой» руки, которая просовывается в наши карманы и опорожняет их?

Разочаруйтесь. Искатели популярности дурно знали бы свое дело, если б не умели выставлять напоказ только «мягкую» руку и прятать другую – «жесткую». Управление их будет сплошным праздником для всех плательщиков.

«Налог, – говорят эти люди, – должен падать только на излишек, а не на предметы необходимости».

Разве не настанет чудное время, когда казна, для того чтобы осыпать нас своими благодеяниями, будет довольствоваться тем, что сократит наши избытки?

Но это еще не все. Монтаньяры помышляют еще и о том, чтобы «налог потерял свой притеснительный характер и был только делом братства.

Силы небесные! Я знал, что теперь в моде всюду совать *братство*, но я и не подозревал, что его можно поставить в заголовке окладного листа сборщика податей.

Разъясняя подробности дела, подписавшиеся под программой возвещают:

«Мы хотим немедленного уничтожения налогов на предметы первой необходимости, как то: соль, напитки и пр.; преобразования поземельного налога, октруа, патентного сбора; дарового правосудия, т. е. упрощения формы и сокращения расходов» (здесь подразумеваются, вероятно, гербовые пошлины).

Итак, поземельный налог, октруа, патентный сбор, гербовые пошлины, соль, напитки, почта – тут ничего не позабыто. Эти господа открыли секрет, как дать *горячую работу одной «мягкой» руке Государства* и парализовать его «жесткую» руку.

К вам обращаюсь я теперь, мой беспристрастный читатель, с таким вопросом: разве все это не ребячество, да еще опасное ребячество? Как же народу не делать революций на революциях, когда уже решено не останавливаться до тех пор, пока не осуществится это противоречие – «ничего не давать *Государству*, но получать от него как можно больше»?

Не думают ли, пожалуй, что монтаньяры, достигнув власти, не сделаются жертвами тех же самых способов, которые они употребляют, чтобы овладеть ею?

Граждане! Во все времена были известны две политические системы и обе они опираются на уважительные основания. По одной системе *Государство* должно много давать, но оно должно и много брать. По другой эта его двойственная деятельность не должна давать себя чувствовать. Приходится выбирать одну из этих двух систем. Что же касается третьей системы, состоящей в том, чтобы требовать всего от *Государства*, но ничего не давать ему, то согласитесь, что это химера, нелепость, ребячество, опасное противоречие. Те, кто прикрывается этой системой, чтобы доставить себе удовольствие обвинять все правительства в бессилии и таким образом ставить их прямо под ваши удары, только льстят вам и обманывают вас или, на худой конец, самих себя.

Что касается нас, то мы думаем, что *Государство* есть не что иное (да и не должно быть ничем иным), как *общественная сила*, установленная не для того, чтобы служить гражданам орудием притеснения и взаимного грабежа, а, напротив, для того, чтобы облегчить каждому свое и способствовать царству справедливости и безопасности.

Протекционизм и коммунизм

Господину Тьеру

Сударь, не будьте неблагодарны к Февральской революции. Она вас удивила и, быть может, даже оскорбила. Но она обеспечила вам неожиданный триумф как автору, оратору,

заслуживающему доверия советнику¹. В числе этих успехов имеется один особой важности. На днях газета «Пресс» писала:

«Ассоциация в защиту национального труда (бывший комитет Мимереля²) направила всем своим корреспондентам и членам циркуляр с уведомлением о том, что открыта подписка в целях распространения на фабриках и в мастерских книги г-на Тьера о собственности. Сама ассоциация подписалась на пять тысяч экземпляров».

Я хотел бы увидеть вас в момент, когда столь лестное объявление попало вам на глаза; должно быть, оно вызвало у вас вспышку радости.

Недаром говорят: пути Господни непреложны и неисповедимы. Если вы дадите мне хоть минуту высказаться (а я скоро выскажусь), чтобы утверждать, что протекционизм, усиливаясь и расширяясь, превращается в коммунизм, подобно тому как крошка-камп становится огромным камнем, если вообще Бог дарует ему жизнь, то я скажу вам, что весьма странная получается ситуация, когда приверженец протекционизма выступает противником и гонителем коммунизма. Но еще более странно, а с другой стороны, утешительно, что мощная ассоциация, специально созданная, чтобы теоретически и практически распространять коммунистический принцип (в той мере, в какой она считает его полезным для своих собственных членов), сегодня посвящает половину своих усилий для того, чтобы устранить зло, сотворенное второй половиной ее же усилий.

Повторяю, получается успокоительное зрелище. Оно убеждает нас в неизбежности триумфа истины, поскольку показывает нам истинных и первых проводников и распространителей подрывных доктрин, которые теперь сами испугались своего успеха и готовят противоядие и яд в одной и той же аптечной лавке.

Это предполагает наличие тождественности между коммунистическим принципом и принципом запретительным. Быть может, вы не признаете такой идентичности, хотя, по правде сказать, мне не представляется возможным, чтобы вы, не будучи потрясенным этим обстоятельством, сумели написать четыре сотни страниц о собственности. Видимо, вы полагаете, что мои усилия отстаивать свободу торговли, свободу обмена, все страсти безрезультатного спора, азарт борьбы заставили меня, как это часто бывает с нашим братом полемистом, видеть ошибки и заблуждения моих противников сквозь увеличительное стекло. Да, признаюсь, чтобы нагляднее убедить их в моей правоте, я прибежал к воображению, чтобы несколько раздуть теорию газеты «Монитор эндюстриель» и довести ее до пропорций теории газеты «Попюлет». Но так же поступают, подчас не ведая и не желая того, крупные предприниматели, почтенные земельные собственники, богатые банкиры, ловкие государственные деятели, когда обрушиваются на инициаторов и апостолов коммунизма у нас во Франции.

А почему бы так не поступать, спрашиваю я вас. Есть немало рабочих, искренне верящих в *право на труд*, а значит невольных и несведущих коммунистов, которые возмутились бы, если бы и в самом деле назвали коммунистами. Дело в том, что во всех классах интерес подминает под себя волю, а воля, как говорил Паскаль, есть главный орган веры. В свете сказанного заметим, что очень многие промышленники – честнейшие люди, между прочим, – придерживаются идей коммунизма, но при обязательном условии, что подлежит разделу не их, а чья-то еще собственность. Как только они постигают, что сам принцип коммунизма затрагивает и их, они приходят в ужас. Они читали и распространяли «Монитор эндюстриель», теперь читают и распространяют книгу о собственности. Чтобы удивляться этому, надо не знать человеческого сердца, тайных его пружин, не знать, что человек весьма склонен быть

ловким казуистом.

Нет, сударь, не в пылу борьбы у меня появился свой взгляд на запретительную доктрину. У меня сначала появился такой взгляд, а потом уже я вступил в борьбу³. Поверьте мне, что некоторое расширение внешней торговли дает тоже некоторый, но не более того, результат, которым, разумеется, не следует пренебрегать, однако не это было моим определяющим мотивом. Я думал и до сих пор полагаю, что проблема собственности завязана в этом вопросе. Я думал и до сих пор полагаю, что наш таможенный тариф, принятый по вполне определенным соображениям и защищаемый вполне определенными аргументами, пробил в самом принципе собственности брешь, сквозь которую угрожает пролезть все остальное наше законодательство.

С учетом нынешнего состояния умов мне представляется, что коммунизм, который, должен я сказать ради справедливости и правды, не сознает ни самого себя, ни своего значения, скоро захлестнет нас с головой. Мне кажется, что именно этот коммунизм (а коммунизмов существует несколько видов) вполне логично лег в основу протекционистской аргументации и продиктовал ей выводы. Так что как раз на этой почве, как мне думается, нужно и полезно бороться против него. Пока коммунизм оставался вооруженным софизмами комитета Мимереля, не было надежды одолеть его, ибо он господствовал в общественном сознании. Но потом мы собирались в Бордо, Париже, Марселе, Лионе и основали Ассоциацию свободного обмена. Свобода торговли сама по себе есть для людей ценнейшее благо. Но если бы мы имели в виду только ее, мы бы и назвали нашу организацию «Ассоциацией за свободу торговли» или, еще политичнее, «Ассоциацией за постепенное реформирование тарифов». Однако словосочетание «свободный обмен» предполагает *свободное распоряжение плодами собственного труда*, или, иначе говоря, предполагает наличие собственности, потому-то мы и предпочли наше название⁴. Разумеется мы знали, что такое словосочетание создаст нам немало трудностей. Оно ведь утверждает некий принцип, а значит, делает нашими противниками всех приверженцев противоположного принципа. Больше того, наш принцип очень не нравился людям, которые, казалось бы, предрасположены идти вместе с нами, то есть купцам, которых больше заботила задача реформировать таможенную, нежели бороться с коммунизмом и одержать над ним победу. Симпатизируя нашим взглядам, Гавр все-таки отказался встать под наше знамя. Отовсюду мне говорят: «Мы лучше добьемся некоторого смягчения нашего тарифа и не будем выдвигать на передний план какие-то абсолютные претензии». Я отвечаю: если вы ограничиваетесь только этим, действуйте через ваши торговые палаты. Мне говорят еще: «Слова «свободный обмен» пугают людей и отдаляют наш успех». Что ж, это верно, но я извлек из самого страха перед этими словами мой сильнейший аргумент в пользу их признания и следования им. Чем больше они пугают, рассуждал я, тем больше это доказывает, что понятие собственности выветривается из умов. Запретительная доктрина извратила идеи, а ложные идеи породили протекцию. Случайно добиться от министра не менее случайного улучшения дел с тарифами – это слегка подправить следствие, но не искоренить причину. Поэтому я отстаиваю выражение «свободный обмен» не вопреки, а ввиду преград, которые оно чинит и будет чинить нам. Само наличие этих преград, раскрывая, так сказать, заболевание умов, служит веским доказательством того, что под угрозой оказались основы социального порядка.

Конечно, недостаточно заявить о нашей цели, используя одно или пару слов. Необходимо дать ясное определение самой цели. Мы так и поступили, и я воспроизведу сейчас, себе в поддержку, первый наш акт, то есть манифест нашей ассоциации:

«Собравшись вместе ради защиты великого дела, мы, нижеподписавшиеся, чувствуем необходимость высказать свои убеждения, рамки и средства ее достижения, поведать о самом духе нашей ассоциации.

Обмен есть естественное право, как и право *собственности*. Каждый гражданин, создавший или приобретший какой-либо продукт, вправе либо употребить его сам, либо уступить его любому человеку в мире, если тот согласен дать что-либо в обмен. Лишить такого права гражданина, который использует тот или иной продукт, не вредя общественному порядку и общепринятым обычаям, а единственно делает это для себя и для другого гражданина, значит узаконить кражу и грабеж, посягнуть на законность и справедливость.

Это означало бы также нарушение самих условий и предпосылок порядка, ибо какой может быть порядок в обществе, где каждая отрасль производства, поддерживаемая законом и государственной силой, старается обеспечить себе успех посредством угнетения всех остальных отраслей?

Это означало бы не признавать провиденциального замысла, диктующего судьбы людей и проявляющегося в бесконечном разнообразии климатов, сезонов, природных сил и способностей самих людей; все это неравномерно распределено Богом лишь для того, чтобы объединять людей посредством торгового обмена и укреплять их связи, ведущие ко всеобщему братству.

Это означало бы чинить преграды на пути людей к процветанию, потому что тот, кто не свободен *обменивать*, не свободен и выбирать вид своего собственного труда и вынужден направлять в ложном направлении свои усилия, способности, капиталы, вынужден противозаконно использовать возможности, предоставляемые ему природой.

Наконец, это означало бы подрывать мир между народами, так как это обрывало бы объединяющие их связи, делающие войны невозможными ввиду их бесполезности и обременительности.

Таким образом, Ассоциация ставит перед собой целью *свободу обменов*.

Мы, нижеподписавшиеся, не оспариваем права общества облагать вывозимые за границу товары налогами, предназначенными покрывать общие расходы, но эти налоги должны определяться единственно нуждами казначейства.

Однако, как только такое обложение теряет свой фискальный характер и проводится с целью не допустить в страну иностранный продукт, даже в ущерб самому фискальному сбору, и искусственно повысить цену аналогичного национального продукта, тем самым подвергая лишениям все наше сообщество в угоду какому-то одному классу, с этого момента мы имеем дело с протекцией, а вернее с кражей и грабежом, и именно это, вместе с его принципов, Ассоциация намерена разрушить в умах людей и полностью исключить из всех наших законов независимо от того, существуют ли в каких-либо других странах подобные законы, претендующие на взаимность законодательства при обменах с ними.

Из того обстоятельства, что Ассоциация стремится к полному упразднению протекционистского режима, вовсе не следует, что она хочет упразднить его разом, в один день, скажем, путем какого-нибудь голосования. Даже идя от зла к добру, от искусственной ситуации к естественной, надо быть крайне осторожным. Деталью исполнения нашего замысла должна заниматься государственная власть, а задача Ассоциации – пропагандировать и популяризировать принцип этого замысла.

Что же касается средств и способов, которые она намерена привести в действие, то она никогда не будет искать их вне конституционных и законных рамок.

Наконец, ассоциация не будет взаимодействовать ни с какими политическими партиями. Она не собирается служить никакой отдельной промышленной отрасли, никакому классу, никакой части территории страны. Предметом и целью ее усилий есть и будет всеобщая и вечная справедливость, мир, союз, свободное общение и братство между всеми людьми, общий интерес, который существует повсюду и в самых разных видах ввиду всеобщей *потребности потребления* ».

Есть ли в этой программе хоть одно слово, которое не обнаруживало бы горячего желания укрепить или даже возродить в умах понятие собственности, извращенное ограничительным режимом? Разве не очевидно, что торговый интерес занимает в ней задний план, а интерес социальный – передний? Заметьте, что сам по себе тариф, будь он хорош или плох с административной или фискальной точки зрения, занимает нас мало. Но как только он вводится *преднамеренно* и влечет за собой протекцию, то есть как только он направлен на грабеж и на принципиальное отрицание права собственности, мы боремся против него, но не как против тарифа, а как против некоей системы. Мы говорим, что стремимся выветрить саму мысль о такой системе сначала из умов, а потом и из наших законов.

Наверное, могут спросить, почему, имея в виду общую проблему столь великого значения, мы ограничиваем нашу борьбу вопросом частным и специальным.

Причина проста. Надо было противопоставить одну ассоциацию другой, вовлечь, так сказать, интересы и солдат в нашу в армию. Мы прекрасно знали, что полемика между сторонниками запретительных мер и сторонникам свободного обмена не может продолжаться без того, чтобы не затронуть и в конце концов не решить все нравственные, политические, философские, экономические вопросы, связанные с понятием собственности. И поскольку комитет Мимереля, преследуя лишь одну-единственную и специальную цель, нарушил только что названный принцип, мы сочли необходимым возродить этот принцип и начали тоже со специальной цели.

Но разве так уж важно, о чем мог я говорить и думать в другие времена? Разве важно, что я заметил или полагал, что заметил, определенное родство между протекционизмом и коммунизмом? Важно знать, существует ли такое родство в действительности. Вот это я сейчас и рассмотрю.

Вы, конечно, помните тот день, когда вы так ловко заставили г-на Прудона сделать свое знаменитое признание: «Дайте мне право на труд, и я охотно оставлю вам право на собственность». Г-н Прудон не скрывал, что, по его мнению, оба эти права взаимно несовместимы.

Если собственность несовместима с правом на труд и если последнее основано на том же принципе, что и протекция, то какой иной вывод можем мы сделать, кроме вывода о том, что протекция сама несовместима с собственностью? В геометрии считается бесспорной истиной, что две вещи, равные какой-то третьей вещи, равны и между собой.

Между тем случилось так, что блестящий оратор г-н Бийо5 счел своим долгом подняться на трибуну и высказаться в поддержку права на труд. Это было нелегко, после того как с уст г-на Прудона слетело его признание. Г-н Бийо отлично понимал, что заставить вмешаться государство, чтобы выровнять имущественные состояния людей, – это значит покатиться по наклонной плоскости к коммунизму. Так как же он высказался, чтобы побудить Национальное собрание нарушить принцип собственности? Он просто сказал всем вам, что предлагаемое им уже и без того практикуется вашими тарифами. Он хочет лишь несколько расширить область применения доктрин, давно признанных и применяемых вами. Вот его слова:

«Взгляните на наши таможенные тарифы. Посредством запретительного характера, ставок, дифференцированного подхода, премий, комбинаций всякого рода общество поощряет, поддерживает, задерживает или продвигает вперед самые разные комбинации национального труда (возгласы «Именно так!»). Оно не только регулирует баланс между французским трудом, который оно защищает, и трудом иностранным, но и в пределах нашего отечества оно беспрерывно перетасовывает

различные отрасли промышленности. А эти отрасли беспрерывно судятся между собой, выдвигая друг другу встречные требования. К примеру, отрасли, использующие железо, жалуются на протекцию, предоставленную французскому железу, чтобы меньше ввозилось железа иностранного; отрасли, использующие льняную или хлопчатобумажную пряжу, протестуют против протекции, предоставленной французской пряже, чтобы исключить ввоз пряжи иностранной. То же самое и с другими отраслями. Таким образом, общество (надо было бы сказать «правительство») вынуждено вмешиваться во всякую борьбу и все передраги, имеющие касательство к труду. Оно вмешивается активно и повседневно, прямо и косвенно, и как только вы начнете заниматься таможенными вопросами, вы тут же увидите, что сами вы волей-неволей затрагиваете своими собственными делами интересы всех.

Никто не ставит под сомнение долг общества помогать обездоленным трудящимся, а речь идет о том, что обстановка сложилась такая, что правительство вынуждено вмешиваться в решение вопросов труда».

Заметьте, что аргументация г-на Бийо свободна от злой иронии, а по содержанию – от грозных намеков. Он не тайный сторонник свободного обмена и не стремится сделать очевидной непоследовательность протекционистов. Нет, г-н Бийо сам убежденный протекционист. Он хочет уравнивать достояния и шансы с помощью закона. На этом пути он считает полезным эффект тарифов. А встретив преграду в виде права собственности, он просто перепрыгивает через нее, как это делаете и вы. Затем он встречает на своем пути право на труд, тоже рассматривает его как преграду в виде права собственности и тоже перепрыгивает. Но, вдруг обернувшись, он удивляется, что вы уже за ним не следуете. Он спрашивает вас, почему вы остановились. Если вы ответите ему: в принципе я допускаю, что закон может нарушить право собственности, но я не хотел бы, чтобы он делал это в форме защиты права на труд, – г-н Бийо поймет вас и будет обсуждать с вами лишь второстепенный вопрос о своевременности или несвоевременности закона именно в такой форме. Однако вы противопоставляете его точке зрения сам принцип собственности. Это его удивляет, и он вправе сказать вам: не изображайте сегодня из себя прозорливого апостола, и если вы отвергаете право на труд, то хотя бы не делайте этого, основываясь на праве собственности, ибо вы сами нарушаете это последнее право, когда вам заблагорассудится, то есть когда вам это выгодно. Он может также небезосновательно добавить: защитительными тарифами вы зачастую лишаете собственности бедняка и передаете ее богачу; а вот с помощью права на труд вы посягнули бы на собственность богача к выгоде бедняка; почему же в вас так долго не просыпается совесть?б

Так что между гном Бийо и вами имеется лишь одно различие. Оба вы идете одним путем – путем к коммунизму. Только вы пока что сделали один шаг, а он уже сделал два шага. Поэтому – по меньшей мере, я так думаю – вы остаетесь в выигрыше перед ним. Но вы теряете в том, что касается логики. Ибо, поскольку вы идете с ним одним путем, повернувшись спиной к собственности, то получается забавное зрелище, когда вы пытаетесь выглядеть рыцарем собственности. Это явная непоследовательность, которой г-ну Бийо удалось избежать. Но, увы, он тоже впадает в нелогичное словопрение. Г-н Бийо – человек достаточно просвещенный, чтобы почувствовать, хотя бы смутно, опасность каждого своего шага на пути, ведущем к коммунизму. Он не ставит себя в смешное положение и не выступает ярким защитником собственности в тот самый момент, когда посягает на право собственности, но что он изобретает, желая оправдать себя? Он обращается к излюбленной аксиоме людей, желающих примирить между собой две непримиримые вещи: дескать, вообще нет никаких принципов. Собственность, коммунизм... Давайте возьмем понемногу отсюда и оттуда в зависимости от

обстоятельств. Вот его слова:

«По-моему, маятник цивилизации качается от одного принципа к другому смотря по тому, чего требует момент, но его качание всегда означает прогресс, и если он сильно качнулся в сторону абсолютной свободы индивидуализма, то он затем возвращается к необходимости правительственных мер».

Получается, что в мире нет ничего истинного, нет никаких принципов, поскольку маятник должен качаться от одного принципа к другому в зависимости от требований момента. Ох уж эта метафора! Куда ты нас заведешь, если дать тебе волю?7

Как вы однажды здраво высказались с трибуны, невозможно сказать – а тем более написать – сразу и обо всем. Вот так и я. Я не рассматриваю сейчас экономическую сторону защитительного режима и не пытаюсь выяснить, дает ли этот режим больше блага, чем зла, или наоборот с точки зрения национального богатства. Единственный пункт, который я хочу вам доказать, это то, что вышеуказанный режим есть не что иное как проявление коммунизма. Господа Бийо и Прудон начали демонстрировать последний, и я хочу продолжить и дополнить их демонстрацию.

Прежде всего, что именно следует понимать под словом «коммунизм»? Существует несколько способов если не реализовать общность имущества, то, по крайней мере, попытаться сделать это. Г-н де Ламартин насчитал четыре способа. Вы полагаете, что их тысяча, и я согласен с вами. Тем не менее я думаю, что все они сводятся к трем категориям, из которых только одна, по-моему, представляет действительную опасность.

Во-первых, двое или чуть больше людей могут объединить свой труд и условия жизни. Если они при этом не стремятся поколебать все общество, ограничить свободу, узурпировать чью-то еще собственность прямо или косвенно, они причиняют зло только самим себе. Такие люди всегда склонны осуществлять свои мечты в какой-нибудь отдаленной и пустынной местности. Всякий, кто размышлял по этому поводу, знает, что эти несчастные в конце концов погибают, став жертвами собственных иллюзий. В наше время коммунисты такого типа дали своему химерическому раю имя Икарии, как бы предчувствуя трагическую развязку своего начинания8. Мы должны бы тоже страдать от их слепоты и предостеречь их, если бы они умели нас слушать, но во всяком случае обществу не страшны их химеры.

Другая форма коммунизма грубее и жестче. Надо, мол, собрать все имеющиеся ценности и разделить их поровну между всеми людьми. Это кража, ставшая господствующим и всеобщим правилом. Это уничтожение не только собственности, но и труда и самого мотива, побуждающего людей трудиться. Такой коммунизм столь груб, абсурден и чудовищен, что, по правде сказать, именно по этой причине я не считаю его опасным. Об этом я высказывался недавно на довольно многочисленном собрании избирателей, представлявших в своем большинстве бедные и страдающие классы. Мои слова вызвали взрыв недовольства.

Я выразил удивление. «Ну и ну, – говорили они, – г-н Бастиа решается утверждать, что коммунизм неопасен! Значит, он сам коммунист! Мы и так подозревали, потому что коммунисты, социалисты, экономисты – все они одной породы, у них даже концовки рифмуются». Я не без труда вышел из неловкого положения. Но сам этот случай доказывает истинность моего утверждения. Да, коммунизм неопасен, когда он проявляет себя в наивнейшей форме самого простого грабежа; он неопасен, потому что вызывает отвращение.

Поспешу сказать, что если протекционизм может и должен быть уподоблен коммунизму, то коммунизму отнюдь не в той форме, которую я только что обрисовал.

Но коммунизм имеет еще и третью форму.

Заставить правительство вмешаться, поставить перед ним задачу уравновесить и уравнивать прибыли и достояния, взяв что-то у одних без их согласия и безвозмездно отдав другим, то есть напрямую поручить правительству провести в жизнь некую уравниловку посредством тоже прямого ограбления – ведь это же самый настоящий коммунизм! И от этого не уйдешь, украшая разными названиями способы, применяемые государством. Будет ли оно действовать прямо или окольными путями, вводить ограничения в торговле или увеличивать налоги, оперировать тарифами или ссылаться на право на труд, твердить о равенстве, солидарности и братстве – это все едино и не меняет природы вещей. Грабеж собственности не перестает быть грабежом лишь потому, что он совершается регулярно, упорядоченно, систематизированно и через посредство закона.

Добавлю, что именно в наше время этот вид коммунизма особо опасен. Почему? Потому что в такой форме он всегда готов захватить все и вся. Судите сами. От государства требуют даровых поставок орудий труда для одних ремесленников и рабочих, отнимая их у других ремесленников и рабочих. Кто-то хочет, чтобы государство предоставило ему беспроцентную ссуду, но оно не может этого сделать, не посягнув на чью-то собственность. Третий требует бесплатного образования на всех ступенях. Бесплатного! Это значит за счет налогоплательщиков. Четвертый желает, чтобы государство субсидировало рабочие ассоциации, театры, деятелей искусств и т. д. Но эти субсидии суть ценности, заработанные другими, притом законным путем. Пятый не успокоится, пока государство не поднимет искусственно цену на продукт, который он продает, но это происходит в ущерб тому, кто его покупает. Да, в такой обстановке мало остается людей, которые так или иначе не были бы коммунистами. Вы коммунист, г-н Бийо коммунист, и я боюсь, что в конце концов мы во Франции все станем коммунистами. Получается так, что вмешательство государства примиряет нас с практикой грабежа, ответственность за который возлагается на всех, то есть ни на кого, и пользование чужим достоянием ни у кого не вызывает угрызений совести. Возьмем уважаемого г-на Турре⁹, одного из честнейших министров. А знаете ли вы, с чего он начал свой доклад о мотивах законопроекта об авансах для сельского хозяйства? Он сказал: «Совершенно недостаточно поощрять разные искусства и ремесла, надо еще дать работникам орудия труда». После такой преамбулы он представил Национальному собранию законопроект, первая статья которого гласит:

«Статья 1. Министру сельского хозяйства и торговли выделяется из бюджета на 1849 г. 10 миллионов для авансирования собственников и ассоциаций собственников сельских фондов».

Признайте, что если бы язык законов претендовал на точность, эту статью следовало бы сформулировать так:

«Министру сельского хозяйства и торговли разрешается в 1849 г. вытащить 10 миллионов из карманов работников, которые нуждаются в этих деньгах и которым эти деньги принадлежат, и переложить их в карманы других работников, которые тоже нуждаются в деньгах, но эти деньги им не принадлежат».

Разве не есть такой акт коммунистический, разве не составляет он сути коммунизма?

Какой-нибудь мануфактурщик или фабрикант, готовый скорее умереть, чем буквально вытащить мелочь из чужого кармана, совершенно спокойно предъявляет законодателям требование: «Примите закон, поднимающий цену на мое сукно, мое железо, мой каменный

уголь и позволяющий мне опустошать карманы моих покупателей». И поскольку руководимый им мотив заключается в том, что он недоволен уровнем своих прибылей, получаемых им в условиях свободного обмена или свободы обмена (это одно и то же), поскольку мы в общем все недовольны нашими прибылями и заработками и склонны обращаться к законодателям, то ясно, по крайней мере ясно для меня, что если законодатели не поспешат ответить: «Это нас не касается, мы призваны не ущемлять, а гарантировать собственность», – то, повторяю, ясно, что мы попали в самую гущу коммунизма. При этом средства и способы, применяемые государством, могут быть разными, но цель одна и принцип один.

Предположим, я предстаю перед Национальным собранием и заявляю: «У меня такое-то ремесло, мои прибыли меня не устраивают. Поэтому прошу вас принять декрет, разрешающий господам сборщикам налогов изымать в мою пользу по одному крохотному сантим у каждой французской семьи». Если законодатели примут мое предложение, то можно, при желании, усматривать в этом лишь единичный факт узаконенного ограбления, который еще не заслуживает того, чтобы называться коммунизмом. Но если за мной один за другим потянутся все французы с такой же просьбой, а законодатели тоже пойдут им навстречу ради достижения официально признанной цели обеспечить равенство достояний, то в таком принципе и в результатах его проведения в жизнь я усматриваю – да и вы не можете не усматривать – полновесный коммунизм.

Тут не имеет особого значения, как именно законодатели реализуют свой замысел, пользуются ли они услугами таможенников или сборщиков налогов, вводят ли они прямую контрибуцию или косвенный налог, ограничения или премии. Полагают ли они, что им дозволено брать и давать без всякой компенсации? Думают ли они, что их миссия заключается в обеспечении равновесия прибылей? Действуют ли они по убеждению? Одобряет ли или даже провоцирует ли их действия основная масса публики? Если да, то я утверждаю, что мы катимся к коммунизму, сознавая это или не сознавая.

И когда мне говорят, что государство всегда действует не в пользу всех на свете, а лишь в пользу некоторых классов, я отвечаю: в таком случае оно нашло способ получить коммунизм, притом в наихудшем его виде.

Я чувствую, сударь, что эти мои выводы не так уж трудно поставить под сомнение, перемешав между собой разные вещи. Мне могут привести факты вполне законного и правомерного управления, случаи, когда вмешательство государства справедливо и полезно. Затем, проведя сугубо внешнюю аналогию между этими случаями и теми, против которых я восстаю, меня упрекнут в неправоте и скажут: либо вы не должны усматривать в протекции коммунизм, либо вам придется видеть коммунизм во всех действиях правительства.

Я не хочу попадаться на такую уловку. Поэтому я считаю себя обязанным точно указать, при каких обстоятельствах вмешательство государства приобретает коммунистический характер.

Какова миссия государства? Какие вещи граждане должны передоверить общей, совместной силе, а какие оставить в сфере частной деятельности? Ответить на эти вопросы значит прочитать целый курс лекций на политическую тематику. К счастью, мне не нужен громоздкий курс, чтобы предложить решение занимающей нас проблемы.

Когда граждане, вместо того чтобы оказывать некую услугу самим себе, превращают ее в услугу публичную, государственную, то есть когда они считают уместным устраивать, так сказать, складчину, чтобы выполнить ту или иную работу или получить то или иное общее удовлетворение, я не усматриваю в этом коммунизма, потому что не вижу его специфической черты: уравнивание путем грабежа. Да, государство берет посредством налога, но оно возвращает посредством оказания услуги. Такова особая, но вполне правомерная форма,

показывающая нам само основание существования всякого общества, и форма эта именуется обменом. Но я иду дальше. Доверяя какую-то услугу государству, граждане могут сделать верный или неверный шаг. Они делают верный шаг, если услуга, оказанная таким путем, добротна и экономична. Они делают неверный шаг, если все получается наоборот. Но ни в том, ни в другом случае я не вижу коммунистического принципа. Просто в первом случае граждане преуспели, а во втором ошиблись. И хотя сам коммунизм есть ошибка, отсюда вовсе не следует, что всякая ошибка есть коммунизм.

Вообще экономисты очень недоверчиво относятся к правительственному вмешательству. Они видят здесь массу неудобств, зажим свободы, энергии, индивидуального предвидения и опыта, которые составляют драгоценный фонд всякого общества. Поэтому они очень часто выступают против подобного вмешательства. Но протекцию они отвергают с разных точек зрения и по разным мотивам. Поэтому пусть нам не противопоставляют аргумента, будто у нас какая-то однообразная и навязчивая предрасположенность к свободе; пусть нам не говорят: ничего, мол, удивительного в том, что эти господа отвергают защитительный режим, потому что они вообще отвергают всякое вмешательство государства.

Прежде всего, это ложь, что мы отвергаем всякое вмешательство государства. Мы признаем, что миссия государства – поддерживать порядок и безопасность, заставлять уважать личность и собственность, наказывать за мошенничество и насилие и пресекать такие попытки. Что же касается услуг, так сказать, промышленного, хозяйственного характера, то тут мы придерживаемся только одного правила: пусть государство берет на себя обязательства, если в итоге для большинства населения получится экономия сил. Но, ради Бога, при соответствующих расчетах пусть примут во внимание – и ничего не упустят – все бесчисленные неудобства, связанные с трудом, который государство монополизует.

Далее, пусть, к примеру, какой-нибудь муниципальный совет обсудит вопрос, что лучше – чтобы каждая семья ходила за водой за четверть мили или чтобы власти взяли с каждой семьи некоторую сумму денег и провели воду прямо на площадь деревни или городка. У меня нет никаких принципиальных возражений против обсуждения такого вопроса. Единственным элементом решения будет тут подсчет выгод и неудобств. Можно ошибиться в подсчете, но ошибка, которая повлечет за собой потерю части собственности, вовсе не будет посягательством на саму собственность, да еще систематическим посягательством.

Однако, допустим, некий г-н мэр предлагает свернуть целую отрасль к выгоде другой отрасли, запретить привозить башмаки к выгоде местных сапожников или выдумывает еще что-нибудь подобное. Тогда я скажу ему, что дело идет уже не о подсчете выгод и неудобств, а о злоупотреблении властью, о злонамеренном применении силы государства. Я скажу: вы, носитель власти и ее силы, вы, призванный наказывать за грабеж, как вы осмеливаетесь употреблять власть и силу для защиты и систематизации грабежа?

Если же восторжествует идея г-на мэра, если я увижу, что, следуя этому прецеденту, все отрасли ремесла и производства этой деревни или городка примутся тягаться друг с другом, требуя, каждая, льгот за счет других, если в этой суматохе беззастенчивых притязаний я увижу, что страдает и гибнет само понятие собственности, то мне будет позволительно полагать, что ради спасения собственности просигнализировать прежде всего о той самой первой несправедливой мере, которая явилась первым звеном всей печальной цепи.

Мне совсем не трудно, сударь, найти в вашем произведении пассажи на ту же тему, которые подтверждают мои взгляды. По правде говоря, достаточно наугад раскрыть его на любой странице. Да-да, если, подражая детской игре, я вслепую ткну булавкой в какую-нибудь страницу, я увижу, что на ней говорится о косвенном или прямом осуждении охранительного режима, о принципиальном родстве и идентичности этого режима с коммунизмом. А почему бы

не попробовать сразу? Вот, мне попалась страница 283, и я читаю:

«Было бы серьезной ошибкой обрушиваться на конкуренцию и не замечать, что если люди что-то производят, то они что-то и потребляют, и, с одной стороны, получая меньше (я это отрицаю, и вы сами это отрицаете несколькими строками ниже), они, с другой стороны, и платят меньше; общую выгоду для всех составляет разница между системой, сдерживающей человеческую активность, и системой, которая заставляет эту активность скакать галопом до бесконечности и без всяких остановок».

Я утверждаю, что фактически вы говорите, что все это неприменимо ни к конкуренции через речку Бидассоа¹⁰, ни к конкуренции через реку Луару. Продолжим игру. Вот попалась страница 325:

«Права существуют или не существуют. Если они существуют, они влекут за собой совершенно определенные последствия... Больше того, если есть право, оно есть в любой момент, сегодня, вчера, завтра, послезавтра, летом, зимой, не тогда, когда вам заблагорассудится провозгласить его действующим, а тогда, когда рабочему будет угодно воспользоваться им!»

Тогда вы должны полагать, что какой-нибудь хозяин железоплавильни имеет бесконечное и вечное право помешать мне произвести – косвенно, опосредованно, конечно, ибо мое предприятие виноградник, – два квинтала железа ради того, чтобы он непосредственно и беззаботно произвел лишь один квинтал своего железа. Тут ведь тоже право либо существует, либо не существует. Если оно есть, то оно есть – так сказать, все целиком – сегодня, вчера, завтра, послезавтра, летом, зимой и не тогда, когда вам заблагорассудится объявить его действующим, а когда будет угодно воспользоваться им хозяину железоплавильни!

Продолжим игру. На странице 63 я читаю такой афоризм:

«Собственность не есть собственность, если я не могу дать ее кому-нибудь или потребить сам».

Так мы и говорим: «Собственность не есть собственность, если я не могу обменять ее на что-нибудь или потребить сам». Позвольте же мне добавить, что право обменять столь же драгоценно, столь же социально важно, столь же характерно для собственности, что и право дать. Жаль, что в вашем труде, предназначенном исследовать собственность во всех ее аспектах, вы посвящаете целых две главы всяким дарам и дарениям, которым ничто не угрожает, и ни словом ни обмолвливаются об обмене, который у вас стыдливо прикрывается авторитетом законов страны.

Давайте дальше. Вот попалась страница 47:

«Первейшая собственность человека – это он сам со своими способностями. Вторая его собственность, меньше связанная с ним как живым существом, но не менее священная, это продукт реализации его способностей, который охватывает все, что именуется благами в нашем мире; общество в высшей степени заинтересовано в том, чтобы гарантировать ему, человеку, все это, ибо без такой гарантии не будет никакого труда, без труда не будет цивилизации и не будет самого необходимого, а будут нищета, разбой и варварство».

Ну что ж, сударь, поговорим, с вашего разрешения, об этом тексте.

Как и вы, я вижу собственность прежде всего в свободном распоряжении человеком самим собой, затем в распоряжении своими способностями и, наконец, в распоряжении продуктом как результатом проявления его способностей, что и доказывает, помимо всего прочего, что с определенной точки зрения свобода и собственность совпадают друг с другом.

Однако едва ли я осмелюсь сказать, как говорите вы, что собственность на продукт наших способностей менее связана, так сказать, с нашим телом, чем с самими этими способностями. В сугубо материальном ракурсе это бесспорно, но лишение человека его способностей или продукта его способностей дает одинаковый результат, который именуется рабством. Это еще одно доказательство природной идентичности свободы и собственности. Если я силой оберну весь труд какого-нибудь человека к моей выгоде, этот человек – мой раб. Он останется рабом даже в том случае, если я, предоставив ему возможность трудиться свободно, все-таки захвачу, силой или хитростью, продукт его труда. Первый вид порабощения отвратителен, второй – не так уж. Заметив, что свободный труд более интеллектуален и продуктивен, хозяева порешили: не будем узурпировать напрямую способности наших рабов, а захватим более богатый продукт их свободных способностей и назовем эту новую форму рабства красивым именем Протекция.

Вы говорите еще, что общество заинтересовано в том, чтобы гарантировать собственность. В этом я тоже согласен с вами, но иду несколько дальше вас. Если под обществом вы понимаете правительство, то я говорю, что в части, касающейся собственности, его единственная миссия – гарантировать ее неприкосновенность, а если оно пытается «уравновешивать» ее, а вовсе не гарантировать, то оно посягает на нее. Этот пункт заслуживает особого внимания и изучения.

Когда группа людей, которые не могут жить без труда и без собственности, собирают средства, чтобы оплачивать общую силу, то ясно, что они намерены трудиться и пользоваться плодами своего труда в условиях безопасности и не собираются отдавать свои способности и достояния во власть этой силы. Даже при отсутствии – некогда так и было – упорядоченного правления я не думаю, чтобы можно было оспаривать у индивидов право на защиту, то есть право защищать себя, свои способности и свое имущество.

Не претендуя на то, чтобы философствовать насчет происхождения и объема правительственных прав, ибо я по слабости своей пасую перед столь обширной темой, я все же позволю себе высказать вам одну мысль. Мне думается, что права государства не могут быть чем-то иным, кроме как регулированием и упорядочением личных, индивидуальных прав, которые первичны. Я не могу даже представить себе некое коллективное право, которое не имело бы своим истоком индивидуальное право и не исходило бы из его наличия. Следовательно, чтобы выяснить, законно ли облечено государство тем или иным правом, надо прежде всего задаться вопросом, заключено ли это право, так сказать, в самом индивиде вне зависимости от всякого правления и правительства. Именно исходя из такого соображения, я на днях в одном моем выступлении отверг идею права на труд. Я говорил, что поскольку Пьер не вправе непосредственно требовать от Поля, чтобы тот отдал ему свой труд, он, Пьер, также не вправе требовать того же самого через посредство государства, потому что государство представляет собой лишь общую силу, созданную Пьером и Полем на свои средства и имеющую вполне определенное предназначение, которое никогда не может и не должно означать превращение в справедливое того, что несправедливо. Именно с помощью такого пробного камня я и составляю себе суждение по поводу разницы между гарантией и выравниванием людских достояний государством. Почему государство имеет право, притом даже с помощью силы, гарантировать каждому неприкосновенность его собственности? Потому что это право предсуществует у самого индивида. Нельзя отказывать индивидам в

праве на законную самозащиту, в праве прибегать при необходимости к силе, чтобы отбить атаки на их личность, способности, достояние. Понятно, что это индивидуальное право, принадлежащее каждому гражданину, может приобрести коллективную форму и узаконить общую силу. Но почему государство не вправе выравнивать достояния? Потому что для этого ему надо что-то отнять у одних и даровать другим. А между тем ни один из тридцати миллионов французов не имеет права брать у кого-нибудь и что-нибудь силой под предлогом достижения равенства, и совершенно непонятно, как они могут наделить таким несуществующим правом общую силу.

Заметьте, что право выравнивания разрушает право гарантии. Возьмем дикие племена. Над ними еще нет никакого правительства. Но каждый дикарь имеет право на законную самозащиту, и нетрудно увидеть, что это право станет потом основой законной общей силы. Если один из дикарей посвятил свое время, силы и ум изготовлению лука и стрел, а другой хочет их у него отнять, то все симпатии племени будут на стороне жертвы, а если дело передадут на суд самых старших из племени, то похититель или пытавшийся стать таковым непременно будет наказан. Отсюда и до организации государственной силы – всего один шаг. И я спрашиваю вас, какова миссия этой силы, миссия законная, встать ли на сторону того, кто защищает свою собственность, или того, кто посягает на чужую собственность? Было бы очень странно видеть, что коллективная сила основывается не на индивидуальном праве, а на его постоянном и систематическом нарушении. Нет, автор книги, которая сейчас у меня перед глазами, не может придерживаться подобного тезиса! Но не придерживаться его – этого еще мало, надо обрушиться на него, биться против него. Было бы мало также атаковать грубый и абсурдный коммунизм, проповедуемый кучкой сектантов в своих грязных газетенках. Надо разоблачать и бичевать другой коммунизм, наступательный и утонченный, который путем самого обыкновенного извращения правомерной идеи, касающейся прав государства, проник в некоторые направления и ветви нашего законодательства и грозит овладеть всем законодательством.

Ведь бесспорно, сударь, что, играя тарифами, устанавливая так называемый охранительный режим, правительства совершают чудовищное преступление, о котором я говорил выше. Они отвергают право на законную оборону, предсуществующее у каждого гражданина и служащее источником и основанием подлинной миссии правительств, и присваивают себе ложное право нивелировать все и вся посредством кражи и грабежа – право, которое никогда не принадлежало ни одному индивиду и поэтому не может принадлежать сообществу индивидов.

Но зачем настаивать на всех этих общих соображениях? Зачем доказывать абсурдность коммунизма, раз вы сами сделали это гораздо лучше меня (за исключением той его разновидности, которая, по моему убеждению, практически самая опасная?)

Быть может, вы возразите мне, что принцип защитительного режима вовсе не противостоит принципу собственности. Что ж, посмотрим, какими способами действует этот режим.

У него их два: премия и ограничение.

Что касается премий, то тут разобраться нетрудно. Я просто не верю тем, кто утверждает, что система премий, доведенная до своего логического конца, не приведет к абсолютному коммунизму. Да, граждане трудятся под защитой общей силы, которая, как вы сами признаете, обязана гарантировать каждому неприкосновенность его собственности. Но вот государство, вроде бы с самыми благими филантропическими намерениями, берет на себя совсем новую, совсем иную и, по-моему, разрушительную задачу. Оно, видите ли, выступает судьей в делах прибылей, решает, какой труд вознаграждается недостаточно, а какой слишком щедро. Ему

нравится изображать себя неким уравниателем и, как сказал г-н Бийо, качнуть маятник цивилизации в сторону противоположную свободе индивидуальных инициатив. Следовательно оно облагает контрибуцией все сообщество людей, чтобы сделать подарок, под именем премий, экспортерам каких-то отдельных продуктов. Оно вознамерилось благоприятствовать промышленности, но надо уточнить: какой-то части промышленности в ущерб всем остальным ее частям. Я не буду особо и специально доказывать, что оно, как правило, стимулирует отрасли, удовлетворяющие всяких гурманов, а не отрасли, полезные и нужные всем. И я спрашиваю вас, не побуждает ли государство всякого труженика добиваться премии, если он видит, что не зарабатывает столько же, сколько его сосед? Тогда не обязано ли оно выслушивать и удовлетворять все просьбы и требования такого рода? Я так не думаю, но кто думает так, тот должен набраться храбрости и облечь свою мысль, так сказать, в государственную форму и сказать: правительство обязано не гарантировать все достояния, а уравнивать их. Иными словами, собственность исчезает.

Я говорю сейчас только и единственно о вопросе принципиальном. Если бы я захотел досконально разобраться в экономическом эффекте экспортных премий, я бы вместо этого просто высмеял их, ибо они представляют собой безвозмездный дар Франции за границе. Премию получает не продавец, а покупатель в соответствии с законом, который вы сами сформулировали, говоря о налоге: в конечном счете потребитель несет все издержки производства в не меньшей степени, чем получает выгод. Поэтому с премиями у нас получаются убийственные и совершенно мистические вещи. Иностранное правительства рассуждают так: «Если мы повысим наши ввозные пошлины на цифру премии, оплачиваемой французскими налогоплательщиками, то ясно, что для наших потребителей ничто не изменится, потому что они будут платить прежнюю цену. Товар, подешевевший на пять франков по французскую сторону границы, подорожает на пять франков по немецкую сторону границы; получается безупречный способ взвалить наши государственные расходы на французское казначейство». Но, как меня уверяют, иные правительства еще более хитроумны. Они говорят: «Да, французская премия – это подарок нам, но если мы просто повысим пошлины, то это не даст французам никаких оснований поставлять нам больше товара, чем прежде; поэтому мы сами будем задавать нужное направление великодушию этих великолепных французов. Мы, напротив, временно отменим всякие пошлины и тем самым вызовем неиссякаемый поток их сукна, и каждый его метр будет нести на себе чистый и безвозмездный дар». В первом случае наши премии поступают в иностранную казну, во втором ими пользуются, притом в гораздо большем объеме, простые иностранные граждане.

Перейдем теперь к ограничениям.

Допустим, я столяр. У меня небольшое рабочее помещение, орудия труда, материалы. Все это безусловно принадлежит мне, так как все это я сделал сам или, что то же самое, купил и оплатил. Сверх того у меня крепкие и умелые руки, достаточно ума и много желаний трудиться. Образуется фонд, из которого я черпаю для удовлетворения моих собственных нужд и нужд моей семьи. Заметьте, что сам я не могу непосредственно производить все, что мне требуется, ни железа, ни древесины, ни хлеба, ни вина, ни мяса, ни тканей и т. д., но я могу производить ценность. В конце концов, эти вещи должны быть результатом, в другой форме, работы моей пилы и моего рубанка. Я заинтересован в том, чтобы честным путем получить как можно больше вещей за определенное количество моего труда. Повторяю, честным путем, потому что я вовсе не желаю посягать на чью-то собственность и свободу. Но я желаю, чтобы и у меня не отнимали собственность и свободу. Другие труженики и я приносим, с нашего взаимного согласия, жертву, уступаем часть нашего труда людям, которые называются должностными лицами, потому что мы возводим их в особую должность: они должны гарантировать, оберегать

наш труд и его плоды от всяких посягательств и поползновений, будь то внутри или вне страны.

Устроив таким образом мои дела, я готов пустить в ход мой ум, руки, пилу и рубанок. Естественно, я всегда внимательно наблюдаю за обстановкой, складывающейся вокруг вещей, необходимых для моего существования. Эти вещи, повторяю, я должен произвести косвенно, производя их ценность. Проблема для меня заключается в том, чтобы производить их как можно выгоднее. Следовательно, я обращаю мой взор на мир ценностей, или, иначе говоря, на мир текущих цен. Узнав о них, я констатирую, что лучший для меня способ получить, к примеру, максимум топлива за минимум моего труда – это изготовить мебель и отправить ее какому-нибудь бельгийцу, который даст мне некое количество каменного угля.

Но в самой Франции есть труженик, добывающий каменный уголь из недр нашей земли. И случилось так, что должностные лица, которых этот шахтер и я оплачиваем ради того, чтобы они гарантировали каждому из нас свободу труда и свободное распоряжение продуктами труда (это и есть собственность), – случилось так, говорю я, что эти должностные лица замыслили нечто иное и взяли на себя совсем другую задачу. Они вбили себе в голову, что должны уравнивать мой труд и труд шахтера. Поэтому они запретили мне обогреваться бельгийским углем, и когда я отправился к границе со своей мебелью, чтобы получить уголь, я увидел, что эти должностные лица не разрешают ввозить уголь, что равносильно запрету вывозить мою мебель. Тогда я задался вопросом: если бы мы не надумали оплачивать должностных лиц, чтобы избавиться от заботы самим защищать нашу собственность, то имел бы право шахтер отправиться к границе и запретить мне совершить выгодный обмен под предлогом, что ему лучше, чтобы мой обмен не состоялся? Конечно же нет! Стоило бы ему предпринять столь несправедливую попытку, мы бы тотчас подрались: он дрался бы за свое несправедливое намерение, а я приводил бы в действие мое право на законную самозащиту. Мы назначили и оплачиваем должностное лицо как раз для того, чтобы избежать подобной драки. Как же получается, что шахтер и должностное лицо сговорились ограничить мою свободу и мое ремесло, сузить круг, в котором проявляются и развиваются мои способности? Если бы должностное лицо встало на мою сторону, я бы признал его право, ибо оно вытекает из моего права на законную оборону. Но где оно, это лицо, отыскало себе право поддержать шахтера в его поползновении? И вот мне стало ясно, что должностное лицо стало играть другую роль. Это уже не простой смертный, наделенный правами, делегированными ему другими людьми, которые, следовательно, обладают такими же правами. Нет, это теперь высшее существо, получающее свои права от самого себя, и среди этих прав – право уравнивать прибыли и устанавливать равновесие между всеми и всякими позициями и условиями. Прекрасно, говорю я, в таком случае я завалю его просьбами и требованиями, как только замечу на нашей земле человека богаче меня. Мне отвечают, что оно, существо, не будет вас слушать, ибо, слушая вас, оно превращается в коммуниста; поэтому оно остерегается забывать, что его миссия – не уравнивать, а гарантировать собственность.

Видите, какой получается беспорядок, какая путаница! Это в фактах, в действительности. Так как же вы хотите, чтобы беспорядка и путаницы не было в идеях? Вы боретесь против коммунизма, но до тех пор, пока его будут ласкать и лелеять в той части законодательства, которая уже захвачена им, ваши усилия будут тщетны. Это змея, которая с вашего одобрения и вашими заботами заползла в наши законы и нравы, а теперь вы негодуете по поводу того, что всем виден ее торчащий наружу хвост!

Не исключено, сударь, что вы сделаете мне уступку и скажете: да, протекционистский режим покоится на коммунистическом принципе; он противоречит праву, собственности, свободе; он сбивает правительство с верного пути и наделяет его произвольными

полномочиями, не имеющими рациональных истоков; все это так, но протекционистский, защитительный режим полезен, и без него страна рухнет под тяжестью иностранной конкуренции.

Это ведет нас к необходимости рассмотреть ограничения с экономической точки зрения. Отбросим пока в сторону все соображения, касающиеся справедливости, права, собственности, свободы и попробуем решить вопрос о чистой полезности, вопрос, так сказать, сугубо меркантильный, и вы согласитесь, что он не очень-то укладывается в мою тематику. И, между прочим, поберегитесь! Выдвигая на передний план полезность, вы как бы говорите: «Коммунизм, эта кража, наказываемая правосудием, все-таки может быть терпим просто как способ, как средство». Такое признание, сами понимаете, чревато жуткой опасностью.

Не пытаюсь решить здесь и сейчас всю экономическую проблему, я позволю себе высказать одно утверждение. Я утверждаю, что я, пользуясь несложной арифметикой, подсчитал выгоды и неудобства протекции только и единственно под углом зрения богатства, а все прочие соображения, пусть даже более высокого порядка, отбросил прочь. И вот я утверждаю, что пришел к такому результату: всякая ограничительная мера дает одну выгоду и два неудобства, или, если угодно, одну прибыль и две потери, причем каждая из этих потерь равна одной прибыли; получается одна чистая потеря, и тут можно утешиться лишь тем, что в данном случае, как и во множестве других случаев – во всех случаях, решил бы я сказать, – полезность и справедливость согласуются между собой.

Правда, это только утверждение и не более того. Но его при желании можно подкрепить математически.

Общественное мнение заблуждается на этот счет потому, что прибыль от протекции видна невооруженным глазом, а две вызванные ею потери, каждая равная ей, ведут себя иначе: одна до бесконечности дробится между всеми гражданами, другая обнаруживает себя лишь под пытливым взглядом ума.

Я не претендую на обстоятельную демонстрацию такого положения, а ограничусь указанием на его основу.

Два продукта, А и Б, имеют во Франции свою нормальную ценность в 50 и 40. При ограничительном режиме Франция будет пользоваться продуктами А и Б, поворачивая в другое русло ту часть своих усилий, которая равна 90, так как она будет вынуждена непосредственно сама производить продукт А. При свободном режиме эта сумма усилий, то есть равная 90, распространяется на: 1) производство Б, который она будет поставлять Бельгии, чтобы получать от нее А; 2) производство еще одного Б для самой себя; 3) производство В, то есть третьего продукта.

Во втором случае высвободившаяся часть труда посвящается производству В, нового богатства, равного 10, и при этом Франция не лишается ни А, ни Б. Теперь на место А поставьте железо, на место Б – вино, шелк, парижские предметы роскоши, на место В – отсутствующие или недостающие богатства, и вы тотчас обнаружите, что ограничения просто-напросто ограничивают национальное благосостояние¹¹.

Не желаете ли вы, чтобы мы с вами выпутались из этой цепкой алгебры? Что до меня, я очень этого желаю. Вы не станете отрицать, что хотя запретительный режим несколько улучшил положение в угледобывающей отрасли, но сделал это, подняв цену на уголь. Вы также не станете отрицать, что рост цены на уголь, с 1822 г. и до наших дней, вызвал дополнительные расходы у тех, кто этот уголь потребляет, кто им топит и им обогревается; иначе говоря, налицо потеря. Так разве можно сказать, что благодаря ограничительному режиму производители угля, несколько не уменьшив свои капиталы и обычные прибыли, еще и получили сверхприбыль, эквивалентную этой потере? А ведь должны были бы получить, чтобы протекция, оставаясь

несправедливой, одиозной, грабительской и коммунистической, все же была нейтральной с чисто экономической точки зрения. Должны были бы получить, чтобы она выглядела хотя бы простым грабежом, лишь перемещающим богатство из одних рук в другие, не разрушая его. Но вы сами пишете, на странице 236, что «шахты Авейрона, Але, Сент-Этьена, Крезо, Анзена, самые крупные и известные шахты, не дали дохода даже в четыре процента от вложенного капитала!» Чтобы капитал давал во Франции четыре процента, он не нуждается в протекции. Так где же прибыль, которая покрывала бы потерю?

Это еще не все. Получается и другая национальная потеря. Поскольку ввиду подорожания топлива все потребители угля понесли потери, они вынуждены ограничивать и иные свои потребности, так что в целом от этого страдает весь национальный труд. Именно эту потерю никогда не учитывают, потому что она не бросается в глаза.

Позвольте мне поделиться с вами еще одним наблюдением, которое, к моему удивлению, никого не трогает и не потрясает. Протекция, распространяемая на продукцию сельского хозяйства, проявляет все свою безобразнейшую несправедливость к тем, кого называют пролетариями, а в долговременной перспективе она ударит и по самим земельным собственникам.

Давайте вообразим, что где-то в южных морях есть остров, где земля стала частной собственностью некоторого числа обитателей.

Вообразим также, что на этой узурпированной и ограниченной территории живет пролетарское население, растущее или имеющее тенденцию к росту¹².

Этот последний класс не может произвести непосредственно ничего из того, что необходимо для жизни. Поэтому ему приходится отдавать свой труд людям, которые в состоянии снабжать его, в порядке обмена, продовольствием и даже материалами для его же собственного труда – хлебом, фруктами, овощами, мясом, шерстью, льном, кожей, древесиной и т. д.

Он, этот класс, явно заинтересован в том, чтобы рынок, где продаются все эти вещи, был как можно более широк. Чем больше он найдет там себе сельскохозяйственных продуктов, тем больше продуктов достанется ему на каждую единицу отданного им труда.

При свободном режиме множество судов будут бороздить моря и океаны в поисках продуктов и материалов на соседних островах и континентах и привозить их домой, чтобы менять на промышленные изделия. Земельные собственники будут жить прекрасно, на что будут иметь полное право. Будет поддерживаться справедливое равновесие между ценностью промышленного труда и ценностью труда сельскохозяйственного.

Однако – при таком-то положении вещей! – земельные собственники острова вдруг решили провести нехитрый подсчет. Если мы, рассудили они, помешаем пролетариям трудиться на заграницу и получать оттуда продукты питания и сырье, они будут вынуждены обратиться к нам. И поскольку численность их непрерывно растет, а значит и обостряется конкуренция между ними, они волей-неволей удовольствуются той частью продовольствия и сырья, которую мы соизволим выставить на продажу, оставив себе все нужное нам самим, и, разумеется, мы будем продавать наши продукты по очень высокой цене. Иными словами, будет нарушено ценностное равновесие между их трудом и нашим. Они будут посвящать удовлетворению наших потребностей гораздо больше рабочих часов. Так примем же запретительный закон, который пресечет стесняющую нас торговлю, а для исполнения этого закона создадим корпус должностных лиц, оплачиваемых и пролетариями, и нами.

Я спрашиваю вас, не есть ли это вершина угнетения и закабаления, вопиющее нарушение и разрушение ценнейшей из всех свобод, уничтожение первой и священной собственности из всех ее видов?

И представьте себе, земельным собственникам совсем не трудно будет протащить такой закон, изобразив его как некое благодеяние, дарованное всем трудящимся. Они непременно скажут им:

«Мы сделали это не ради самих себя, ибо мы люди порядочные и честные, а ради вас. Наш интерес нам безразличен, мы печемся об интересе вашем. Благодаря такой мудрой мере сельское хозяйство будет процветать. Мы, земельные собственники, станем богатыми, а значит будем давать вам много работы и достойно оплачивать ваш труд. Иначе мы бы обнищали, а во что превратились бы вы – страшно сказать! Остров был бы заполнен заграничными продуктами и материалами, ваши суда сновали бы по морям как челноки. Какое национальное бедствие! Да, вокруг вас будет изобилие всего и вся, но вам-то достанется что-нибудь? И не говорите, будто ваши заработки не только сохранятся, но и будут расти потому, дескать, что возрастет число тех, кому будет нужен ваш труд. А вдруг им, иностранцам, придет в голову фантазия поставлять свои продукты за бесценок? Тогда у вас не будет ни работы, ни заработка, и вы погибнете от истощения посреди обилия и роскоши. Поверьте нам, примите наш закон с признательностью. Плодитесь и размножайтесь. То, что будет оставаться на острове после удовлетворения наших собственных потребностей, будет отдаваться вам в обмен на ваш труд, а труд вам всегда будет обеспечен. Особенно остерегайтесь верить, будто между вами и нами идет какой-то спор и будто мы угрожаем вашей свободе и вашей собственности. Никогда не слушайте тех, кто вам так говорит. Запомните: спор идет между вами и заграницей, этой варварской заграницей – да покарает ее Господь! – которая явно хочет эксплуатировать вас, предлагая вам гнусные сделки, которые вы свободны принять или отвергнуть».

Нет ничего невероятного в том, что подобное словоизвержение, украшенное софизмами по поводу денег, торгового баланса, национального труда, сельского хозяйства, этой кормилицы государства, по поводу угрозы войны и т. д., и т. п., получит огромный успех и сильно облегчит одобрение угнетательского законодательного акта самими угнетенными. Так было и так будет.

Однако предубеждения и заблуждения земельных собственников и пролетариев не меняют природы вещей. Результатом будет нищее население, изголодавшееся, невежественное, развращенное, гибнущее косяками от недоедания, болезней, пороков. Результатом будет также горестное крушение умов, интеллектов, понятий права, собственности, свободы и истинного предназначения государства.

Особо я хотел бы подчеркнуть неминуемость наказания за все это самих земельных собственников, которые, разоряя массу потребителей, готовят собственное разорение, ибо на этом острове все более и более нищающее население станет употреблять простейшие и дешевлешие продукты. Люди будут питаться каштанами, кукурузой, просом, гречихой, овсом, картофелем. Они забуду вкус пшеничного хлеба и мяса. Земельные собственники удивятся: отчего это стало хиреть сельское хозяйство? Тщетно они будут суетиться, устраивать совещания и извечно твердить одно и то же: «Наберем побольше фуража, с фуражом будет скот, со скотом будут удобрения, с удобрениями будет хлеб». Тщетно будут они вводить новые налоги, чтобы раздавать премии производителям клевера и люцерны. Они всегда будут наткаться на преграду – на несчастное население, которое не может купить себе мяса, а значит задать начальный импульс этому вроде бы столь обычному круговращению. В конце концов они, понеся большие расходы, уяснят, что лучше уж терпеть конкуренцию, но зато иметь богатого клиента, чем быть монополистами при нищенствующей клиентуре.

Вот почему я и говорю: запретительная система есть не просто коммунизм, а коммунизм в чистом виде. Он начинается с передачи способностей и труда бедняка, то есть единственной его собственности, в распоряжение богача, он влечет за собой прямую потерю для масс и заканчивает тем, что и сам богач оказывается жертвой общего разорения. Ведь он предоставил государству странное право брать имущество у малоимущих и отдавать его многоимущим. И когда обездоленные всей страны (или всего мира) потребуют вмешательства государства, чтобы произвести уравнивание в обратном направлении, я, по правде говоря, не знаю что им ответить. Во всяком случае первым и наилучшим ответом был бы отказ от всякого и всяческого угнетения.

Однако я спешу покончить с этими расчетами и подсчетами. Что мы имеем в итоге нашего с вами разговора? Что говорим мы, и что говорите вы? Есть пункт, капитальный пункт, по которому мы и вы согласны друг с другом: вмешательство законодателя с целью уравнивать достояния, отнимая у одних и одаривая других, это есть коммунизм, то есть смерть всякого труда, всякого сбережения, всякого благополучия, всякой справедливости, всякого общества.

Вы сами с горечью замечаете, что эта зловещая доктрина заполонила все газеты и книги – одним словом, то поле, на котором разгуливают разного рода спекуляции и домыслы, против которых вы восстаете, тоже в книге.

Я же полагаю, что еще раньше она, с вашего согласия и вашей помощью, проникла в законодательство и в область практики, и именно на этой почве стараюсь атаковать ее я.

Далее, я обращаю ваше внимание на непоследовательность, в которую вы впадете, если, воюя против коммунизма, маячащего в перспективе, вы будете опекать и поощрять коммунизм, действующий сегодня.

Если вы отвечаете мне: «Я поступаю так потому, что коммунизм, реализуемый посредством тарифов, хотя он и противостоит свободе, собственности, справедливости, все-таки согласуется со всеобщей полезностью, и это соображение перевешивает у меня все остальные», – если вы отвечаете мне так, то разве вы не чувствуете, что вы заранее обрекаете на неуспех вашу книгу, что вы умаляете до ничтожества ее значение, что вы лишаете ее всякой убедительности, а наоборот, даете козырь – по меньшей мере, в том, что касается философской и нравственной стороны вопроса – в руки коммунистов всех мастей?

В конце концов, сударь, может ли столь просвещенный ум, как ваш, принять гипотезу о радикальном антагонизме между полезностью и справедливостью? Хотите, я буду говорить откровенно? Я бы не решался высказать столь подрывное и столь кощунственное утверждение, я бы сформулировал проблему совсем иначе: «Вот перед вами особый вопрос. На первый и поверхностный взгляд мне представляется, что полезность и справедливость как-то мешают друг другу. Но я рад, что люди, глубоко изучившие этот вопрос, думают совсем по-другому; видимо, я изучил его недостаточно». Я изучил его недостаточно! Неужто это такое трудное признание, что вы на него не решились, а предпочли погрязнуть в непоследовательности и даже, по сути дела, отрицаете мудрость провиденциальных законов, управляющих человеческими сообществами. Разве утверждать несовместимость справедливости и полезности не значит отрицать мудрость самого Бога? Мне всегда казалось, что так небрежно и, я бы сказал, развязно приближаться к самой границе божественного невозможно без жуткого страха, если человек все-таки разумен и совестлив. Так что же делать, чью сторону взять, оказавшись перед подобной альтернативой? Склониться в сторону полезности? Да, именно так поступают люди, называющие себя практичными. Но, если, конечно, способны связать между собой две идеи, они, по всей вероятности, ужаснутся краже и несправедливости, возведенным в ранг системы. Или решительно встать на сторону справедливости, чего бы это ни стоило, и сказать себе и другим: поступай по совести, а там будь что будет? Так склонны вести себя порядочные

люди, но кто отважится взять на себя ответственность, если и когда впадет в нищету, будет отчаиваться и погибать его страна, да и все человечество. Я призываю всех, кто убежден в существовании вышеназванного антагонизма, решиться сделать свой выбор.

Впрочем, я ошибаюсь. Выбор будет сделан, притом совершенно определенный. Человеческое сердце устроено так, что оно ставит интерес выше совести. Об этом свидетельствуют факты, потому что везде, где сочли, что защитительный режим благоприятствует благополучию народа, его ввели, отбросив прочь все соображения справедливости. Но наступили последствия, и вера в собственность стерлась и исчезла. Люди стали говорить то же, что сказал г-н Бийо: поскольку собственность обкрадена протекцией, почему на нее же не может посягнуть право на труд? Другие, находящиеся за спиной г-на Бийо, сделают третий шаг, а еще другие, находящиеся за их спиной, сделают четвертый шаг, и в конце концов возобладает и будет господствовать коммунизм¹³.

Здравомыслящие и солидные умы, как, например, ваш, страшатся столь быстрого скатывания по наклонной плоскости. Они стараются как-то повернуть движение и направить его вверх и немного преуспевают в этом, как и вы в вашей книге, приподняв общество до ограничительного режима. Таков первый и единственный практический возможный порыв общества, фатально катящегося вниз, его попытка зацепиться хоть за что-нибудь. Однако в обстановке откровенного отрицания права собственности вы заменяете высказывание в вашей книге: «Права существуют или не существуют; если они существуют, они влекут за собой совершенно определенные последствия», – заменяете на другое ваше же высказывание: «Вот вам особый случай, когда интересы национального блага требуют принести в жертву право». И тотчас все, что вы полагали сильным и разумным в вашей книге, становится слабым и непоследовательным.

Вот почему, сударь, если вы хотите завершить ваш труд и сделать его действительно законченным, нужно, чтобы вы ясно высказались об ограничительном режиме, а для этого необходимо начать с решения экономической проблемы. Нужно разобраться в пресловутой полезности этого режима. Даже если я добьюсь от вас его осуждения с точки зрения справедливости, этого еще недостаточно. Повторяю, люди устроены так, что когда им приходится выбирать между реальным благом и абстрактной справедливостью, последняя сильно рискует быть невыбранной.

Когда я приехал в Париж, я повстречался со школами, называющими себя демократическими и социалистическими, где, как вы сами знаете, в ходу такие слова как «принцип», «преданность», «жертва», «братство», «право», «союз». На богатство там смотрят сверху вниз, как на вещь, заслуживающую презрения, во всяком случае второстепенную. И поскольку мы, экономисты, уделяем богатству немало внимания, нас считают в этих школах холодными эгоистами, индивидуалистами, буржуа, бессердечными людьми, чей бог – низменный интерес¹⁴. Хорошо, сказал я себе, вот благородные люди, с которыми мне нет нужды обсуждать экономические проблемы, ибо проблемы эти тонки и сложны и требуют больше прилежания и усердия, чем имеется этих качеств у парижских публицистов, которые поэтому неспособны посвятить себя их изучению. Однако они охотно рассуждают об интересе и либо полагают, ссылаясь на божью мудрость, что интерес гармонирует со справедливостью, либо от всего сердца приносят интерес в жертву тому, что они называют «преданностью». Так что хотя они и считают, что свободный обмен есть право абстрактное, но все же готовы стоять под его знаменем. Однажды я направил им мое обращение. И знаете, что они мне ответили? А вот что:

Ваш свободный обмен – красивая утопия. Он основан на праве и справедливости, он освящает собственность, он имеет следствием союз народов, царство братства среди людей. Вы

тысячу раз правы в принципе, но мы всеми средствами будем вести против вас беспощадную борьбу, потому что иностранная конкуренция смертельно губительна для национального труда.

Я, в свою очередь, тоже им ответил:

Я отрицаю, что иностранная конкуренция губительна для национального труда. Во всяком случае, если бы это было так, вы оказались бы в каком-то промежуточном месте между интересом, который. По-вашему примыкает к ограничительному режиму, и справедливостью, которая, опять-таки по-вашему, примыкает к свободе. И вот я, обожатель золотого тельца, как вы думаете, я покидаю вас с вашим выбором, из которого следует, что вы, люди самоотречения, топчете ваши собственные принципы и цепляетесь за интерес. Так что не занимайтесь декламациями против движущей силы, которая ведет вас, как она ведет всех простых смертных.

Такой опыт общения с ними научил меня тому, что надо прежде всего решить эту устрашающую проблему: что же, в конце концов, существует между справедливостью и полезностью, гармония или антагонизм? А следовательно, надо изучить экономическую сторону ограничительного режима. Ибо, поскольку сами приверженцы людского братства боязливо отступают под натиском пресловутой «потери денег», то становится ясным, что беречь от сомнений дело всеобщей справедливости – этого еще мало, надо также уяснить, что же представляет собой, по их словам, недостойная, гнусная, достойная лишь презрения и действительно презираемая ими, но всемогущая движущая сила, которая именуется интересом.

Эти мои размышления породили два томика, которые я позволю себе послать вам вместе с этой работой, которую заканчиваю¹⁵, будучи убежден, сударь, что если вы, как и мы, экономисты, со всей строгостью и осуждением подходите к запретительному режиму в его нравственном аспекте и если мы с вами расходимся лишь в том, что касается его полезности, то вы не откажетесь досконально изучить вопрос о том, исключают ли друг друга или же взаимно согласуются эти два главнейших элемента окончательного решения проблемы.

Гармония между ними существует. По меньшей мере она столь же очевидна для меня, что и солнечный свет. Так пусть она откроется и вам! Тогда, используя ваш знаменитый пропагандистский талант в борьбе против коммунизма в его самом опасном проявлении, вы нанесете ему смертельный удар.

Посмотрите, что происходит в Англии. Как будто бы, если бы коммунизму потребовалось найти себе самую благодатную землю, где он мог бы укорениться, то такой землей была бы британская. Там феодальные институты, повсюду сея крайнюю нищету и одновременно крайнее роскошество, должны были бы сделать умы беззащитными от проникновения заразы ложных доктрин. А что мы там видим на самом деле? Эти доктрины, потрясающие европейский континент, как-то обошли стороной и не взволновали английское общество. Чартизм не смог там пустить корней. А знаете почему? Потому что та ассоциация, которая в течение десяти лет дискутировала вопрос о протекционистском режиме и боролась против него, одержала победу лишь благодаря тому, что пролила яркий свет на принцип собственности и на подлинные и рациональные функции государства¹⁶.

Конечно же, разоблачить запретительные меры – это одновременно означает и показать в неприглядном виде коммунизм. Ввиду тесной связи и родства того и другого, можно ударить одним махом по обоим этим феноменам, если, так сказать, мыслительно двинуться в обратном направлении, что вы и сами зачастую делаете. Режим ограничений не сможет долго устоять перед верным и точным определением права собственности. Меня удивил и обрадовал тот факт, что ассоциация в защиту монополий выделила средства для распространения вашей книги. Получился очень пикантный спектакль, утешивший меня, когда я горевал по поводу тщетности моих прежних усилий. Кажется, резолюция комитета Мимереля обязывает вас увеличить тираж вашего труда. В таком случае позвольте мне заметить, что в нынешнем виде в нем имеются

существенные пробелы. Во имя науки, во имя истины, во имя общественного блага умоляю вас заполнить эти пробелы и прошу вас ответить на следующие два вопроса:

1. Существует ли принципиальная несовместимость между защитительным режимом и правом собственности?

2. Является ли функцией правительства гарантировать каждому свободное проявление его способностей и свободное распоряжение плодами его труда, то есть его собственностью, или же оно должно что-то отнять у одних и отдать другим, чтобы уравновесить прибыли, шансы и благополучие?

Ах, сударь, пусть будет так, чтобы вы пришли к тем же выводам, к каким пришел я; пусть будет так, чтобы вы, благодаря вашему таланту, известности, влиянию, внедрили эти выводы в общественное сознание, и тогда оно поймет, какую огромную услугу оказали вы французскому обществу. Тогда государство вернется к своей подлинной миссии – миссии гарантировать каждому выявлять свои способности и свободно распоряжаться своим достоянием. Тем самым оно, государство, и от своих колоссальных и незаконных обязанностей, и от связанной с ними устрашающей ответственности. Оно ограничится наказанием за злоупотребление свободой, что равносильно защите самой свободы. Оно обеспечит справедливость для всех и не будет обещать что-то даровать одному, отняв от другого. Граждане научатся проводить различие между разумным и неразумным и не будут наивно требовать от государства того, чего оно не может и не должно делать. Они не будут перегружать его всякими претензиями, не будут обвинять его в своих собственных бедах и неудачах, не будут ждать от него исполнения своих химерических надежд. В своей страстной погоне за благом и счастьем, в которой государство не будет участвовать в роли некоего распорядителя-распределителя, они не будут при каждом своем неуспехе законодателей и закон, менять людей в правительстве и сами формы правления, нагромождать друг на друга разнообразные институции, класть одни обломки поверх других. Исчезнет всеобщая лихорадка взаимных краж и грабежей, совершающихся ныне из-за дорогостоящего и губительного вмешательства государства. Правительство, упростив свои цели и свою ответственность и потому само дешевле обходящееся народу, правительство, упрощенное также и в своей деятельности, не взваливающее на плечи управляемых им людей груз издержек по оплате цепей, которыми оно само опутало себя, правительство, поддерживаемое здравомыслящей публикой, – такое правительство будет прочным и солидным, свободным от всяких расколов и раздразив, и мы наконец решим величайшую проблему, которая звучит так: навсегда засыпать пропасть революций.

Парламентские несовместимости¹

Граждане представители,

Умоляю вас уделить хоть немного внимания тому, что я пишу.

– Хорошо ли отказывать в праве быть членами Национального собрания некоторым категориям граждан?

– Хорошо ли, когда в глазах представителей вспыхивают огоньки надежды на высокую политическую карьеру?

Вот эти два вопроса я и хочу обсудить. В самой Конституции не поднимаются столь важные вопросы.

И тем не менее – странная вещь! – один из этих вопросов, а именно второй, уже был решен без всякой дискуссии.

Должно ли правительство формироваться из членов Палаты? Англия говорит «да», и

получается плохо. Америка говорит «нет», и получается хорошо. В 1789 г. был принят американский вариант, в 1814 г. – английский. Да, между такими двумя авторитетами можно балансировать, притом успешно. Однако Национальное собрание высказалось за систему Реставрации, перенятую от Англии, и сделало это, повторяю, без дебатов, без дискуссии.

Автор текста, который сейчас перед вашими глазами, хотел внести свое предложение и уже поднимался по ступеням к трибуне, когда услышал, что вопрос уже решен. «Я предлагаю...», – начало было я. «Палата уже проголосовала!» – чуть не закричал председательствующий. «Как? Я же еще не...» «Палата проголосовала!» «Так что же? Никто меня не заметил?» «Проконсультируйтесь в секретариате. Палата проголосовала».

Так что на сей раз Собрание никак не обвинишь в медлительности.

Ну, и что же делать? Обратиться к собранию перед окончательным голосованием. Именно так я и поступаю сейчас в надежде, что на моей стороне будут пусть немного голосов, но людей опытных и знающих.

Впрочем, чтобы выступать устно, надо иметь легкие Стентора², да и слушателям желательно быть внимательными. Вот я и подумал, что самое надежное – написать.

Граждане представители, умом и сердцем я чувствую, что само название раздела IV Закона о выборах надо изменить. В нынешнем своем виде оно, так сказать, организует анархию. Еще есть время, и не будем надолго оставлять этот суший бич для страны.

Парламентские несовместимости заставляют поднять два вопроса, глубоко отличные друг от друга, хотя их часто перемешивают и путают между собой.

– Будет ли открыта или закрыта возможность участвовать в национальном представительстве для тех, кто занимает какую-либо государственную должность?

– Будут ли открыты или закрыты государственные должности для членов Собрания?

Это явно разные вопросы, не имеющие связи между собой, так что решение одного из них никак не влияет на решение другого. Депутаты могут иметь доступ к чиновникам, но функции чиновников не будут доступны депутатам; соответственное положение занимают и чиновники.

Обсуждаемый нами закон очень суров в том, что касается допуска чиновников в Палату, но очень мягок в отношении допуска своих представителей к высоким должностям политического характера. В первом случае закон, как мне представляется, вовлечен в радикализм самого неприглядного свойства. Зато во втором он слишком либерален и просто неосторожен.

Не скрою, что в этом моем письменном труде я прихожу ко взаимно противоположным выводам.

Чтобы чиновник стал депутатом, я не делаю тут никаких исключений, хотя и предлагаю принять определенные меры предосторожности.

Но переход депутата из Палаты на государственную службу я исключаю полностью.

Давайте уважать всеобщее голосование! Те, кто стал представителем, должны быть представителями и оставаться представителями. Никаких исключений для вхождения в Палату и абсолютное исключение выхода из нее – таким должен быть принцип. Посмотрим, как он согласуется с общей полезностью, и попробуем доказать, что вполне согласуется.

§I. Могут ли избиратели избирать своими представителями чиновников?

Отвечаю: да, хотя при этом общество должно предусмотреть достаточные меры предосторожности.

Здесь я встречаю первую трудность, которая, как мне думается, заранее выступает, казалось бы, непреодолимой преградой. Сама Конституция провозглашает принцип

несовместимости между оплачиваемой государственной должностью и мандатом представителя народа. При этом, как сказано в докладе, речь идет не о том, чтобы как-то обойти этот фундаментальный принцип, а о том, чтобы его неукоснительно соблюдать.

И вот я спрашиваю, нет ли тут некоего ухищрения, натянутости в слове «должность», употребленном в Конституции. Ведь имеется в виду не человек, даже не должностное лицо, а именно должность, которая-то и опасна для Законодательного собрания. Должность не должна входить в Собрание, должна останавливаться перед его дверьми, но потом, по окончании полномочий Собрания того или иного данного созыва, должность может вернуться, так сказать, к ее носителю, и тем самым Конституция будет соблюдена.

Именно так Национальное собрание истолковало статью 28 Конституции применительно к армии, а поскольку я лишь распространяю это толкование на всех государственных служащих, я вправе полагать, что у меня нет никакой нужды разбираться с той преградой, которую доклад ставит на моем пути.

Ведь и в самом деле, единственное, чего я требую, это чтобы каждый избиратель мог бы также и быть избранным. Но если выбор избирателей падает на государственное должностное лицо, то человек, а не его должность вступает в Палату. Должностное лицо не теряет своих прежних прав и званий. От него не потребуют пожертвовать собственностью, которую он приобрел долгим и полезным трудом. Общество предъявит ему лишь дополнительные требования и ограничится необходимыми и достаточными мерами предосторожности. Избранный депутатом чиновник не будет находиться под влиянием исполнительной власти, он не будет ни продвигаться, ни понижаться в должности, будет находиться вне надежд и вне опасений на этот счет. Он не будет исполнять свою прежнюю должность и получать за нее жалованье. Одним словом, он будет представителем и только представителем в течение всего срока своего мандата. Его административная жизнь будет, так сказать, приостановлена и целиком поглощена жизнью парламентской. Именно так поступили с военными, проведя четкую грань между званием и должностью. Так почему же не сделать того же в отношении всех остальных государственных служащих.

Заметьте: несовместимость в смысле исключения (отстранения) была идеей, которая была естественна и популяризировалась при свергнутом режиме.

Тогда депутаты, если они не были чиновниками, не получали никакого жалованья, зато могли, по окончании своего мандата, на высокие и прибыльные должности на государственной службе. Чиновники же, став депутатами, продолжали непрерывно получать свое жалованье. По правде сказать, они оплачивались не как чиновники, а как депутаты, поскольку не исполняли своих прежних функций, и если министр был недоволен их голосованием, он мог лишиться их всякого заработка, то есть смещать их.

Результаты такой комбинации должны были быть и действительно были плачевными. С одной стороны, кандидаты-нечиновники были большой редкостью в большинстве округов. Да, избиратели были свободны выбирать, но круг выбора не превышал пяти-шести человек. Первейшим условием избрания был размер состояния. А человек, просто благополучный в материальном отношении, отвергался, так как его подозревали, что он воспользуется положением избранника для корыстных целей.

С другой стороны, кандидаты-чиновники были в изобилии. Все объяснялось очень просто. Прежде всего им предоставлялось возмещение. Затем, пребывание в депутатах было для них надежным способом продвижения по службе.

Когда принимается во внимание война портфелей, это неизбежное следствие доступности министерских постов для депутатов (тема эта обширна, и я рассмотрю ее в следующем параграфе), когда, говорю я, в самом парламенте вспыхивает война портфелей и в нем

систематически образуются коалиции с целью свергнуть действующий кабинет, который может сопротивляться тоже лишь с помощью большинства, не менее систематизированного, компактного и преданного, то легко понять, к чему ведет эта двойная способность, даваемая людям с хорошим положением, чтобы стать депутатами, и депутатам, чтобы стать людьми с хорошим положением.

Результатом должно было стать и было следующее: государственные службы, превращенные в предмет эксплуатации; правительство, поглощающее сферу частной деятельности; потеря наших свобод; разрушение наших финансов; растущая коррупция, так сказать, из кармана в карман, то есть передача друг другу целых парламентских регионов вплоть до самых последних слоев избирателей. В этих условиях не следует удивляться тому, что нация ухватилась за принцип несовместимости как за якорь спасения. Все честные избиратели, и об этом хорошо помнится, были единодушны в своем призыве: «Больше никаких чиновников в палате!» Мы помним и программу кандидатов: «Обещаю не занимать никаких государственных должностей и не пользоваться никакими милостями от государства».

Так вот, разве Февральская революция ни в чем не изменила этот порядок вещей, который ранее объяснялся и оправдывался общественным мнением?

Прежде всего мы получили право всеобщего голосования, и это существенно снизило возможность влияния правительства на выборы, а быть может, и совсем устранило такое влияние.

Далее, правительство потеряло всякий интерес к тому, чтобы предпочтительно чиновники становились депутатами, ибо теперь они полностью отвлеклись от государственной службы.

Кроме того, все представители стали получать равное вспомоществование – обстоятельство, которое уже само по себе полностью меняет ситуацию.

Нам больше не приходится опасаться, как бывало некогда, что для выборов будет нехватка кандидатов. Больше придется опасаться избытка кандидатов и, следовательно, трудности выбора. Так что теперь будет просто невозможно, чтобы палату заполнили чиновники. Добавлю, что последние и не будут в этом заинтересованы, ибо мандат депутата уже не будет для них средством для успешной карьеры. Это раньше чиновник воспринимал выдвижение своей кандидатуры как необыкновенную удачу. Сегодня он будет расценивать свое выдвижение как самую настоящую жертву, по крайней мере с точки зрения его собственной карьеры.

Столь глубокие перемены в положении обоих классов имеют, как мне кажется, такой характер, что меняются сами наши представления о понятии несовместимости, ибо условия и обстоятельства стали совершенно иными. Я полагаю, что теперь пора уже рассматривать истинный принцип и всеобщую полезность этого понятия в свете не старой хартии, а новой Конституции.

Несовместимость как синоним исключения создает три крупных неудобства:

1. Ненормально, когда ограничивается – в условиях-то всеобщего голосования! – выбор кандидатов. Всеобщее голосование есть принцип, не терпящий отклонений, принцип абсолютный. Когда все население проникнуто духом уважения, доверия, восхищения по отношению, например, к советнику апелляционного суда, когда оно верит в его просвещенность и добродетель, неужели вы думаете, что оно доверит кому попало функцию исправлять законодательство, а не этому достойному судье?

2. Не менее оскорбительна и неприемлема попытка лишить целую категорию граждан самого прекрасного политического права, самого благородного вознаграждения за долгую и безупречную службу, каковым является избрание человека в результате совершенно

свободного волеизъявления избирателей. Почти можно задаться вопросом, до какой высокой степени Национальное собрание заслужило это право.

3. С точки зрения практической полезности прямо бросается в глаза, что уровень опытности и просвещенности должен сильно снизиться в Палате, переизбираемой каждые три года и лишенной людей, отлично разбирающихся в государственных делах. Да что там говорить! Скажем, в Палате должен разбираться вопрос о флоте, а среди депутатов ни одного моряка. Будут говорить об армии, и ни одного военного. О гражданском и уголовном законодательстве, и ни судьи, ни юриста!

Правда, военные и моряки допускаются в Палату, но делается это в соответствии с законом, не имеющим касательства к их проблемам и не затрагивающим их сути. Вот вам и четвертое, притом серьезное, неудобство, которое следует добавить к трем предыдущим. Люди не поймут, почему в учреждении, где делаются законы, шпага имеет своего представителя, а судейская мантия не имеет, и получилось так лишь оттого, что в 1832 или 1834 г. одна организация какого-то особого свойства была включена в состав армии. Надо устранить, скажут люди, столь вопиющее неравенство, проистекающее из некоего старого и совершенного случайного закона. Вам было поручено разработать и принять полный и безупречный избирательный закон, и вы не должны были вводить в него чудовищную непоследовательность, опираясь на какую-то мелкую статью военного устава. Уж тогда бы вы лучше распространили несовместимость на все категории государственных служащих и должностных лиц. Тогда, по крайней мере, несовместимость стала бы принципом и пользовалась бы престижем именно принципа.

Теперь скажу кратко о мерах предосторожности, которые общество, как мне представляется, вправе принять по отношению к должностным лицам, которых могут избрать в качестве представителей.

Меня могут обвинить в непоследовательности и сказать: поскольку вы не допускаете никаких ограничений быть избранными в результате всеобщего голосования и поскольку вы не считаете, что можно лишить какую-либо категорию граждан их политических прав, то как же и почему вы допускаете более или менее ограничительные меры предосторожности по отношению к одним и освобождаете от них других?

Эти предосторожности – заметьте хорошенько! – ограничиваются лишь одной вещью: обеспечить в интересах общества независимость и беспристрастность представителей, а по отношению к исполнительной власти поставить депутата-чиновника на совершенно равную ногу с депутатом-нечиновником. Когда, скажем, судья получает мандат законодателя, закон страны как бы говорит ему: начинается ваша парламентская жизнь, и пока она будет продолжаться, ваша судейская деятельность прекращается. Что тут униженного и принципиально неприемлемого? Если для каждого чиновника должностная деятельность так или иначе когда-нибудь прекращается фактически, почему нельзя ее прекратить, к тому же временно, по закону, ибо иначе она может оказаться просто вредоносной? Я не хочу также, чтобы депутат-чиновник повышался или понижался в должности его исполнительными властями, потому что если бы это было так, то повышение или понижение было бы следствием не его должностной деятельности, которой он больше не занимается, а его голосования в Палате. Так кто же допустит, чтобы исполнительная власть поощряла или наказывала депутата за его голосование? Так что эти предосторожности не произвольны, они не имеют целью ограничить число кандидатов при всеобщем голосовании или в чем-то ущемить политические права какого-либо класса граждан; совсем наоборот, они универсализируют эти права, иначе дело дойдет в конце концов до абсолюта.

Человек, занимающий любое место в правительственной иерархии, не должен скрывать, что по отношению к обществу и по важнейшему пункту нашей темы не должен скрывать, что он занимает совершенно иное положение, нежели остальные граждане.

Между государственными функциями и, скажем, частной промышленностью имеется и нечто общее, и нечто отличное. Общее заключается в том, что там и тут удовлетворяются потребности общества. Промышленность, вообще хозяйство, уберегает нас от голода, холода, болезней, незнания и невежества. Государство уберегает нас от войны, беспорядка, несправедливости, насилия. Все это – услуги, оказываемые в обмен на вознаграждение.

Теперь об отличии. Каждый свободен принимать частные услуги или отказываться от них, принимать их в той или иной степени и части, обговаривать цену. Я никого не могу заставить покупать мои брошюры и книги, читать их, платить издателю то, что ему действительно положено.

Но все, что касается государственных услуг, заранее предусмотрено законом. Не я определяю, что и сколько я должен платить за обеспечение моей безопасности. Чиновник дает мне ровно столько, сколько предписывает ему давать мне закон, и я плачу за эту услугу ровно столько, сколько опять-таки предписывает закон. Мое свободное решение здесь полностью отсутствует.

Поэтому важно знать, кто принимает такой закон.

Подобно тому, как в самой природе человека продавать как можно больше товаров, постараться сбывать самое худшее, но по самой высокой цене, так и тут позволительно думать, что нами управляют плохо и дорого, ибо те, кто имеет привилегию продавать, так сказать, правительственные товары, имеют также и привилегию определять количество, качество и цену таких товаров³.

Вот почему при наличии обширной организации, которую именуют правительством и которая, как все организации, всегда стремится к собственному росту и расширению, нация, представленная своими депутатами, сама решает, по каким пунктам, в какой мере и за какую цену она намеревается быть управляемой и администрируемой.

Если же, пренебрегая этим обстоятельством, нация позволяет правителям выбирать самих себя, то весьма вероятно, что вскоре ею будут управлять произвольно и бездарно, и ее ресурсы будут исчерпаны.

Поэтому люди пусть и противоположных, но крайних взглядов могут и, видимо, хотят сказать нации: «Мы запрещаем тебе делать представителями чиновников». Подобное было бы абсолютной несовместимостью.

Что до меня, то я тоже был бы готов разговаривать с нацией примерно таким же языком, но только и единственно в качестве совета, рекомендации, ибо я отнюдь не уверен, что имею право превращать совет в запрет. Разумеется, если всеобщее голосование свободно, оно, помимо всего прочего, может быть и ошибочным в смысле избрания тех или иных личностей. Но разве следует отсюда, что в целях предотвращения ошибок мы должны лишить выборы их свободы?

Но зато мы имеем полное право, поскольку нам поручено составить и принять избирательный закон, обеспечить независимость чиновников, избранных представителями, поставить их на равную ногу с коллегами, исключить всякие выходки и посягательства со стороны начальников этих чиновников и так отрегулировать положение этих последних на весь срок действия их мандата, чтобы не было причинено никакого ущерба общественному благу.

Такова цель первой части моего предложения.

Я думаю, что ее осуществление все регулирует и все примиряет.

Уважается право избирателей.

Касательно чиновников, уважается право гражданина.

Исчезает интерес, который некогда побуждал чиновников стремиться занять депутатское кресло.

Вообще ограничивается число тех, кто в личных целях хочет стать депутатом.

Обеспечивается независимость тех, кто стал депутатом.

В целом сохраняется право и ликвидируются злоупотребления, карьеризм и корысть.

Повышается уровень опытности и просвещенности в самой Палате.

Одним словом, принципы соединяются с полезностью.

Но если не нужно устанавливать никаких несовместимостей до выборов, то они совершенно необходимы после выборов. Обе части моего предложения взаимосвязаны, и я скорее сто раз возьму обратно свое предложение, чем соглашусь на принятие его лишь наполовину.

§II. Могут ли представители стать должностными лицами?

Во все времена, когда вставал вопрос о парламентской реформе, чувствовалась необходимость закрыть депутатам возможность делать карьеру на государственной службе.

Основывались на соображении, которое и в самом деле весьма убедительно. Управляемые выдвигают своих представителей, следить, контролировать, ограничивать, а при необходимости обвинять тех, кто ими управляет. Чтобы выполнить эту миссию, нужно, чтобы эти избранные полностью сохраняли свою независимость по отношению к властям. Если же власти просто будут назначать в качестве представителей свои кадры, то вся эта институция рухнет или не состоится. Такое соображение, вернее возражение, имеет, следовательно, конституционный характер.

Возражение нравственного свойства не менее сильно и убедительно. Ведь поистине печальное зрелище видеть, не оправдывая, один за другим, оказанного им доверия, продают, ради теплого местечка, и свои голоса, и интересы своих избирателей.

Поначалу надеялись примирить все и вся посредством перевыборов. Опыт показал неэффективность такого паллиативного средства.

Поэтому общественное мнение горячо высказалось за этот второй аспект несовместимости, и статья 28 Конституции есть не что иное как свидетельство победы общественности.

Но во все времена общественное мнение также выступало и за то, чтобы из понятия несовместимости было сделано одно исключение, а именно: если мудро запретить депутатам какие-либо, так сказать, нижестоящие должности и занятия, то совсем иначе надо поступать с правительствами, посольствами и со всем тем, что именуется высоким политическим положением.

Поэтому во всех планах парламентской реформы, которые выдвигались и принимались до Февраля – в плане г-на Гогье, в плане г-на де Рюмилли, как и в плане г-на Тьера – то если в статье 1-й смело и отважно отстаивался сам принцип, то в статье 2-й непременно говорилось об исключении.

По правде сказать, мне кажется, что никому и в голову не приходило, что дело может обстоять как-то иначе.

А поскольку общественность, верно ли она рассуждает или нет, в конечном счете всегда одерживает верх, статья 79 законопроекта о выборах представляет всего лишь повторную манифестацию ее победы.

Эта статья гласит:

«Статья 79. Оплачиваемыми государственными должностями, которые могут занимать в порядке исключения из статьи 28 Конституции члены Национального собрания в течение срока полномочий Собрания того или иного созыва и по выбору исполнительной власти, являются следующие:

министр;
помощник государственного секретаря;
главнокомандующий национальной гвардии Сены;
генеральный прокурор кассационного суда;
генеральный прокурор апелляционного суда Парижа;
префект Сены».

Общественное мнение не меняется в один день. Поэтому я не надеюсь на успех моего обращения к Национальному собранию. Оно не вычеркнет эту статью из закона. Но я выполняю мой долг, так как предвижу (ах, если бы я ошибся!), что эта статья превратит наше отечество в руины и обломки.

Конечно, я не настолько уверен в собственной непогрешимости и знаю, что встречу критику моей мысли со стороны мысли общественной. Поэтому я позволю себе сослаться на убедительные примеры, пройти мимо которых невозможно.

Депутаты-министры. Но ведь это же воспринято от англичан! Именно из Англии, этой колыбели представительного правления, пришел к нам столь иррациональный и противоестественный альянс. Надо, однако, заметить, что в Англии весь представительный режим служит лишь хитроумным способом удерживать власть в руках нескольких парламентских семейств. По самому духу британской Конституции было бы абсурдно закрывать депутатам доступ к власти, поскольку эта Конституция как раз и нацелена на предоставление им власти. Тем не менее мы скоро увидим, какие отвратительные и ужасные последствия имело для самой Англии такое отклонение от обыкновенного здравого смысла.

С другой стороны, основатели американской республики сразу и мудро отвергли этот элемент политических смут и конвульсий. В 89-м году наши отцы сделали то же самое. Так что моя мысль – не сугубо личная, она не есть ни беспрецедентное новшество, ни нечто, не подкрепленное заслуживающей доверия практикой.

Как Вашингтон, как Франклин, как авторы Конституции 91-го года, я не могу не видеть в допуске депутатов в правительство причину, всегда чреватую сумятицей, волнениями, нестабильностью. Я даже не думаю, что можно вообразить себе более разрушительную комбинацию всех сил и всей действий правительства или, если угодно, более жесткую и неудобную подушку в изголовье постели монархов или президентов республик. Ничто на свете не представляется мне более способствующим пробуждению духа партийности, фракционной борьбе, коррумпированности средств информации и публикации, денатурализации печати и устных выступлений; ничто иное так не вводит в заблуждение общественность, которую сначала возбуждают, а потом депопуляризуют специально для нее истинное и популяризуют ложное, чинят помехи управлению страной, возбуждают ненависть на национальной почве, провоцируют внешние войны, разрушают государственные финансы, заставляют, так сказать, изнашиваться и терять уважение правительства, вынуждают падать духом и буквально портят тех, кем управляют, сеют повсюду ложь, одним словом, и портят, выводят из строя весь механизм представительного режима. Я не знаю никакой другой социальной раны, которая могла бы сравниться с этой, и я полагаю, что если бы сам Господь ниспослал бы нам через одного из своих ангелов Конституцию, то было бы достаточно, чтобы Национальное собрание включило в нее эту несчастную статью 79, и тогда божественный дар

превратился бы в бич нашего отечества.

Именно это я собираюсь показать и доказать.

Предупреждаю, что моя довольно пространный аргументация будет развертыванием некоего силлогизма, основанного на предпосылке, которую давайте считать признанной всеми: «Люди любят власть. Они обожают ее с таким рвением, что для завоевания или сохранения ее они могут пожертвовать всем, даже покоем и благополучием своей страны».

Никто не станет заранее оспаривать эту истину, основанную на наблюдениях везде и всегда. Но когда я, идя от одного следствия к другому, подведу читателя к моему общему заключению, а именно: правительственные посты должны быть закрыты для представителей, избранных народом, – может получиться так, что, не будучи в силах порвать ни одного звена всей цепи моих рассуждений, читатель вернется к вышеназванному исходному пункту и скажет мне: «Нет, вы не доказали привлекательности власти».

Ну, что ж! Я упорно настаиваю на моем тезисе, якобы лишенном доказательств. Доказательств! Откройте наудачу любую страницу истории человечества! Ознакомьтесь с древней или новейшей историей, церковной или мирской, задайте себе вопрос, откуда берутся все эти расовые, классовые, национальные, семейные войны. Вы всегда будете получать один и тот же ответ: из жажды власти.

При всем при том, разве не применяется закон с какой-то слепой неосторожностью, когда власть сама предлагает людям кандидатуру, задача которой – контролировать, критиковать, обвинять и осуждать саму эту власть? Я отношу сказанное не к каким-то отдельным людям, а к человеку вообще, когда он, в силу безрассудного закона, оказывается в неопределенном положении между долгом и интересом. Несмотря на самые красноречивые хвалы насчет чистоты, беспристрастности и бескорыстности судей я не хотел бы иметь пусть даже совсем небольшое достояние в стране, где судья может конфисковать его в свою пользу. Таким же образом меня не устраивает министр, который вынужден говорить самому себе: «Нация обязывает меня отчитываться перед людьми, которые очень хотят заменить меня кем-нибудь из своих и так и делают, когда обнаруживают у меня пусть даже мелкий промах». Вот и попробуйте доказать вашу невиновность перед такими судьями!

Но жалеть приходится, конечно, не отдельного министра, а всю нацию. Начинается жестокая борьба, в жертву которой приносится все – покой нации, ее благополучие, нравственность и даже глубинные национальные идеи, правомерность и справедливость которых подвергаются сомнению.

Оплачиваемые должностные обязанности, которые, в порядке оговорки об исключении из статьи 28 Конституции, могут исполняться членами Национального собрания в течение срока полномочий Собрания данного созыва, притом исполняться людьми, выбранными исполнительно властью, – эти должности равноценны рангу министра.

О! Здесь кроется огромная опасность, настолько ощутимая, что если бы даже мы не имели в этом отношении никакого опыта и судили о ней априорно, на основе простого здравого смысла, мы ни на минуту не усомнились бы, что такая опасность существует.

Допустим, вы не имеете ни малейшего представления о представительном режиме. Вам переправляют на луну и говорят: «Среди народов, населяющих этот мир, имеется один, который не знает, что такое спокойствие, безопасность, мир, стабильность». «Он никем не управляется?» – спрашиваете вы. «О нет, это самый управляемый народ во вселенной, – отвечают вам. – Вы тщетно будете искать такого же управления на всех планетах, исключая, быть может, землю. Власть, стоящая над этими людьми, огромна, она ужасно тяжела для них и обходится очень дорого. Пять шестых людей, получающих хоть какое-то образование, являются государственными чиновниками. Но в конце концов управляемые, то есть население,

получили драгоценнейшее право. Они время от времени избирают своих представителей, которые разрабатывают и принимают все законы, сами раскрывают или закрывают государственный кошелек и заставляют власть согласовывать свои действия и свои расходы с их решениями». «О, какой прекрасный порядок, какая мудрая экономность должны воспоследовать из столь простого механизма! – восклицаете вы. – Конечно, этот народ должен был найти или найдет, пусть даже ошупью, ту самую точку, отправляясь от которой правительство сотворит наибольшее количество благ с наименьшими затратами. Но почему же вы говорите, что этот народ – при таком-то великолепном режиме! – постоянно живет в сумятице и всяких волнениях?» «Вам надо знать, – отвечает ваш чичероне, – что хотя жители луны, эти самые лунатики, очень любят быть управляемыми, еще больше любят управлять. Поэтому они вписали в свою восхитительную Конституцию маленькую статью, затерявшуюся среди множества других статей. Вот ее смысл: к своему праву изгонять министров представители народа добавляют право заменять их другими министрами. Следовательно, если в парламенте образуются партии, ясно очерченные оппозиционные блоки, коалиции, которые, поднимая шум и гам, преувеличивая или вообще ложно преподнося те или иные проблемы, депопуляризуют и сваливают правительство с помощью специально сформированного с этой целью большинства, то руководители этих партий, оппозиционных блоков и коалиций сами становятся министрами. А пока эти новые люди, разнородные по взглядам и характерам, спорят между собой, деля портфели, смещенные министры, ставшие простыми представителями, затевают свои интриги, образуют новые альянсы, оппозиционные блоки, коалиции». «О, осподи!» – восклицаете вы. – Если дело обстоит так, то я совершенно не удивлен, что история этого народа представляет собой историю каких-то жутких и постоянных судорог».

Но вернемся с луны и будем счастливы, если прихватим с собой хоть каплю здравомыслия. И поблагодарим всякого из правого крыла, кто учтет это при третьем чтении нашего избирательного законопроекта.

Да, я рассуждаю априорно. Но уже можно связать мои суждения с реальными фактами, которые мы видим воочию.

Во Франции восемьдесят с лишним парламентов нижестоящего уровня. Их называют генеральными советами. Отношения префекта к генеральному совету во многом похожи на отношения министра к Национальному собранию. С одной стороны, человек, имеющий мандат народа, решает от имени народа, как, в какой мере и какой ценой народом будут управлять. С другой, агент исполнительной власти изучает все то, что должен сделать представитель власти, дает свое согласие на те меры, которые считает исполнимыми и обеспечивает их исполнение. Такая практика повторяется сотню раз в год, повторяется открыто, на наших глазах, и чему она нас учит? Конечно, сердца генеральных советников бьются в унисон с сердцами представителей народа. Правда, среди них очень немногие не стремятся стать префектами, подобно тому как депутат может стремиться стать министром. Но в общем эта идея не приходит в голову советникам по простой причине: закон не делает ранг советника ступенькой в префектуру. Так что и честолюбивые люди (а честолюбивы они почти все) добиваются лишь того, чего реально могут добиться. Перед абсолютной невозможностью огонь желания, не подпитываясь горючим, гаснет. Скажем, дети плачут, желая получить в руки луну, но когда до них доходит, что это никак не получится, они забывают о своем желании. Это относится и к тем взрослым людям, которые говорят мне: неужели вы надеетесь вытравить амбицию из человеческого сердца? Нет, конечно, не надеюсь и даже не хочу этого. Зато очень и очень можно повернуть амбицию на другой путь, убрав неосторожно положенную приманку на прежнем пути. Вы напрасно будете врывать в землю шест в каком-нибудь парке развлечений, никто по нему не полезет, если наверху не будет привязан подарок или приз.

Ясно, что если какая-то систематическая оппозиция, какая-то полубелая и полукрасная коалиция создается внутри генерального совета, то она может изгнать префекта, но не может поставить на его место одного из своих заправил. Однако ясно также, и опыт это показывает, что ввиду такой невозможности подобные коалиции практически в советах не создаются. Префект предлагает свои планы, совет обсуждает их, изучает, определяет их ценность с точки зрения общего блага. Какой-то план одобряется как соответствующий местным нуждам, а иной принимается из личного интереса. Закон не может переделать человеческую натуру, зато избиратели могут выбрать людей с подходящей для них натурой. Но уже то хорошо, что предложения префекта не отвергаются систематически и постоянно, единственно ради того, чтобы навредить ему, чинить ему помехи, свалить его, поставить на его место другого. Такая бессмысленная война, издержки которой несет в конечном счете вся страна, война, часто вспыхивающая в наших Законодательных собраниях, если взглянуть на их историю и на их современную жизнь, никогда не наблюдалась в департаментских советах. Но хотите, чтобы наблюдалась, так, ради опыта? Тогда создавайте эти маленькие парламенты по образцу большого. Введите в закон о генеральных советах маленькую статью примерно такого содержания: «Если та или иная мера, хорошая или плохая, предложенная префектом, отклоняется, префект смещается со своего поста. Тот из членов совета, который руководит оппозицией, назначается на его место и распределяет между своими сотоварищами все важные департаментские должности, связанные с получением общего дохода, сбором прямых и косвенных налогов и т. д.».

И вот я спрашиваю каждого из моих девятисот коллег, осмелится ли он проголосовать за такую статью. Не думает ли он, что тес самым преподнесет стране ужасающий подарок? Можно ли придумать лучший подарок, если желают, чтобы страна агонизировала в тисках фракций? Разве не очевидно, что одна-единственная статья такого рода полностью перевернет дух, характер и стиль работы генеральных советов? Неужели не ясно, что эта сотня учреждений, где сегодня царят спокойствие, независимость и беспристрастность, превратятся в арены борьбы и всяческих интриг? Неужели не очевидно, что тогда любое предложение, исходящее от префекта, не будет рассматриваться по существу и увязываться с общественным благом, а станет полем битвы личных интересов, где каждый будет стремиться лишь к успеху, к победе своей партии. А теперь допустим, что в департаменте имеются газеты. Разве не приложит каждая из воюющих сторон всех своих усилий, чтобы перетянуть их на свою сторону? И разве полемика между этими газетами не будет еще пуще разжигать страсти в самом совете? Разве все обсуждаемые там вопросы не будут искажены и извращены для читающей публики? И вот наступают выборы. Как проголосует такая заблудшая и обманутая публика? Неужели вы не видите и не предвидите, что коррупция и интриги, подхлестываемые пылом борьбы, не будут знать пределов?

Такие последствия пугают вас и потрясают. Представители народа, вы лучше отдадите на сожжение правую руку, чем проголосуете за столь абсурдную и анархичную организацию генеральных советов. Так как же вы поступите? Вы упрямо намереваетесь принять применительно к Национальному собранию всеуничтожающий бич, некий растворитель всего и вся, который вы с ужасом и отвращением отвергаете применительно к департаментским собраниям. Вводя статью 79, вы хотите торжественно провозгласить, что тот самый яд, который вы остерегаетесь вводить в вены страны, вы введете в самое ее сердце, в сердце всего общества.

Вы говорите: это совсем иное дело; полномочия генеральных советов весьма ограничены, дискуссии в них не имеют особого значения, политикой они не занимаются, они не дают законов стране, и в конце концов префектура не есть лакомый кусок, вызывающий вожделение.

Неужели вы не понимаете, что каждое ваше так называемое возражение только лишний

раз доказывает мою правоту, светлую как ясный день? Да что там толковать! Неужели борьба будет менее ожесточенной и принесет стране меньше зла, потому что арена борьбы станет шире, поле боя и само его зрелище более видимыми, страсти более горячими, цель борьбы более заманчивой, орудия войны более мощными, более сокрушительными и более способными ввести в заблуждение великое множество людей? Если бывает досадно, когда общественность заблуждается насчет какой-нибудь проселочной дороги, то разве не досаднее в тысячу раз, когда она заблуждается в вопросах мира или войны, равновесия или банкротства, общественного порядка или анархии?

Я утверждаю, что статья 79, применяется ли она к генеральным советам или к Национальным собраниям, есть искусно организованный беспорядок, организованный по одной и той же модели, в первом случае в малом масштабе, во втором – в масштабе огромном.

Однако прервем монотонность наших рассуждений и обратимся к чужому опыту.

В Англии король (или королева) всегда выбирает своих министров из членов парламента.

Мне неизвестно, зафиксирован ли в этой стране письменно принцип разделения функций. Но я твердо знаю, что даже тень этого принципа не проявляет себя в фактах. Вся исполнительная, законодательная, судебная и даже духовная власть принадлежит и служит одному классу – олигархическому классу. И если этот класс как-то обуздывается, то делается это силой общественного мнения; кстати сказать, именно так произошло совсем недавно. А до сих пор английский народ не управлялся, а эксплуатировался, о чем свидетельствуют два миллиарда налогов и двадцать два миллиарда долгов. Если же с некоторых пор финансы страны приведены в кое-какой порядок, то так получилось отнюдь не благодаря смещению властей, а благодаря общественности, которая, даже будучи лишена конституционных средств и способов борьбы, пользуется большим влиянием, а также благодаря обыкновеннейшей осторожности эксплуататоров, которые остановились в тот самый момент, когда из-за своей алчности могли провалиться в пропасть вместе со всей нацией.

В стране, где все ветви власти суть лишь одна и одинаковая эксплуатация в пользу отдельных парламентских семейств, неудивительно, что министерские посты открыты для членов парламента. Удивительно другое, а именно, что такая ситуация установилась именно в Англии, а еще удивительнее, что подобную странную организацию хочет скопировать для себя народ, претендующий на то, чтобы управлять самим собой и притом управлять хорошо.

Как бы там ни было, какой результат получился для самой Англии?

Вряд ли читатель ждет от меня полной истории коалиций, будораживших Англию. Для этого пришлось бы рассказать обо всей конституционной истории этой страны. Но все-таки я напомним некоторые основные моменты.

Вот становится министром Уолпол. Образуется коалиция. Ею заправляют Палтени и Картерет от виггов-диссидентов (которых Уолпол не сумел пристроить тоже в качестве министров) и Уиндхем от тори; подозреваемые в якобинстве, они обречены на почетную, но бесплодную роль служить подмогой всем оппозициям.

Именно в этой коалиции первый из Питтов (после лорда Четема) начинает свою блестящую карьеру.

Поскольку во Франции якобинский дух был еще жив, это давало повод к различным комбинациям в случае враждебных проявлений с нашей стороны. Поэтому Уолпол проводит политику мира. Следовательно, оппозиция хочет проводить политику войны.

«Покончить с коррупцией, которая подчинила себе парламент и волю правительства, заменить во внешних отношениях более гордой, более достойной политикой робкую и исключительно миролюбивую политику Уолпола», – такова двуединая цель коалиции. Я предоставляю самому читателю поразмышлять о том, как называли коалиционеры Францию и

как относились к ней.

Нельзя безнаказанно играть патриотическими чувствами народа, сознающего, что он сильный народ. Коалиция много и громко разговаривает с англичанами об их унижительном положении, и в конце концов они поверили в это. Они, тоже громко, призывают к войне. И война вспыхивает по поводу так называемого права на досмотр (военных кораблей и торговых судов).

Уолпол любит власть не меньше своих противников. Вместо того чтобы уйти, он сам намеревается вести операции. Он направляет в парламент билль о субсидиях, коалиция отклоняет билль. Она хотела войны и отказывает в средствах вести ее. Ее расчет таков: война без достаточных ресурсов будет неудачной и опустошительной, и тогда мы скажем: «Это промах самого министра, который начал ее, сам того не желая». Когда коалиция кладет на одну чашу весов честь страны, а на другую – возможность собственного успеха, то честь страны оказывается гораздо легче.

Эта комбинация удалась. Англии не повезло в войне, и Уолпол ушел. Дела взяла в свои руки оппозиция, исключая Питта, но, составленная из разнородных элементов, она никак не может договориться внутри самой себя. Во все время этой междоусобицы Англия терпит поражение за поражением. Образуется новая коалиция. Душой ее становится Пиль. Он обрушивается на Картерета. Когда он был вместе с ним, он хотел войны. Теперь, выступая против него, он хочет мира. Он называет его «отвратительным министром», «предателем», упрекает его в субсидировании войск Ганновера. Спустя несколько лет они снова дружат и заседают рядышком в совете министров. Питт говорит о Картерете: «Я с гордостью заявляю, что своим нынешним положением я обязан его покровительству, его дружбе, его урокам».

И опять новая коалиция ведет к новому правительственному кризису. Министрами становятся братья Пелхемы. Палтени и Картерет создают четвертую коалицию. Они свергают Пелхемов. Но через три дня их свергают самих. Пока парламент занят этими интригами, война продолжается, и очередной претендент, пользуясь сложившейся обстановкой, делает успехи в Шотландии. Но это не заглушает и не гасит ничьих личных амбиций.

Наконец Питт завоевывает официальное положение, довольно скромное. Несколько дней он был членом правительства. Он одобряет все, что раньше осуждал, в том числе и субсидирование Ганновера. Он осуждает все, что раньше одобрял, в том числе и противодействие праву досмотра, на котором продолжают настаивать испанцы. Это последнее обстоятельство послужило ему предлогом для еще одной войны, а сама эта война послужила предлогом для свержения Уолпола. «Опыт сделал меня зрелым, – говорит он на пороге окончания войны. – Теперь я убежден, что Испания права». Наконец в Э-ла-Шапеле подписывается мирный договор, который все ставит на свои прежние места, и в котором нет даже упоминания о праве досмотра, которое разожгло огонь войны в Европе.

Появилась пятая коалиция против Питта. Она не преуспела. За ней возникает шестая коалиция несколько особого характера: половина кабинета борется против другой половины. Питт и Фокс остаются министрами, но тот и другой хочет быть премьером. Сначала они объединяются, но почти сразу начинают борьбу друг с другом. Побеждает Фокс. Питт свергается и тотчас организует седьмую коалицию. Наконец с помощью обстоятельств (а обстоятельствами были разруха и нищета в Англии) Питт достигает своей цели. Он становится фактическим премьером. У него впереди четыре года, чтобы обессмертить свое имя, ибо Джон Буль, то бишь английский народ, начал возмущаться и восставать против всех этих мелких дрязг и битв.

По истечении четырех лет Питт уходит, став жертвой парламентских интриг. Его противники легко одерживают над ним верх, так как непрерывно бросают ему в лицо его же

собственные прежние речи. Начинается нескончаемая череда правительственных кризисов. Вернув себе власть на какой-то момент, прямо посреди всех этих перипетий, Питт, полагая, что оказывает очень большую честь, даже слишком много чести, великому Фридриху, предлагает ему альянс, но получает совершенно удручающий ответ: «Очень трудно вступить в сколько-нибудь значимый союз со страной, которая из-за постоянных перемен в управлении не дает никаких гарантий прочности и стабильности».

Но оставим старшего Четэма с его последними днями его печальных битв. Пришло новое поколение, другие люди с теми же именами, другой Питт, другой Фокс, которые по красноречию и гению не уступают своим предшественникам. Однако закон не меняется. Депутаты могут становиться министрами. Поэтому и у нас будут такие же коалиции, такие же опустошения, такая же безнравственность.

Кабинет возглавляет лорд Норт. Оппозиция представляет собой букет знаменитых имен: Бёрк, Фокс, Питт, Шеридан, Эрскин и др.

Четэм в своем дебюте встретился с пацифистским правительством и, естественно, потребовал развязать войну. Второй Питт становится парламентарием во время войны; его роль – требовать мира.

Норт противостоит сыну, как Уолпол противостоял отцу. Оппозиция достигает крайней степени своей ярости. Фокс доходит до того, что требует голову Норта.

Норта свергают, создается новое правительство, в которое входят Бёрк, Фокс, Шеридан. В его состав Питт не включен. Через четыре месяца новая комбинация: в правительство входит Питт, и выходят Шеридан, Фокс и Бёрк. Как вы думаете, с кем Фокс вступает в коалицию? Да все с тем же Нортом! Удивительное зрелище! Сначала Фокс хотел мира, потому что правительство было воинственным. Теперь он хочет войны, потому что правительство пацифистское. Вот и получается, что война или мир служат всего-навсего средствами в парламентской стратегии.

Эта коалиция абсурдна и одиозна, но она побеждает. Питт уходит, Норт приходит. Однако личные амбиции достигли такой точки, что невозможно положить конец правительственному кризису. Он длится уже два месяца. Палаты рассылают послания, граждане направляют петиции, король в замешательстве – ничто не помогает. Депутаты, которые считают себя кандидатами в министры, не отказываются от своих притязаний. Георг III подумывает даже сбросить с себя корону, слишком тяжелую для него, и я думаю, что именно из-за всего этого его постигла жестокая болезнь. По правде сказать, есть от чего потерять голову.

На какой-то миг достигается согласие. Фокс – министр, Норт и Питт – в оппозиции. Но вот снова кризис, снова трудности. Питт побеждает и, несмотря на ярость Фокса, возглавившего другую оппозицию, удерживается на своем месте. Фокс совсем разнуздывается и сыплет грубыми ругательствами. «Я сочувствую, – отвечает ему Питт, – положению моего уважаемого оппонента, мне жаль его мучений по поводу ошибочных надежд, разрушенных иллюзий, разочарования, но я не простил бы себе, если бы такое поведение, такая всепожирающая страсть возбудили во мне иное чувство, нежели жалость. Я предупреждаю, что все эти люди не в силах вызвать во мне гнев, даже презрение».

Не буду продолжать. По правде сказать, эта история не имеет конца. Я привел известные имена, но не для того, чтобы получить постыдное удовольствие как-то опорочить этих крупных деятелей. Просто я подумал, что, ссылаясь на них, я сам буду более убедителен в моем рассказе. Если неосторожный закон позволил так низко пасть людям типа Питтов и Фоксов, то что уж говорить об Уолполах, Бёрке, Нортах?

Особенно следует заметить, что сама Англия была игрушкой и жертвой этих коалиций. Одна коалиция ведет к разорительной войне, другая к унижительному миру, третья проваливает

справедливый план репараций в пользу Ирландии, предложенный Питтом. А ведь от скольких страданий, от какого стыда освободил бы этот план Англию и все человечество!

Грустное зрелище наблюдать, как эти государственные деятели вечно противоречат друг другу и занимаются неприглядными пререканиями. Четэм, находясь в оппозиции, провозглашает, что малейший признак успеха Франции в торговле есть ущерб и несчастье для Великобритании. Четэм, будучи министром, заключает мир с Францией и проповедует, что процветание какого-нибудь одного народа есть благо для всех других народов. Мы привыкли видеть в Фоксе защитника французских идей. Таким он и был, когда с нами воевал Питт. Но когда Питт заключал с нами договор 1786 г., Фокс без всяких обвиняков твердил, что состояние войны естественно и нормально в отношениях между обеими странами.

К великому сожалению, такие вариации, служащие коалициям лишь в качестве стратегических маневров, всерьез принимаются народами. Они, народы, поочередно умоляют о пришествии либо мира, либо войны, что на руку сменяющим друг друга лидерам, каждый из которых быстро приобретает популярность. В этом заключается серьезная опасность коалиций.

Можно небезосновательно утверждать, что подобные маневры сильно дискредитировали себя в Англии и к ним уже в течение нескольких лет не осмеливаются прибегать тамошние государственные деятели. Это доказывает лишь то, что разрушительные последствия этих маневров раскрыли, наконец, глаза народа, который, научившись на собственном опыте, теперь отвергает их. Я хорошо знаю, что человек по природе прогрессивен, что он всегда в конце концов просвещается, если не благодаря дару предвидения, то во всяком случае благодаря приобретаемому опыту, и что любая институция, имеющая, так сказать, врожденный порок, теряет со временем способность творить зло, ибо до этого натворила слишком много зла. Так неужели нам следует создавать такую Институцию? Не надо думать, что Англия давно избавилась от такого бича. Мы видели, что она до сих пор терпит на себе его жестокие результаты.

В 1824 г., когда финансы Англии находились в почти безнадежном состоянии, ловкий министр Хаскиссон подумывал о большой реформе, которая тогда была очень непопулярна. Хаскиссону пришлось ограничиться несколькими экспериментами, чтобы подготовить и просветить общественность.

Членом парламента был тогда один молодой человек, отличный экономист, сразу понявший все величие и значение этой реформы. Он был всего лишь простым депутатом, доступ в правительство ему был закрыт, и ему оставалось только помогать Хаскиссону в его трудном начинании. Но в английском законодательстве тоже имеется фатальная статья 79. И сэр Роберт Пиль – ибо это был именно он, тот самый молодой человек, – сказал самому себе: «Реформа хороша, но проведу ее я и только я». Однако для этого нужно было стать министром. А чтобы стать министром, нужно было свергнуть Хаскиссона. Чтобы свергнуть его, нужно было его депопуляризировать. Чтобы его депопуляризировать, нужно было чернить и хулить дело, которым он чистосердечно восхищался. Этим очернением и занялся сэр Роберт.

Хаскиссон умер, не реализовав свою идею. Финансы изнемогали. Надо было приложить поистине героические усилия. Рассел внес билль, предполагавший и по сути начинавший реформу. Сэр Роберт не преминул яростно восстать против билля, и он был провален. Лорд Джон Рассел посоветовал королю – настолько тяжела была ситуация – распустить парламента и обратиться к избирателям. Сэр Роберт заполонил всю Англию протекционистскими аргументами, противоречащими его убеждениям, но соответствующими его намерениям. Старые предрассудки взяли верх. Новая Палата прогнала Рассела, и в правительство вошел Пиль с чрезвычайной миссией не допустить никакой реформы. Как видите, он не побоялся пойти очень длинным и весьма окольным путем.

Но сэр Роберт рассчитывал на помощь, которая не замедлила оказаться под рукой: отчаянное положение общества. Поскольку реформа задерживалась его же усилиями, дело с финансами, естественно, становилось все хуже и хуже. Все бюджеты завершались страшнейшим дефицитом. Так как продукты питания не могли проникать в Великобританию извне, страна была охвачена голодом, а вместе с ним, как это всегда бывает, разгулом преступности, всякими дебошами, болезнями, высокой смертностью. Отчаяние! Ничто другое так не меняет унастроения народа. Общественное мнение, подкрепленное деятельностью одной могущественной лиги, потребовало свободы. Дело дошло до той самой точки, до которой хотел добраться сам сэр Роберт. И вот тогда, предавая собственное прошлое, своих бывших единомышленников, свою парламентскую партию, он в один прекрасный день провозглашает себя приверженцем политической экономии и сам проводит реформу, которую, к несчастью Англии, он же и затянул на целых десять лет с единственной целью – показать всем величие и славу реформы. Славу он получил, но отречение от всех своих прежних друзей и некие угрызения совести обошлись ему дорого.

У нас тоже есть своя конституционная история, или, иначе говоря, история войны за портфели, войны, которая будоражит и часто портит целую страну. Много об этом я говорить не буду, да и то, что скажу, будет лишь воспроизведением того, о чем люди уже читали, исключая, пожалуй, некоторые имена и некоторые детали этой, так сказать, театральной постановки.

Особое внимание читателя я хочу обратить не столько на печальную и достойную сожаления сторону маневров парламентских коалиций, сколько на самое опасное последствие таких маневров, а именно на популяризацию, пусть на какое-то время, несправедливости и абсурда и депопуляризацию самой истины.

Однажды г-н де Виллель заметил, что государству открыт кредит и оно может занять денег под 4 с половиной процента. В то время у нас был очень большой долг, процент с которого составлял 5. Г-н де Виллель надумал предложить кредиторам государства следующее: не трогайте пока что капитал, а берите только процент, как это ныне принято во всех сделках, или же забирайте ваш капитал; я готов вам его вернуть. Что может быть более разумного, более правильного и справедливого и сколько раз Франция тщетно просила и требовала прибегнуть к столь простому способу?

Однако в Палате имелись депутаты, желавшие стать министрами. Вследствие такого желания их роль естественным образом заключалась в том, чтобы показать, что г-н де Виллель заблуждается полностью и во всем. Они разругали конверсию с таким шумом и ожесточением, что и вся Франция не пожелала иметь ее ни за какую цену. Это означало отнять несколько добавочных миллионов у налогоплательщиков, то есть, так сказать, вынуть у людей все внутренности. А когда добряк г-н Лаффит, у которого финансовый опыт возобладал над духом коалиционной солидарности, довольно-таки осторожно промолвил: «В конце концов конверсия имеет и хорошую сторону», – его тотчас обозвали ренегатом, и Париж не пожелал видеть его и дальше своим депутатом. Сделать непопулярным разумное и притом небольшое снижение ставки процентов, которые получают рантье, – ничего себе! Поскольку коалиции применили такой силовой прием, они будут применять его и в будущем. Мы и сейчас еще расплачиваемся за этот урок и, что много хуже, не собираемся делать из него выводы.

Но вот к власти пришел г-н Моле. Членами Палаты стали два талантливых человека в соответствии с новым уставом, который тоже имеет свою статью 79. Эта статья прозвучала в обольстительных словах для наших двух депутатов: «Если вам удастся свалить г-на Моле, сделав его непопулярным, один из вас займет его место». И наши два соискателя, которые никогда и ни о чем не могли договориться между собой, вдруг прекрасно договорились, чтобы

вылить на голову г-на Моле целый ушат поклепов и сделать его непопулярным.

Какой предмет, какую тему они выберут? Это будут вопросы внешней политики. Это почти единственная тема, по которой оба они могут как-то согласовать свое поведение, ибо во всем остальном они придерживаются взаимно противоположных политических взглядов. К тому же проблематика внешней политики чудесно соответствует цели, которую они поставили перед собой. «Правительство трусливо, оно предательски ведет себя и унижает французский флаг, а мы истинные патриоты и защитники национальной чести». Что может быть лучше, чтобы унижить своего противника и подняться самому в глазах общественности, которую всегда легко перетянуть на свою сторону, когда речь заходит о чести? Правда, если тут зайти слишком далеко и сверх меры экзальтировать массы в духе патриотизма, то это может крайне возбудить их, и дело кончится всемирным пожаром. Но в глазах коалиции даже такое – дело второстепенное. Главное – захватить власть.

В то время, о котором мы говорим, г-н Моле стал управлять Францией, уже связанной договором, в котором, если не ошибаюсь, содержалась такая статья: «Когда австрийцы покинут резиденции папских представителей, французы уйдут из Анконы». Австрийцы покинули резиденции, французы ушли из Анконы. Поступок – самый естественный и самый справедливый. Если не утверждать, что слава Франции заключается в нарушении договоров и в бросании слов и обещаний на ветер, то Моле поступил абсолютно правильно и был тысячу раз прав.

Однако именно по этому вопросу господам Тьеру и Гизо, которых поддержала введенная в заблуждение общественность, удалось свалить Моле. И как раз в этой связи г-н Тьер стал проповедовать свою доктрину касательно международных обязательств, которая сделала его совершенно невыносимым человеком, ибо была направлена на то, чтобы сделать саму Францию невыносимой для всех цивилизованных народов. Но свойство коалиций таково, что тем, кто в них входит, они чинят впоследствии помехи и строят преграды. Причина тут проста. Когда человек находится в оппозиции, он провозглашает высокие принципы, выказывает неумный патриотизм, подчеркивает свою непреклонную преданность делу. Когда же наступает час победы и он оказывается в правительстве, он вынужден оставить весь свой декламаторский багаж за дверью и скромно и тихо продолжать политику своего предшественника. И тогда вера в него гаснет в общественном сознании. Народ видит, как продолжается и увековечивается политика, которая, как его учили, жалка и бездарна. И он, народ, с грустью говорит самому себе: люди, которые обрели мое доверие своими красивыми оппозиционными речами, никогда не оправдывают этого доверия, когда становятся министрами. И еще хорошо, если к таким словам он не добавит: теперь я буду обращаться не к всяким там ораторам, а к людям деловым.

Итак, мы видели, как господа Тьер и Гизо стреляли в парламенте в г-на Моле из анконских пушек. Теперь я мог бы показать, как другие коалиции стреляли в г-на Гизо из таитяньских, марокканских, сирийских пушек. Но тогда вся эта история стала бы слишком однообразной и скучной для читателя. Все время повторялось одно и то же. Два или три депутата, принадлежащие к разным партиям, часто оппозиционным друг другу, порой взаимно непримиримым, вбивают себе в головы, что они несмотря ни на что и вопреки всему должны стать министрами. Они высчитывают, что все эти партии, взятые вместе, могут составить большинство или почти большинство. Следовательно, они создают коалицию. Они не занимаются серьезными административными или финансовыми реформами во благо общества. Нет, тут у них нет согласия между собой. Да и роль всякой коалиции совсем иная – резко и грубо нападать на людей и мягко журить за злоупотребления. Пресечь злоупотребления! Но ведь это означает уменьшить, обеднить наследие, получить которое они жаждут! Наши двое

или трое заводил сосредоточиваются на вопросах внешней политики. Они набивают рот словами «национальная честь», «патриотизм», «величие Франции», «преобладание». Они вовлекают в свою игру газеты, потом всю общественность, экзальтируют ее, возбуждают, перевозбуждают, будь то по поводу египетского паши, права досмотра или какого-нибудь Притчарда⁴. Они подводят нас к самой грани войны. Европа в тревоге. Повсюду растут армии, а вместе с ними – бюджеты. «Еще одно усилие! – призывает коалиция. – Надо, чтобы правительство ушло или чтобы Европа запылала». Правительство уходит, армии остаются на месте, бюджеты тоже. Один из счастливых-победителей входит во власть, двое других отстают по дороге и вместе с отставленными министрами образуют новую коалицию, которая затевает те же интриги и приходит к тем же результатам. Совсем еще свеженькому правительству говорят: «Теперь сокращайте армию и бюджет». Оно отвечает: «Как так? Разве вы не видите, что по всей Европе разбросано множество мест, чреватых войной?» Народ говорит: «Оно, правительство, право». И при каждом правительственном кризисе растет груз налогов; наконец положение становится невыносимым, и мнимые внешние беды уступают место бедам внутренним. Тогда министр говорит: «Надо вооружить половину нации, чтобы вторая половина могла спать спокойно». Народ или, по меньшей мере, та его часть, у которой осталось что терять, говорит: «Он, министр, прав».

Таково печальное зрелище, являемое миру Францией и Англией. И многие здравомыслящие люди волей-неволей задаются вопросом, а не есть ли представительный режим, так логично и красочно обрисованный теорией, не есть ли он по сути и по природе своей жестокая мистификация. К этой проблеме надо подходить конкретно. Без статьи 79 такой режим вполне отвечает чаяниям, которые он порождает, как показывает пример Соединенных Штатов. При наличии же статьи 79 он представляет собой для народов лишь длинную цепь иллюзий и разочарований.

А как же иначе? Люди грезил о величии, влиянии, удаче и славе. Покажите мне человека, который никогда не мечтал о подобных вещах. И вдруг ветер выборов заносит таких людей в Законодательное собрание. Если Конституция страны говорит каждому из них: «Тыходишь сюда как представитель и будешь оставаться представителем, и не более того», – то какой интерес будет у них, спрашиваю я, изматывать, устраивать подвохи, развенчивать и опрокидывать власть? Однако вместо этих слов она говорит совсем другие. Она говорит одному: «Министр нуждается в умножении своих сил, у него прочные политические позиции, и я не запрещаю тебе войти в состав его сил». Другому она твердит: «Ты храбр и талантлив; вот скамьи министров; если тебе удастся согнать их, можешь сам усесться туда».

И тогда неизбежно сыплются яростные обвинения, прилагаются неслыханные усилия, чтобы стяжать мимолетную популярность, привлекаясь раскладываются, как в какой-нибудь лавке, неосуществимые принципы, атака следует за атакой или гнусная уступка за гнусной уступкой, когда приходится обороняться и отступать. Сплошные ловушки и противоловушки, притворства и разоблачения притворств, подкопы и встречные подкопы. Политика превращается в стратегию. Боевые действия переносятся за стены парламента, в разные бюро, комиссии, комитеты. Малейшее парламентское событие – скажем, избрание квестора, ведающего парламентскими расходами, – это уже некий симптом, заставляющий учащенно биться сердца от страха или от надежды. Когда, скажем, обсуждается такой важный документ как Гражданский кодекс, к нему не проявляют особого интереса, а соединяют совершенно разнородные элементы и разъединяют однородные. В каком-то одном случае дух партийности помогает создать коалицию. В другом случае скрытая или, так сказать, подпольная ловкость правительства разрушает коалицию. Когда обсуждается закон, от которого зависит благополучие народа, но который никак не связан с вопросом о доверии, зал почти пуст. Зато

любой вопрос, чреватый скандалом и взрывом, обсуждается охотно, и всякий, кто его ставит, готовя почву для атаки, встречается доброжелательно. Анкона, Таити, Марокко, Сирия, Притчард, право досмотра, фортификации – все пригодно, лишь бы это послужило поводом для коалиции опрокинуть кабинет. И всегда в таких случаях нам перенасыщают стереотипными причитаниями: «Внутри страны Франция страдает и т. д., и т. п., вне страны ее унижают и т. д., и т. п.». Так это или не так – это никого не заботит. Поссоримся ли мы с Европой? Будет ли она заставлять нас вечно держать под ружьем пятьсот тысяч человек? Остановит ли та или иная наша мера движение к цивилизованности? Создаст ли такая мера препятствие для будущего управления страной? Никто об этом не думает, и всех интересует только одно: падет или победит какой-нибудь деятель?

Не думайте, что такая политическая извращенность охватывает в парламенте лишь низменные души, сердца, пожираемые амбициями низкой пробы, чувства и мысли расчетливых соискателей теплых и хорошо оплачиваемых местечек. Нет, она овладевает, так же и особенно, душами элитными, сердцами благородными, интеллектами могучими. А ведь чтобы укротить подобные страсти, достаточно, чтобы статья 79 имела иную формулировку, не пробуждала тривиальную мыслишку: «Ты осуществишь свои мечты о собственной удаче», – а пробуждала мысль: «Ты осуществишь свои мечты о благе народа». Лорд Четэм засвидетельствовал свою величайшую беспристрастность. Г-на Гизо никогда не подозревали в любви к золотому тельцу. Но каждый из них входил в коалиции. Что они в них делали? Делали они все, чтобы прийти к власти, а это похуже стяжательства и жажды богатства. Они афишировали чувства, которых не имели; рядились в тогу безудержного патриотизма, который не одобряли; чинили препоны правительству своей страны; проваливали очень важные переговоры; направляли газеты и общественное мнение по гибельным путям; создавали трудности для своего собственного будущего правительства и заранее готовились постыдно отречься от своих обещаний. Вот что они делали. А почему? Потому что демон-соблазнитель, прикрываясь статьей 79, шептал им в ухо слова, обольстительную силу которых он знает с самого сотворения мира: «Будь богом сам, сокрушай все на своем пути, достигни власти, и ты будешь добрым гением и благодетелем народов». И обольщенный депутат выступает с речами, излагает доктрины, совершает поступки, отвергаемые его глубинной совестью. Он внушает самому себе: «Мне надо расчистить дорогу, я пойду по ней, войду в правительство, и тогда я сумею вернуться к моим истинным идеям и принципам и осуществить их».

Так что остается совсем немного депутатов, которых не соблазняла бы перспектива оказаться в правительстве, а соблазненные отклоняются от той верной и справедливой линии, придерживаться которой вправе требовать от них их сотоварищи. Ах, если бы война портфелей, этот бич, который бытописатели в свой грустный перечень человеческих страданий, поместив его между чумой и голодом, если бы, говорю я, война портфелей не выходила за стены Собрания! Но нет, поле битвы ширится, доходит до границ страны и даже пересекает их. Воинственные массы кишмя кишат повсюду, только их главари пребывают в здании Палаты. Они отлично знают, что для получения заветного места надо начать с внешних действий, с газет, с приобретения популярности, с перетягивания на свою сторону общественного мнения и большинства избирателей. Все эти силы, выступающие за или против той или иной коалиции, по мере своего развертывания и активизации проникаются и пропитываются страстями, которые, так сказать, возвращаются и в стены парламента. Газеты по всей Франции больше не дискутируют о том о сем, они выступают адвокатами. Каждый закон, каждый шаг властей они рассматривают не с точки зрения того, хорош или плох этот закон или шаг, а единственно с позиций помощи, которую они могут оказать какому-нибудь соискателю и претенденту. У проправительственной прессы один-единственный девиз: «Все идет хорошо». У прессы

оппозиционной, как у старухи на юбке из одной сатиры, начертано: «Докажите!»

Когда газеты решают обмануть публику и самих себя, получаются удивительные вещи. Вспомним хотя бы право досмотра. В течение я уж не знаю скольких лет договор о нем выполнялся, и никого это не тревожило. Но вдруг коалиции понадобился повод для своей стратегии, она раскопала этот несчастный договор и положила его в основу своих действий. Вскоре с помощью газет ей удалось внушить всем французам, будто в договоре имеется статья: «Английские военные корабли будут иметь право досматривать французские торговые суда». Нет нужды рассказывать, какой взрыв патриотизма произвел этот домысел. До сих пор непонятно, как удалось тогда избежать всеобщей войны. Я вспоминаю, как на одном многочисленном собрании метали громы и молнии против гнусного договора. Кто-то решился спросить: «Кто из вас читал его?» На его счастье у слушателей не было камней под рукой, иначе его буквально забили бы.

Между прочим, ввязывание газет в войну портфельей роль, которую они в ней играют, были убедительно раскрыты и показаны одной из них, причем сделано это было настолько красочно, что я позволю себе воспроизвести здесь соответствующий текст («Пресс» от 17 ноября 1845 г.):

«Г-н Пететен описывает газеты так, как он их понимает, вернее как ему нравится понимать их. Он искренне верит, что когда «Конститусьонель», «Сьекль» и др. атакуют г-на Гизо, а «Журналь де деба» набрасывается на г-на Тьера, то эти газеты бьются между собой за чистую идею, за истину и что они движимы совестью. Неужели он в самом деле преисполнен такой веры? Оценивать прессу, как делает он, значит полагаться на собственное воображение, а не на действительность. Нам совсем нетрудно это сказать, ибо мы газетчики – газетчики не столько по призванию, сколько по обстоятельствам. Мы ежедневно видим, как печать служит человеческим страстям, соперничающим амбициям, министерским комбинациям, парламентским интригам, самым разнообразным, взаимно противоположным, далеким от всякого благородства политическим расчетам, с которыми она, печать, тесно связывает себя. Но мы редко видим ее на службе идей. Когда же, чисто случайно, какая-нибудь газета ухватывается за какую-нибудь идею, то она никогда не делает этого ради самой идеи, а всегда пользуется ею как инструментом защиты правительства или нападения на правительство. Пишущий сейчас эти строки имеет достаточно богатый опыт. Всякий раз, когда он пытался побудить газетчиков вылезти из колеи партийности и выйти в чистое поле идей и реформ, пойти по дороге оздоровительного применения экономической науки в делах государственной администрации, он оказывался одиноким и бывал вынужден признать, что вне узкого круга, очерченного четырьмя или пятью именами конкретных деятелей, в газетах невозможна никакая дискуссия, и в них нет никакой политики».

По правде сказать, я не знаю, какой еще пример, какое свидетельство нужно читателю, если он не растерялся, не устрасился перед столь потрясающим признанием!

Зло, исходящее от парламента, овладевает газетами, а через газеты овладевает всем общественным мнением. Да и как публика может не впасть в заблуждение, когда день за днем «Трибюн» и «Пресс» преподносят ей все на свете в ложном свете – ложные суждения, ложные цитаты, ложные утверждения?

Мы видели, что обычное поле министерских битв – это прежде всего внешняя политика, затем парламентская коррупция и коррупция предвыборных кампаний.

Что касается внешней политики, то все понимают, насколько опасна непрерывная деятельность коалиций, направленная на то, чтобы разжечь национальную ненависть,

возбудить патриотическую гордыню, убедить страну, будто за граница только и мечтает, как бы ее, страну, унижить, а исполнительная власть – как бы ее предать. Позволю себе присовокупить, что эта опасность, быть может, более велика именно во Франции, чем где-либо еще. А между тем наша цивилизация заставляет нас трудиться, трудиться плодотворно. Труд дает нам средства существования и обеспечивает прогресс. Труд развивается и должен развиваться в обстановке безопасности, свободы, порядка и мира.

К сожалению, университетское образование у нас находится в вопиющем противоречии с этими требованиями нашего времени. Заставляя жить нас на протяжении всей нашей юности жизнью спартанцев и римлян, оно поддерживает в наших душах чувства, присущие детям и варварам: правление посредством грубой силы. Вид красиво шагающего строем полка, звуки фанфар, машины, изобретенные людьми, чтобы ломать и дробить себе руки и ноги, красочная поза тамбур-мажора – все это приводит в экстаз. Как варвары, мы думаем, что патриотизм означает ненависть к чужеземцу. Едва созревает наш интеллект, как он уже напичкан воинскими доблестями, великой политикой римлян, их глубокой дипломатией, силой и мощью их легионов. Мы учимся морали у Тита Ливия. Наш катехизис – это катехизис Квинта Курция. Мы с энтузиазмом принимаем в качестве идеала цивилизации нравы народа, который обеспечивал себе средства существования путем методического ограбления всего мира. Поэтому легко понять, почему мы так легко поддерживаем усилия парламентских коалиций, всегда направленные в сторону войны. Лучшей почвы для их посева и не придумаешь. Коалиции считают сущим пустяком, что в течение нескольких лет они стравливали нас с Испанией, Марокко, Турцией, Россией, Австрией и трижды с Англией. Что станет с Францией, если страну не свернут с этой дороги бедствий, причем свернуть ее придется с большим трудом и почти вопреки ее воле. Луи-Филиппо пал, но ничто не помешает мне утверждать, что он оказал миру колоссальную услугу, удерживая страну в состоянии мира. Скольких усилий стоил ему этот успех, заслуживающий благодарности народов! А почему это удавалось ему с таким трудом (и в этом – сама суть моего тезиса)? Потому что состояние мира не поддерживалось общественным мнением. Почему же так? Потому что мир не устраивал газеты. Почему не устраивал? Потому что он, мир, был некстати некоему депутату, метившему в премьеры. Почему некстати? Потому что обвинения в слабости и предательстве были, есть и всегда будут излюбленным оружием депутатов, которые тянутся к портфелям, а для этого им нужно свалить тех, у кого эти портфели в руках.

Другой пункт, по которому коалиции обычно нападают на правительство, это коррупция. В этом отношении, при предыдущем режиме, они сыграли хорошую игру. Но не превращают ли коалиции эту самую коррупцию в некую фатальность, в некую, так сказать, вечную неизбежность? Атакуемая по этой проблеме власть, когда она права, если, скажем, ее толкают на несправедливую войну, сначала защищается с помощью доводов здравого смысла. Но скоро она замечает, что доводы ее не действуют и она наталкивается на глухую стену систематической оппозиции. Что ей остается? Ей остается сколотить любой ценой твердое большинство в свою пользу, противопоставляя приверженцев одного направления приверженцам направления другого. Таким было оборонительное оружие Уолпола, тем же самым пользовался г-н Гизо. Надеюсь, меня не обвинят в апологии или оправдании коррупции. Но я утверждаю: поскольку человеческое сердце таково, каково оно есть, коалиции превращают коррупцию в фатальность. Обратное утверждение было бы противоречием, ибо когда правительство действует честно, оно обязательно падет. Если же оно удерживается, значит оно кого-то подкупает. Никогда еще не было кабинета сколько-нибудь стабильного, чья стабильность не обеспечивалась бы большинством. Это относится к Уолполу, Нортю, Виллелю, Гизо.

А теперь пусть читатель представит себе страну, где большие политические собрания и

объединения, Палаты, электораты непрестанно обрабатываются, с одной стороны, маневрами систематической оппозиции, которой помогают газеты, сеющие ненависть, ложь и воинственные идеи, а с другой стороны, правительственными маневрами, пропитывающими продажностью и коррупцией все клетки и клеточки социального тела. Так надо ли удивляться тому, что люди честные в конце концов приходят в отчаяние? Правда, время от времени все эти заводы начинают играть другие роли. Однако это обстоятельство лишь сметает последние остатки веры, и остается всеобщий и неискоренимый скептицизм.

Мне надо заканчивать. И закончу я одним соображением величайшей важности.

Национальное собрание приняло Конституцию. Мы должны глубоко уважать ее. Она наш якорь спасения. Тем не менее это не есть резон, чтобы закрывать глаза на опасности, скрытые в этом документе, который есть дело рук человеческих и не более того, особенно если мы хотим, на основе тщательного и беспристрастного изучения этого документа, вытравить из всех вспомогательных институций все то, что способно посеять семена зла и гибели.

Я думаю, все согласятся, что в нашей конституции кроется опасность противостояния и даже столкновения двух властей, каждая из которых считает себя соперником и ровней другой, и каждая ссылается на результаты всеобщего голосования, давшие им жизнь, той и другой. Уже сама возможность неразрешимого конфликта тревожит многих и породила две очень четкие и недвусмысленные теории. Одни подчеркивают, что Февральская революция, направленная против прежней исполнительной власти, никоим образом не желала ослабления законодательной власти, которой отводила первенствующую роль. Напротив, председатель совета министров прямо заявил, что хотя некогда правительство должно было отступать перед большинством, сегодня ему отступать вовсе не надо. Как бы там ни было, все искренние защитники безопасности и стабильности должны горячо желать, чтобы не возникало ни малейшего повода для конфликта властей и чтобы такая опасность, если она и существует, всегда оставалась лишь латентной.

А если так, то неужели мы будем с веселым сердцем по-прежнему держать в избирательном законе очевидную причину правительственных кризисов? Неужели, боясь конституционных трудностей, мы так и будем, прежде чем расколоться окончательно, устраивать парламентские бои и, как бы ради своего удовольствия, умножать и умножать шансы вспыхивания самых разных конфликтов?

Так пусть же подумают вот о чем: то, что когда-то называлось «правительственным кризисом», отныне будет называться «конфликтом властей» и будет приобретать гигантские масштабы. Мы уже видели нечто подобное, когда нашей Конституции не исполнилось еще и двух месяцев, и, не будь великолепной выдержки и умеренности Национального собрания, бушевали бы сейчас сильнейшие революционные бури.

Конечно, был могучий мотив, позволявший нам избегать причин, вызывающих правительственные кризисы. При режиме представительной монархии эти кризисы творили много зла, но в конце концов было найдено решение. Король мог распускать Палату и обращаться к стране. Если страна осуждала оппозицию, результатом оказывалось новое большинство, и гармония властей восстанавливалась. Если же страна осуждала правительство, это тоже создавало большинство, и королю приходилось уступать.

Теперь вопрос стоит о взаимоотношениях не оппозиции и правительства, а законодательной и исполнительной власти, причем обе ветви имеют мандат на определенный срок, то есть между двумя всеобщими голосованиями.

Повторю лишний раз, что я не пытаюсь решить, кто должен уступить, а лишь говорю: давайте уж как-нибудь вытерпим испытание, если оно выпало нам естественным образом, но будем осторожны и не будем искусственно вызывать испытаний по несколько раз в год.

Опираясь на уроки прошлого, я спрашиваю: разве заявлять, что представители могут стремиться получить министерские портфели, не означает затевать коалиции, умножать правительственные кризисы или, точнее сказать, конфликты властей? Предоставляю моим коллегам поразмышлять об этом.

Теперь несколько слов о двух возражениях.

Мне говорят: «Вы усматриваете слишком много вещей в простой допустимости для депутатов войти в правительство. Послушать вас, получается, что без такой допустимости республика была бы раем. Уж не думаете ли вы, что, закрыв депутатам дверь во власть, вы сумеете загасить все страсти? Разве не заявляли вы сами, что в Англии коалиции становятся невозможными, потому что они стали непопулярными, и разве не видели все, как Пиль и Рассел были готовы к вполне лояльному состязанию между собой?»

Такой аргумент можно выразить иначе и кратко: поскольку всегда бывают дурные страсти, сделаем отсюда вывод, что надо заложить в закон пищу и подпитку для самой дурной из всех страстей. Я думаю, что чем больше и чем дольше коалиции творят зло, тем больше они, так сказать, изнашиваются и ветшают. Такое происходит вообще со всеми видами зла, и это еще один мотив, чтобы посеять здоровое зерно в наши законы. Никчемные войны, тягостные налоги, будучи следствиями происков коалиций, научили Англию презирать их. Я не говорю, что нам нужно потратить два или три века, чтобы через страдания воспринять такой же урок. Вопрос заключается в том, не лучше ли сейчас отклонить плохой закон или же лучше принять его, и тогда через сотню лет избыток зла вызовет реакцию, нацеленную на обретение добра.

Говорят еще вот что: «Запретить депутатам входить в правительство значит лишить страну всех крупных талантов, которые обнаруживаются и проявляются в Национальном собрании».

Я же говорю, что, совсем наоборот, оставлять депутатов депутатами означает удерживать их на службе общему благу. А вот показывать талантливому человеку, являющемуся представителем, заманчивую перспективу пребывания у власти, это-то как раз и значит творить в сотню раз больше зла, ибо, войдя в коалицию, он потом не совершит никакого блага, будучи членом кабинета. Его талант, его гений будет повернут против общественного спокойствия и благополучия.

Впрочем, не предаемся ли мы иллюзии, когда воображаем, будто все великие таланты сосредоточены в Палате? Неужели можно поверить, что во всей армии не найдется хорошего военного министра, а во всем судебном ведомстве не сыщешь хорошего министра юстиции?

Если талантливые и даже гениальные люди имеются в Палате, то пусть они там и остаются. Они будут оказывать благотворное влияние на складывающиеся группы большинства и на правительства, тем более что они никак не будут заинтересованы в том, чтобы оказывать влияние злоторное.

Даже если рассматриваемое мною сейчас возражение имело бы хоть какую-то ценность и правомерность, все равно оно блекнет перед несоизмеримо большими опасностями, связанными с деятельностью коалиций, то есть с фатальными последствиями статьи, против которой я выступаю. Можем ли мы надеяться найти решение, которое не содержало бы в себе никаких неудобств и изъянов. Давайте-ка научимся хотя бы выбирать из двух зол меньшее. Со странной логикой выступают софисты, утверждая: ваше предложение имеет маленькое неудобство, в моем предложении неудобств масса; поэтому надо отклонить ваше предложение именно из-за наличия в нем маленького неудобства.

Итак, подведем итог нашему слишком длинному и одновременно слишком короткому повествованию.

Вопрос о парламентских несовместимостях – это сама суть, сама сердцевина

Конституции. Мы целый год не поднимали этого вопроса, а его надо решать.

Решение, отвечающее справедливости и общей полезности, зиждется, как мне представляется, на двух ясных, простых и бесспорных принципах:

1. Чтобы попасть в члены Национального собрания, не должно быть никаких исключений ни для кого, надо лишь принять некоторые меры предосторожности в отношении государственных должностных лиц.

2. Абсолютно исключается переход избранного представителя на любую государственную должность.

Иными словами:

Каждый избиратель может быть избранным.

Каждый представитель должен оставаться представителем.

Все это и заключено в моем предложении, которое я сформулировал так:

1. Государственное должностное лицо, избранное представителем, не теряет своих прав и должностных званий, но оно не может исполнять свои должностные функции и получать за них вознаграждение в течение всего срока действия его депутатского мандата.

2. Избранный представитель не может занимать никакой государственной должности, в частности и в особенности должности министра.

Справедливость и братство¹

По множеству вопросов экономическая школа находится в оппозиции к многочисленным социалистическим школам, которые утверждают, что они больше продвинулись вперед и – с этим я охотно соглашаюсь – более активны и популярны. Мы имеем в качестве противников (я не хотел бы сказать – в качестве клеветников и хулителей) коммунистов², фурьеристов, оуэнистов, Кабе, Л. Блана, Прудона, П. Леру³ и немало других.

Довольно странно, что эти школы различаются между собой в не меньшей степени, чем они отличаются от нас. Надо поэтому, чтобы все они исходили из какого-то общего принципа, из которого мы не исходим. Надо также, чтобы этот их общий принцип был действительно общим и прилагался к бесконечному разнообразию, наблюдающемуся в их рядах.

Я полагаю, что нас радикально разделяет следующее:

Политическая экономия требует от закона лишь всеобщей справедливости.

Социализм во всем своих ветвях и ответвлениях и бесчисленных демаршах и действиях требует от закона реализации догмы братства.

И что же получается? Социализм, вместе с Руссо, допускает, что весь социальный порядок определяется законом. Известно, что Руссо уповал на общественный договор. Луи Блан на первой же странице своей книги о революции пишет: «Принцип братства – это такой принцип, согласно которому все члены большого человеческого семейства рассматриваются как солидарные друг с другом, и в один прекрасный день все сообщества, эти творения людей, будут организованы по образцу человеческого тела – творения Бога».

Исходя из этого, а именно, что общество есть творение человека, творение закона, социалисты должны сделать вывод, что в обществе нет ничего такого, что не было бы заранее определено и урегулировано законодателем.

Следовательно, видя, что политическая экономия требует от закона, чтобы повсюду и для всех господствовала справедливость, они думают, что она, политическая экономия, не допускает братства в социальных отношениях.

Убеждены в этом они твердо. «Так как общество полностью зависит от закона, –

утверждают они, – и так как вы требуете от закона только справедливости, значит вы исключаете братство из закона, а следовательно, и из общества».

Отсюда – их обвинения в жесткости, черствости, холодности, сухости в адрес экономической науки и тех, кто ее представляет и распространяет.

Но верна ли их основная посылка? Верно ли, что все общество втиснуто в закон? Если посылка неверна, то рушатся все только что перечисленные обвинения.

Да и в самом деле, говорить, что позитивный закон, всегда действующий, опираясь на власть, принуждение, карательную силу, на штык и тюрьму, на пресечение всех и всяких преступлений, говорить, что такой закон, далекий даже от простого упоминания о привязанности, дружбе, любви, самоотречении, преданности, жертвенности, не может декретировать того, что резюмирует все эти добрые качества, то есть братства, говорить это разве означает уничтожить или отрицать благородные свойства нашей натуры? Нет, разумеется. Говорить так – это говорить лишь о том, что общество – понятие гораздо более широкое, нежели закон, и что совершается великое множество актов и проявляется великое множество чувств вне и поверх закона.

Что до меня, то я от имени науки и в меру всех моих сил протестую против столь жалкого толкования вещей, по которому получается, что мы, видя, что закон имеет свой предел, якобы отрицаем все то, что находится за этим пределом. Нет и еще раз нет! Поверьте, мы тоже с восторгом воспринимаем великолепное слово «братство», сошедшее к нам восемнадцать веков назад со святой горы и начертанное навсегда на нашем республиканском знамени. Мы тоже страстно желаем, чтобы индивиды, семьи, народы объединились и помогли друг другу на трудном пути жизни простого смертного. У нас тоже сильнее бьется сердце и навертываются на глаза слезы, когда мы узнаем о великодушных поступках, объединяющих и сплачивающих граждан, самые разные классы, целые народы, как будто бы самой судьбой предназначенные вести за собой все остальные народы по пути прогресса и цивилизации.

Да разве есть нужда нам самим говорить о себе? Пусть судят нас по нашим делам. Конечно, мы хотели бы думать, что сегодняшние публицисты, которые хотят вытравить из человеческих сердец всякое чувство личного интереса, которые беспощадно бичуют то, что они называют индивидуализмом, которые беспрестанно произносят слова «преданность», «жертвенность», «братство», так вот, мы хотим, что они были движимы исключительно этими возвышенными мотивами, следовать которым они советуют другим, чтобы они не только давали советы, но и демонстрировали собственным примером, что они стремятся держать и вести себя с гармонии со своей доктриной; мы хотим верить их словам, преисполненным бескорыстия и милосердия. Но в конце концов путь и нам будет разрешено сравняться с ними в этом отношении.

Каждый из этих Дециев⁴ имеет план, как осчастливить человечество, и все они своими повадками дают понять, что если мы боремся против них, то это потому, что мы опасаемся либо за наше имущество, либо за какие-нибудь социальные выгоды. Нет, мы боремся против них потому, что считаем их идеи ложными, а их проекты – одновременно наивными и разрушительными. А вот если бы они убедительно доказали, что вполне можно опустить счастье с небес на землю, искусственно организовав общество или декретировав братство, тогда каждый из нас, хотя мы и экономисты, кровью подписал бы подобный декрет, отдав ее последнюю каплю.

Однако никто не доказал нам, что братство придет и утвердится само по себе. Там и тогда, где и когда оно проявляет себя, оно вызывает нашу живую симпатию, потому что оно проявляется, преодолевая все и всякие законодательные пути. Братство спонтанно, или его нет совсем. Декретировать его значит его уничтожить. Закон может принудить человека

действовать по справедливости, но он не может принудить его быть преданным делу справедливости.

Впрочем, отнюдь не я придумал такое различие. Как я уже говорил выше, эти слова вышли из уст божественного основателя нашей религии:

«Закон говорит вам: не поступайте с другими так, как вы не хотите, чтобы поступали с вами.

А Я говорю вам: поступайте с другими так, как вы хотите, чтобы поступали с вами».

Мне думается, что эти слова как раз указывают на границу, разделяющую справедливость и братство. Мне кажется также, что они проводят демаркационную линию – не скажу абсолютную и непреодолимую, но теоретическую и рациональную – между сферой применения и действия закона и поистине беспредельной областью спонтанных действий и поступков человека.

Когда большое число семей, чтобы жить, развиваться и совершенствоваться, нуждаются в труде, трудясь либо каждая семья самостоятельно, либо объединившись в ассоциацию, и когда они создают и поддерживают общую, совместную силу, то чего могут они от нее требовать, если не защиты всех людей, всех видов труда и собственности, всех прав и всех интересов? И разве это не есть всеобщая справедливость? Ясно, что право каждого имеет своим пределом совершенно такое же право всех других. Поэтому закон может лишь признать такой предел и заставить людей не выходить за него. Если же закон будет разрешать некоторым людям переходить этот предел, то такое может совершаться только в ущерб другим. Тогда закон будет несправедливым. Больше того, он будет вопиюще несправедливым, если будет не просто допускать переход предела, а приказывать перейти его.

Возьмем, к примеру, собственность. Здесь принцип таков: то, что каждый сделал своим трудом, принадлежит ему, хотя труд каждого может быть в очень разной степени умелым, упорным, удачливым и, следовательно, продуктивным. Когда два труженика хотят соединить свои усилия, чтобы потом разделить продукт труда по взаимному согласованию или обменяться между собой своими продуктами, или же один хочет сделать другому заем или дарение, что тут делать закону? Мне кажется, ничего, не считая требования исполнения договоренностей, предотвращения насилия, обмана, надувательства и наказания за них.

Разве означает это, что закон должен пресекать проявления преданности и великодушия? Кому может прийти в голову такая мысль? Или, навыворот и еще хуже, должен ли закон приказывать быть преданным и великодушным? Вот пункт или пункты, разделяющие экономистов и социалистов.

Если социалисты хотят сказать, что в чрезвычайных обстоятельствах и безотлагательных случаях государство должно подготовить ресурсы, помочь некоторым несчастным, способствовать некоторым сделкам, то – Бог мой! – мы вполне согласны с ними и желаем только, чтобы такие дела проводились наилучшим образом. Тем не менее и на этом пути есть пункт, за который заходить нельзя; это тот случай, когда предусмотрительность правительства уничтожает предусмотрительность индивида, подменяя ее. Совершенно очевидно, что в этом случае, так сказать, организованное милосердие приведет за собой постоянное зло и лишь преходящее, быстро исчезающее добро.

Однако у нас с ними нет и речи об исключительных мерах. Мы ставим вопрос так: имеет ли своей задачей закон, рассматриваемый с общей и теоретической точки зрения, констатировать и заставлять не нарушать предел предсуществующих прав индивидов, или же

он должен прямо и непосредственно давать счастье людям, вызывая к жизни акты преданности, самоотверженности и самопожертвования?

Больше всего меня удивляет в этой последней системе, то есть во второй части вопроса (и я в этой моей статье буду часто к ней возвращаться), полная неопределенность в том, что касается человеческой деятельности и ее результатов, неизвестность, в которую закон погружает общество и которая вполне способна парализовать все его силы.

Все знают, что такое справедливость, где и как она проявляется. Она есть постоянный и твердо зафиксированный фактор. Если закон будет руководствоваться единственно справедливостью, каждому будет понятно как вести себя и улаживать собственные дела.

Но вот перед нами братство. Где его стержень, где предел, какова форма? Все это уходит в бесконечность и исчезает в ней. В конце концов братство заключается в принесении жертвы другому, в труде для другого. Когда оно свободно, спонтанно, добровольно, я понимаю и приветствую его. Я восхищаюсь самопожертвованием тем больше, чем оно полнее. Но когда обществу предлагают принцип, согласно которому закон вменяет, навязывает его – так сказать, чисто по-французски, – когда распределение плодов труда совершается законодательным путем невзирая на всякие там права труда, то кто может предугадать, в какой степени этот принцип будет действовать, какую форму приобретет каприз законодателя, в каких институциях найдет свое воплощение закон. И я спрашиваю: может ли вообще в таких условиях существовать общество?

Заметьте, что жертвенность по самой своей природе беспредельна. Она простирается от гроша, брошенного в плошку нищего, до дарования самой жизни. Евангелие, проповедующее братство, объясняет его в виде советов и говорит нам: «Если кто ударит тебя в правую щеку, подставь ему и другую. И кто захочет взять с тебя верхнюю одежду, отдай ему и рубашку»⁵. Священное писание сделало больше, чем объяснить, что такое писание, оно поведало нам о самом совершенном, самом трогательном и самом возвышенном примере жертвенности – о распятии на Голгофе.

Ну, так что ж? Неужели скажут, что законодательство обязано довести до такой точки, притом сугубо административными мерами, учение о братстве? Или оно должно остановиться на полпути? Но где именно находится этот отрезок пути и по каким правилам будет совершаться остановка? Сегодня эти вопросы решаются голосованием и выборами, завтра они будут решаться другим голосованием и другими выборами.

Такая же неопределенность касается и формы. Вопрос в том, заставить ли некоторых принести жертву всем или заставить всех принести жертву некоторым. Кто может мне сказать, как возьмется за это закон? Ведь невозможно отрицать, что число формул и формулировок братства весьма и весьма неопределенно. Не проходит и дня, чтобы я не получал по почте таких формулировок, и все они, заметьте, очень разные. По правде сказать, не безумие ли верить, будто страна вкусит что-то от нравственного и материального благополучия, если будет принят принцип, по которому не сегодня завтра законодатель может приказать всей стране взять на вооружение какой-нибудь один из ста тысяч образчиков братства – тот образчик, который ему вдруг полюбится?

Теперь я позволю себе выяснить, какие наиболее важные последствия имеют система экономистов и система социалистов.

Прежде всего допустим, что страна приняла за основу своего законодательства справедливость, всеобщую справедливость.

Предположим, что граждане говорят правительству: «Мы берем на себя ответственность за наше собственное существование, за наш труд, наши торговые сделки, наше образование, прогресс, вероисповедание; ваша единственная задача – удерживать нас всех и во всех

отношениях в рамках наших прав».

Уже столько на свете было всего перепробовано, но все же хотел бы, чтобы моему народу или любому другому народу на земле пришла в голову фантазия испробовать и это, только что сказанное. Разумеется, и никто не станет отрицать этого, механизм тут проще простого. Каждый может пользоваться всеми своими правами, лишь бы он не нарушал прав других. Подобный эксперимент тем более заманчив, что народы, которые фактически наиболее близки к этой системе, превосходят все остальные народы в том, что касается безопасности, процветания, равенства и достоинства. Да-да, и если мне остается жить десять лет, я отдал бы девять лет за то, чтобы прожить один год в моем отечестве, согласившемся на такой эксперимент. И вот, как мне представляется, счастливым свидетелем чего бы я оказался:

Прежде всего, каждый был бы уверен в своем будущем в части, касающейся отношения к нему со стороны закона. Как я уже говорил, справедливость – настолько конкретная и определенная вещь, что законодательство, занимающееся только ею, было бы незыблемым и стабильным. Оно не могло бы предаваться всяким вариациям ради достижения одной-единственной цели: заставить уважать личность и ее права. Каждый мог бы заниматься чем угодно, лишь бы это было честное занятие, и ничего не боялся бы, не испытывал бы никакой неуверенности. Все профессии и карьеры были бы доступны всем, каждый свободно проявлял бы свои способности в зависимости от собственного решения, интересов, склонностей, таланта, обстоятельств разного рода; не было бы ни привилегий, ни монополий, ни ограничений.

Далее, поскольку все силы правительства будут направлены на предупреждение и карание обмана, мошенничества, правонарушений, преступлений, насилия, то надо полагать, что оно будет делать это свое дело более успешно, чем сегодня, когда его силы распылены по бесчисленному множеству объектов, не имеющих никакого отношения к его основной задаче. Даже наши противники не станут отрицать, что предотвращать и наказывать несправедливость есть главная миссия государства. Почему же столь драгоценное искусство предупреждать и наказывать так мало преуспело у нас? Потому что государство пренебрегает им и занимается тысячью других вещей, перегружающих его. Потому-то безопасность и не выступает – ой, как еще далеко до этого! – отличительной чертой французского общества. Она была бы полной при режиме, аналитиком которого я сейчас, на этих страницах, стал. Это была бы безопасность будущего, ибо никакая утопия не могла бы быть навязана посредством силы государства; это была бы безопасность настоящего, ибо эта сила использовалась бы исключительно для того, чтобы побеждать и уничтожать несправедливость.

Здесь уместно сказать несколько слов о последствиях, порождаемых самой безопасностью. Возьмем собственность в разнообразных ее формах – на землю, на движимое имущество, собственность промышленника, интеллектуала, ремесленника, и все эти формы ее надежно гарантированы. Она защищена от посягательств злоумышленников и, больше того, от посягательств со стороны закона. Каков бы ни был характер услуг, которые трудящиеся оказывают обществу или друг другу, или же, в порядке обмена, кому-нибудь за границей, эти услуги всегда будут иметь свою естественную ценность. Ценность эта может меняться в зависимости от разного рода событий, но никогда на нее не будут воздействовать капризы закона, налоговые требования, интриги, претензии и влияние парламентариев. Поэтому цена вещей и труда будет подвергаться лишь самым незначительным колебаниям. В таких условиях открываются возможности для успешного развития промышленности, приумножения богатств, накопления капиталов. Все это будет расти и множиться с чудодейственной быстротой.

А когда умножаются капиталы, они конкурируют между собой; вознаграждение за предоставление их взаимно снижается; иными словами, снижается процент, который все меньше

и меньше ложится дополнительным грузом на цену продуктов. Соответственная доля капитала в совокупном продукте непрерывно идет вниз. Этот, так сказать, проводник труда становится более распространенным и доступным большому числу людей. На ту же самую долю дешевого капитала падает и цена предметов потребления; жизнеобеспечение становится дешевле, а это – первое и важнейшее условие освобождения трудящихся классов от всяческих путб.

Одновременно и по той же причине (то есть ввиду быстрого роста капитала) непреложно и со всей необходимостью растут заработки. Ведь капиталы не дают ничего, если не пускать их в дело. И чем больше фонд заработной платы, чем активнее он используется применительно к определенному числу работников, тем выше заработок каждого из них.

Таким образом, строгое следование режиму справедливости, а значит свободы и безопасности, ведет к улучшению жизни ныне страдающих классов, причем делается это сразу двумя путями – удешевлением жизнеобеспечения и повышением зарплат.

И прямо-таки невозможно, чтобы при таком улучшении жизни рабочих не возвысилась, не стала чище их нравственность. Здесь мы вступаем на путь обеспечения равенства. Я имею в виду не только равенство всех перед законом, создаваемое обсуждаемой сейчас мною системой, которая исключает всякую несправедливость, а прежде всего то реальное равенство в материальном и нравственном отношении, которое есть результат повышенного вознаграждения за труд, связанного с пониженным вознаграждением за предоставление капитала.

Если мы взглянем на отношения нашего народа с другими народами, то увидим, что эти отношения благоприятствуют состоянию мира. Быть готовым отразить агрессию – вот единственная забота внешней политики нашей страны. Она не угрожает никому, и никто не угрожает ей. У нее нет какой-то особой дипломатии, тем более, так сказать, вооруженной дипломатии. В силу принципа всеобщей справедливости ни один гражданин не сможет ради своих интересов обратиться к закону, чтобы тот помешал другому гражданину торговать с заграницей, и поэтому внешнеторговые отношения нашего народа будут свободны и очень широки. Никто не оспорит того, что такие отношения способствуют поддержанию мира. Они же будут для него и подлинной и драгоценной системой защиты, делающей ненужными арсеналы оружия, крепости, военный флот и постоянную армию. Тем самым все силы народа будут посвящены производительному труду, а это послужит еще одной причиной роста капиталов со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Нетрудно видеть, что у такого народа правительственный аппарат сведен до необходимого минимума, а административная машина сильно упрощена. Почему? Да потому, что государственная сила будет иметь единственную задачу – обеспечивать справедливость в отношениях между гражданами. Это можно делать малыми средствами, и даже сегодня соответствующие расходы обошлись бы Франции всего в двадцать шесть миллионов. Народ такой страны почти не платил бы налогов. Прогресс и развитие цивилизованности будут делать управление страной все более простым и экономичным, ибо чем больше справедливость будет оказываться добрых привычек и нравов в самом обществе, тем легче будет сокращать силу, организованную в целях обеспечения справедливости.

Когда же страна буквально раздавлена всяческими налогами, то крайне трудно и, я бы сказал, невозможно распределить их тяготы более или менее равномерно. Статистики и финансисты даже не мечтают об этом. Есть еще более трудная, вернее совершенно уже невозможная вещь – это переложить налоговое бремя на богатых. Государство может иметь достаточно денег, черпая их решительно у всех, особенно у народных масс. Однако при том простом режиме, адвокатом которого я выступаю – быть может, тщетно, – то есть при режиме,

требующем лишь немного десятков миллионов, нет ничего более легкого, чем справедливое распределение маленьких налогов. Достаточно будет изымать их пропорционально имеющейся собственности и проводить это через муниципальные советы. Не будет больше тяжких фискальных поборов, не будет всепожирающей бюрократии – этих кровопийц и паразитов на социальном теле; не будет всяких косвенных обложений, этих денег, вырванных силой или хитростью, этих фискальных ловушек, расставленных на всех дорогах и тропинках труда, этих пут, которыми повязывают нас тем крепче, чем больше лишают нас свобод и ресурсов.

Нужно ли доказывать, что неизменным результатом предлагаемого мною режима будет порядок? Откуда возьмется беспорядок? Не от нищеты; она, по всей вероятности, будет вовсе неизвестна в стране, по меньшей мере нищета хроническая. Если же и будут случаться какие-то отдельные беды и страдания, то никому и в голову не придет обвинять в этом государство, правительство, закон. Сегодня принято думать, что государство в принципе для того и существует, чтобы распределять богатство на всех, и потому от него требуют отчета о выполнении такого обязательства. Чтобы как-то выкрутиться, оно увеличивает налоги, усугубляет нищету, которую призвано искоренить. Публика осаждает государство новыми требованиями, оно отвечает новыми поборами, и нам приходится шагать от одной революции к другой. Но когда все поймут, что государство должно брать у трудящихся только строго необходимое для гарантирования их от всякого надувательства и насилия, тогда откуда же возьмется беспорядок?

Наверное, найдутся люди, которые подумают, что при столь простом и легко реализуемом режиме общество заскучает и впадет в угрюмость. Куда денется большая политика? Чему будут служить государственные деятели? Всенародно избранные депутаты, вынужденные заниматься лишь совершенствованием Гражданского и Уголовного кодексов, разве не прекратят они являть жадной до зрелищ публике сцен страстных дебатов и драматических битв?

Такое странное пристрастие проистекает из идеи, будто правительство и общество суть одно и то же. Ложная и пагубная идея! Если бы она была верна, то и в самом деле упростить правительство означало бы обеднить общество во всех отношениях.

Но разве только скучными делами будет заниматься государственная сила ради обеспечения господства справедливости и разве отнимется что-нибудь от инициативности самих граждан? Разве даже сегодня их многообразная деятельность заключена в узкие рамки закона? Разве, отнюдь не отклоняясь от принципа справедливости, они не будут иметь досуга, чтобы создавать бесконечное множество комбинаций и всякого рода ассоциаций – религиозных, благотворительных, промышленных, сельскохозяйственных, интеллектуальных, даже возводить фаланстеры и творить всякие икаррии. Каждый будет участвовать во всем этом добровольно, притом на свой страх и риск. Государство же должно участвовать лишь в таком страхе и риске, который затрагивает все общество.

Возможно, скажут: «Да, в таком режиме мы ясно видим справедливость, экономность, свободу, богатство, мир, порядок и равенство, но мы не видим в нем братства!»

Еще и еще раз повторю: неужто в человеческом сердце пребывает лишь то, что вложил в него законодатель? Неужели для появления братства на земле требуется урна для голосования? Разве закон запрещает вам благотворительность ввиду того, что он лишь вменяет вам в обязанность быть справедливыми? Разве женщины перестанут быть отзывчивыми и жалостливыми только оттого, что отзывчивость и жалостливость не записаны в кодексе? Есть ли в кодексе статья, которая, отрывая дочь от тепла и ласки матери, заставляет ее бежать туда, где раскрываются страшные телесные и еще более страшные духовные раны? Есть ли в нем статья, определяющая призвание священника? К какому писаному закону, к какому правительственному вмешательству надо отнести основание христианства, страстное служение

апостолов, мужество мучеников, добродетель Фенелона или Франсуа де Поля, самоотречение множества людей, которые, тысячу раз рискуя жизнью, бьются за счастье народа?7

Всякий раз, когда мы наблюдаем какое-нибудь доброе и прекрасное деяние, мы хотим, и это вполне естественно, чтобы таких деяний было как можно больше. И когда мы видим, что в обществе существует сила, которой подвластно все, наша первая мысль – заставить эту силу узаконить добрые дела. Но тотчас встает вопрос: не извращается ли тем самым сама природа и этой силы, и доброго деяния, которое из добровольного становится обязательным. Что до меня, то мне и в голову не приходит, будто закон, который есть сила, может полезным образом быть применен к чему-либо иному, кроме как к наказанию неправоты и обеспечению прав.

Итак, я обрисовал, как будет жить страна при предлагаемом мной режиме. Теперь предположим, что в народе возобладало мнение, что закон не должен ограничиваться, так сказать, внедрением справедливости, а должен еще внедрять и братство.

Что получится? Тут мне не придется тратить много слов, так как читателю достаточно будет перевернуть вверх тормашками уже преподнесенную ему картину.

Прежде всего, над всей областью частной, индивидуальной деятельности будет витать ужасающая неуверенность и неопределенность и буквально смертельная небезопасность, ибо братство может приобретать миллиарды неизвестных доселе форм и, значит, требовать миллиардов неизвестных ранее законодательных актов. Бесчисленные проекты будут ежедневно угрожать существованию более или менее утвердившихся отношений. Во имя братства кто-нибудь потребует униформизации заработков, и вот трудящиеся классы низводятся до положения индийских каст; ни уместность, ни смелость, ни усердие, ни интеллект не помогут им подняться вновь; свинцовый закон будет давить на них тяжким своим весом. Мир, в котором они окажутся, будет подобен Дантову аду: «Оставь надежду всяк сюда входящий». Во имя братства кто-нибудь другой потребует сократить труд до десяти, восьми, шести, четырех часов, и наконец всякое производство остановится. А поскольку больше не будет хлеба, чтобы утолить голод, не будет сукна, чтобы уберечься от холода, кто-нибудь третий надумает заменить хлеб и сукно принудительными бумажными деньгами. Но разве не на экю мы покупаем все вещи? Умножить экю, продолжает он, значит увеличить количество хлеба и сукна, а умножить бумагу значит умножить экю. Смекаете? Четвертый потребует декрета об отмене конкуренции, пятый – об отмене всякой личной выгоды. Тот хочет, чтобы работой обеспечивало людей государство, этот – чтобы оно давало им образование, еще один – чтобы все граждане жили на пенсию. Наконец, еще найдется один, который захочет убрать всех королей и императоров с земного шара и объявить всеобщую войну во имя братства. Уф, хватит! И так ясно, что на этом пути источник утопий неиссякаем. Но все они будут отвергнуты, скажут мне. Пусть так, но возможно, что не все они будут отвергнуты, и такой возможности достаточно, чтобы сделать труд ненадежным, а такая неуверенность сильнейшим образом вредит труду.

При таком режиме не будут образовываться капиталы. Они будут чрезвычайно редкими, дорогими, сконцентрированными. Это означает, что будут снижаться заработки, а неравенство будет рыть все более глубокую пропасть между классами.

Государственные финансы не замедлят оказаться в полнейшем беспорядке. Иначе и быть не может, когда государство обязано давать все и всем. Люди будут гнуться под грузом налогов, всяческие займы не будут успевать сменять друг друга; когда пожрут настоящее, примутся пожирать будущее.

В конце концов, поскольку будет принят принцип, по которому творить братство между гражданами будет государство, весь народ превратится в просителя, в попрошайку. Земельная собственность, сельское хозяйство, промышленность, торговля, флот, разного рода компании –

все это запросит и затребует опеки и благосклонности государства. Государственная казна станет объектом разграбления. Каждый будет иметь веские основания доказывать, что узаконенное братство следует понимать так: «выгоды – мне, убытки – другим». Усилия всех будут направлены на то, чтобы вырвать у законодателей клочок братских привилегий. Страдающие классы, получив больше денежного номинала, отнюдь не преуспеют в жизни. Число страдающих будет непрерывно расти, так что всякое движение будет движением от одной революции к другой.

Одним словом, будет разворачиваться самый мрачный спектакль, пролог к которому уже предложили нам некоторые наши современники, приняв губительную идею законного братства.

Излишне было бы говорить, что подобная мысль продиктована великодушием и чистыми намерениями. Именно поэтому она так быстро приобрела симпатию масс, но также именно поэтому она, будучи ложной, незаметно и прямо у нас под ногами разверзает пропасть.

Хочу добавить, что я был бы счастлив, если бы мне доказали, что я заблуждаюсь. Бой мой! Если бы и в самом деле можно было бы декретировать всеобщее братство, которое эффективно поддерживалось бы государственной силой; если бы, как того хочет Луи Блан, можно было простым голосованием в парламенте упразднить всякий личный интерес и всякую тягу к нему; если бы можно было законодательным путем реализовать лозунг пацифистской демократии, касающийся отношений с границей, – «Больше эгоизма!»; если бы можно было сделать так, чтобы государство давало все и всем, но при этом ни у кого не брало бы ничего, – то в добрый путь! Я безусловно проголосовал бы за соответствующий закон и был бы в восторге оттого, что человечество идет к совершенству и счастью такой короткой и легкой дорогой.

Однако приходится сказать – и повторить, – что подобные концепции химеричны и никчемны, будучи преисполнены наивностью. Правда, нет ничего удивительного в том, что они пробудили надежды у страдающего класса трудящихся. Но как такие концепции могли ввести в заблуждение известных и опытных публицистов?

Говоря о лишениях и страданиях огромного числа наших собратьев, эти публицисты полагают, что виной и причиной тому – свобода, воплощающая в себе справедливость. Они исходят из идеи, будто система свободы, то есть истинной справедливости, была законным образом подвергнута испытанию, и испытание это закончилось неудачей. Отсюда они делают умозаключение, что настало время, чтобы законодательство сделало шаг вперед и приняло на вооружение принцип братства. Вот почему размножились сен-симонистские, фурьеристские, коммунистические, оуэнистские школы, стали предприниматься попытки как-то организовать труд, посыпались разные заявления и декларации о том, что государство должно обеспечивать существование, благополучие, образование всех граждан; что оно должно быть великодушным, участливым, готовым на все, преданным все; что его миссия – вскармливать детей, давать образование молодежи, обеспечивать трудом трудоспособных, давать пособия старым и слабым. Одним словом, оно обязано непосредственно участвовать во всех делах, облегчать все страдания, удовлетворять и предвосхищать все потребности и нужды, давать капиталы всем предприятиям, просвещать все умы, залечивать все раны, обеспечивать убежище и прибежище всем убогим и всем неудачникам и даже помогать, не жалея сил и крови самих французов, всем угнетенным и обездоленным на земном шаре.

Придется мне повторить уже сказанное. Ну, кто же не хочет, чтобы все эти блага лились из закона как из рога изобилия? Кто не был бы счастлив, если бы государство взяло на себя все тяготы и всю ответственность за все, было прозорливым, было готовым, взяло на себя все то, что Провидение, цели и намерения которого неисповедимы, возложило на плечи человечества; если бы оно, государство, оставило каждому индивиду, этой частице человечества, лишь

привлекательную и легкую сторону жизни, удовлетворяло бы его потребности и даже прихоти, обеспечивало бы ему уверенность, покой, отдых, надежное настоящее и радостное будущее, удачу, благополучную семью, кредит, не нуждающийся в гарантиях, существование, не нуждающееся в усилиях?

Разумеется, мы хотели бы всего этого, если бы это было возможно. Но возможно ли такое – вот в чем вопрос. Мы никак не можем понять, что же в конце концов это такое, именуемое «государством». Мы как-то догадываемся, что извечная персонификация государства представляет собой самую странную и самую унижительную из всех мистификаций. Как так получается, что государство берет на себя все доблести и добродетели, все, так сказать, ответственности и все либерализмы? Откуда берет оно ресурсы, отдать которые индивидам его призывают и уговаривают? Не сами ли индивиды и есть эти ресурсы? Тогда как же могут такие ресурсы возрастать, проходя через руки паразитирующего и всепожирающего посредника? Разве не ясно, что государственная машина устроена так, что она поглощает огромные полезные силы, отнимая их у трудящихся? Разве не очевидно, что трудящиеся, отдавая государству часть своего достояния, отдают ему и часть своей свободы?

С какой бы гуманной и вообще человеческой точки зрения я ни подходил к закону, я никак не могу понять, как можно, находясь на разумных позициях, требовать от него чего-то иного, кроме как справедливости.

Возьмем, к примеру, религию. Конечно, было бы желательно, чтобы у всех на свете была одна вера, одно вероисповедание, один культ при условии, что это будет истинная вера. Но как бы ни было привлекательным такое единство, все-таки разнообразие, а значит поиск и дискуссия, будет оставаться ценнее единообразия в этом отношении до тех самых пор, пока все умы не узреют непреложный признак того, что пришла наконец-то эта истинная вера. Аналогичным образом вмешательство государства под предлогом, так сказать, учреждения братства будет на деле угнетением, несправедливостью, прикрываемой стремлением к единству. Кто нам гарантирует, что государство – быть может, самого того не ведая, – примется душить истину и лелеять заблуждение и ошибку? Единство должно быть результатом всеобщего согласия людей, каждый из которых свободен в своих убеждениях, и естественного тяготения человека к правде, к истине. Поэтому от закона можно требовать лишь свободы всех верований и убеждений несмотря на то, что такая обстановка вызовет и некоторую анархию в мыслящем мире. Что, однако, доказывает эта анархия? Она доказывает, что единство выступает не как исток, а как итог интеллектуальной эволюции. Оно не есть исходный пункт, оно есть результат. Закон, навязывающий единство, несправедлив, и хотя справедливость не обязательно должна влечь за собой братство, но по меньшей мере нельзя не согласиться с тем, что братство исключает несправедливость.

То же самое и с образованием. Наверное, все согласятся, что наилучшим образованием, по содержанию и по методике, было бы образование единое, или правительственное, поскольку – предположительно, конечно, – из него тогда исключаются, законодательным путем, всякого рода ошибки и недоработки. Но критерий благополучия здесь еще не найден, и пока законодатель или министр народного образования не несет на себе знака безупречности, свидетельствующего, что наилучшая методика найдена и вытеснила все другие, пока этого нет, остаются разнообразие, эксперименты, опыт, индивидуальные усилия, движимые стремлением к успеху, – одним словом, остается свобода. Самое худшее – это декретированное и унифицированное образование, ибо при таком режиме ошибки и заблуждения становятся постоянными, всеобщими и непоправимыми. Так что те, кто, движимые чувством братства, требуют, чтобы образованием ведал исключительно закон, должны признать, что есть большая опасность того, что закон будет ведасть ошибками и заблуждениями. Всякие запреты со стороны

закона могут ударить по истине и, значит, ударить по умам, думающим, что они обрели истины. И я спрашиваю: разве это истинное братство, если оно прибегает к силе, чтобы навязывать или, по меньшей мере, рисковать навязать ошибки и заблуждения? Почему-то боятся разнообразия и называют его анархией, но ведь оно есть следствие разнообразия интеллектов и убеждений. К тому же разнообразие имеет тенденцию к выравниванию в результате обсуждений, изучения и опыта. А пока что как прикажете называть систему, подминающую под себя все остальные с помощью закона и прямой силы? Здесь мы опять обнаруживаем, что это так называемое братство, обращающееся к закону и законному принуждению, явно противостоит справедливости.

Я мог бы высказать те же самые соображения по поводу прессы, и, по правде сказать, мне трудно понять, почему те, кто требует унитарного образования под водительством государства, не требуют унитарной прессы под водительством государства. Ведь печать – это тоже образование. Газеты помещают на своих страницах разные дискуссии, потому что они ими живут. Здесь тоже разнообразие или, если угодно, анархия. Так почему бы, согласно критикуемым нами идеям, не создать министерство печати и не поручить ему вдохновлять авторов всех книг и всех газет Франции? Либо государство безусловно, и тогда лучше всего отдать ему всю область интеллекта; либо оно небезусловно, и тогда неразумно отдавать ему ни образование, ни прессу.

Рассматривая наши отношения с границей, которые тоже могут попасть под полную власть закона, я и тут не вижу более осторожного, прочного, приемлемого для всех правила, нежели правило справедливости. Подчинить эти отношения принципу узаконенного и насильственного братства значит декретировать вечную и всеобщую войну, так как это равнозначно тому, чтобы в обязательном порядке отдать силу страны, кровь и достояние ее граждан на службу тому делу, которому симпатизирует законодатель. Странное получается братство! Забавную и тщеславную сторону такого братства давным-давно персонифицировал Сервантес.

Особенно опасна догма по поводу братства, если применить ее к труду, когда и тут братство, это священное само по себе понятие, втискивается в наши кодексы со всеми вытекающими из них наказаниями и преследованиями.

Братство всегда содержит в себе идею преданности и жертвенности, и потому, как я уже говорил, оно вызывает слезы умиления и восторга. Когда же некоторые социалисты утверждают, что практикование братства выгодно, тогда нет никакой нужды декретировать его, потому что людям не нужен никакой закон, чтобы искать прибыль и получать ее. Так что подобное толкование братства довольно-таки сильно опошляет его и делает тусклым.

Оставим же братству его подлинную природу, которую можно и надо сформулировать так: добровольная жертва, продиктованная чувством родственности и товарищества.

А если вы превращаете братство в предписание закона, обязательное к исполнению, – в данном случае речь может идти о Промышленном кодексе, – то что остается от вышеприведенного определения? Остается жертва, но жертва не добровольная, а принудительная, вызываемая страхом перед наказанием. И, сказать по совести, что же это за жертва такая, вменяемая одному ради выгоды другого? Это и есть братство? Нет, это есть несправедливость, а говоря без обиняков, это есть узаконенная кража, худшая из краж, потому что она систематизирована, постоянна и неизбежна.

Как оценить поведение Барбеса⁸, когда на заседании 15 мая он выступил за принятие налога в один миллиард в пользу страдающих классов? Он просто решил воплотить в практику ваш принцип. Это тем более верно, что в заявлении Собрания⁹, повторяющем в своих выводах речь Барбеса, имеется такая преамбула: «Исходя из того, что братство не должно быть пустым

словом, а должно сопровождаться делами, мы декретируем: капиталисты, известные как таковые, будут выплачивать...» и т. д.

Вы подняли крик, но разве вы вправе осуждать Барбеса и Собрие? Они были лишь несколько более последовательны, чем вы, и продвинули несколько дальше ваш собственный принцип.

Я утверждаю, что когда этот принцип вводится в законодательство, он поначалу вроде бы скромн и малозаметен, но очень скоро он парализует и капитал, и труд, и ничто не гарантирует, что такой процесс не будет развиваться и дальше до бесконечности. Надо ли доказывать, что когда у людей нет уверенности, что им достанутся плоды их собственного труда, они перестанут трудиться или, по крайней мере, станут трудиться меньше? Так знайте же, что для капитала неуверенность и неопределенность – главный фактор его парализации. Неуверенность гонит их прочь, мешает им формироваться. И что же тогда станет с теми самыми классами, участь которых намереваются облегчить? Я твердо убежден в том, что одной только такой обстановки вполне достаточно, чтобы опустить самую процветающую страну до уровня ниже Турции.

Жертва одних в пользу других, приносимая посредством налогообложения, явно теряет характер братства. Кому мы этим обязаны? Законодателю? Но ему все это дело стоит лишь усилий по опусканию шарика в урну для голосования. Сборщику налогов? Но он постоянно боится, что его снимут с должности. Налогоплательщику? Он исправно платит. Так кому же? Кто совершает такое в силу преданности делу? Где тут вообще нравственность?

Незаконный грабеж вызывает всеобщее отвращение и негодование, он оборачивает против себя все силы общественности, которая в данном случае действует в гармонии с понятиями справедливости. И напротив, грабеж узаконенный совсем не колеблет ничьей совести, а это может лишь ослабить нравственные устои всего народа.

Проявляя смелость и осторожность, можно как-то уберечься от противозаконного грабежа. Но ничто не уберезет от грабежа узаконенного. А если кто-то и попытается сопротивляться, то какое удручающее зрелище будет являть нам общество! Грабитель и вор будет вооружен законом, а жертва будет сопротивляться не кому-нибудь или чему-нибудь, а самому закону.

Надо сказать, что когда под предлогом братства кодекс заставляет граждан приносить жертвы одни другим, то природа человека этим не нарушается. Ведь каждый старается внести свое немного в массу жертв, а получить многое. Но в этом состязании, в этой борьбе разве выигрывают самые обездоленные? Нет, конечно, выигрывают самые влиятельные и самые что ни на есть шустрые.

По меньшей мере, остаются ли союз, согласие, гармония плодами братства, если так его понимать? Да, братство действительно представляет собой божественную цепь, которая в конце концов соединит в союз индивидов, семьи, народа и расы. Но для этого братство должно оставаться самим собой, то есть быть совершенно свободным, спонтанным, добровольным, во всех отношениях похвальным, оно должно быть преисполнено глубоко религиозных чувств. Чудо творит оно само, а не его маска, и узаконенный грабеж тщетно будет присваивать себе его имя, его вид, его формулы и знаки; он все равно всегда будет оставаться принципом раздора, сумятицы, несправедливых претензий, страха, нищеты, застоя, ненависти.

Нам выдвигают одно серьезное возражение. Нам говорят: Да, в самом деле, свобода и равенство всех перед законом – это справедливость. Но справедливость, в точном смысле слова, нейтральна в отношениях между богатым и бедным, сильным и слабым, человеком ученым и человеком невежественным, собственником и пролетарием, соотечественником и иностранцем. А поскольку интересы естественным образом антагонистичны, то предоставлять людям

свободу и вмешиваться в их отношения лишь посредством законов, понимаемых как справедливые в вышеназванном смысле, это значит приносить в жертву бедного, слабого, неученого, пролетария – в общем, силача самого по себе, но лишенного в своей борьбе всякого оружия.

«Что может получиться, – спрашивает г-н Консидеран, – из этой промышленной свободы, на которую возлагалось так много надежд, из этого знаменитого принципа свободной конкуренции, который, как верили, имеет характер демократической организации? Из этого может получиться лишь всеобщее закабаление, коллективная феодализация масс, лишенных капиталов, промышленных средств, орудий труда, профессионального и прочего образования, – закабаление тем промышленным классом, у которого есть все эти средства и орудия. Нам говорят: «Арена битвы открыта для всех, все приглашаются к бою, и условия одинаковы для всех бойцов». Отлично! Но при этом забывают одну вещь: на поле боя одни подготовлены, опытные, вооружены до зубов, имеют превосходное снабжение, материалы, амуницию, оружие и занимают господствующие позиции, а у других ничего этого нет, они голы и голодны, невежественны и несведущи и вынуждены, чтобы перебиваться со дня на день самим и кормить своих жен и детей, умолять своих противников дать им хоть какую-то работу и хоть какой-нибудь заработок»¹⁰.

Ну, вот и дошли! Сравнивают труд с войной! Оружие, именуемое капиталом, которое снабжает и обеспечивает людей всем на свете и применяется именно как оружие только в борьбе с мятежной и непокорной природой, уподобляется с помощью жалкого софизма в кровавое оружие, которым люди уничтожают друг друга. По правде сказать, заимствовать слова из военного словаря – это слишком легкий способ оклеветать порядок, установившийся в промышленности.

Глубокое и неустранимое расхождение на этот счет между социалистами и экономистами заключается в следующем: социалисты исходят из догмы о коренном антагонизме между всяческими интересами; экономисты исходят из естественной гармонии, вернее из необходимой и прогрессивной гармонизации интересов. В этом вся суть расхождения.

Полагая, будто интересы естественным образом антагонистичны, социалисты, в силу самой логики этой их посылки, ищут какой-то искусственной организации интересов и даже готовы – если бы только они могли это сделать – вытравить из человеческих сердец всякое чувство, вызывающее тот или иной интерес. Они уже пытались сотворить нечто подобное в Люксембурге. Но если они достаточно безумны, они недостаточно сильны, и, само собой разумеется, выступив в своих книгах с декларациями и декламациями против индивидуализма, они занялись обыкновенной продажей этих книг, так что ведут себя в обыденной жизни как самые обыкновенные торгаши.

Ах-ах! Ну, разумеется, если интересы естественно антагонистичны, то надо швырнуть под ноги закону справедливость, свободу, равенство. Надо переделать весь мир или, как они выражаются, перестроить общество по одному из бесчисленных планов, которые они не устают сочинять. Интерес, этот дезорганизирующий принцип, должен, дескать, быть заменен узаконенной преданностью, навязанной, недобровольной, насильственной – одним словом, организованным оскорблением. Но поскольку этот новый принцип может вызвать лишь неприятие и сопротивление, его стараются протащить под ложным именем братства, после чего намереваются привлечь закон, который есть уже прямая сила.

Однако если само Провидение не заблуждается, если оно устроило жизнь так, что интересы, проявляющие себя под действием закона, ведающего справедливостью и только ею,

естественным образом сочетаются между собой в гармоничных комбинациях; если, как однажды высказался г-н Ламартин, они, интересы, обеспечивают сами в условиях свободы ту справедливость, какую никогда не сможет дать им произвол; если равенство прав есть самый верный и самый прямой путь к равенству фактическому, – о! – тогда мы можем требовать от закона только справедливости, свободы и равенства, тогда мы можем хотеть только этого, как хотят, чтобы не было ни единого препятствия на пути каждой из капель, образующих океан.

Вот к такому выводу и приходит политическая экономия. Она не ищет его специально, она просто его находит и радуется своей находке, ибо разве не радуется человек, увидев в самой свободе гармонию, тогда как другие, не увидев этого, вымалывают и свободу, и гармонию у произвола.

По правде сказать, слова ненависти, частенько адресуемые нам социалистами, звучат и выглядят довольно странно. Ведь если, к несчастью, мы ошибаемся, разве не должны они сожалеть о нашей ошибке? Но что мы говорим? А говорим мы простую вещь: по зрелом размышлении надо признать, что Бог сделал хорошо, когда наилучшим условием прогресса выступают справедливость и свобода.

Социалисты упорны и упрямы в своем убеждении, что мы заблуждаемся. Что ж, это их право. Но, повторяю, если они докажут, что мы заблуждаемся, тогда волей-неволей придется срочно заменить естественное искусственным, свободу произволом, вечный и божественный замысел случайным и преходящим человеческим изобретением.

Представьте себе, что какой-нибудь профессор химии вдруг заявляет: «Миру грозит величайшая катастрофа, потому что Бог не принял меры предосторожности. Я проанализировал воздух, выдыхаемый человеческими легкими, и обнаружил, что он больше не пригоден для дыхания; так что, исчислив объем атмосферы, я могу предсказать тот день, когда она вся будет отравлена и человечество погибнет от удушья, если, конечно, оно не согласится на некий способ искусственного дыхания, который я сам изобрел».

Но вот выступает другой профессор и говорит: «Нет, человечество не погибнет. Да, это верно, что воздух, потребный для животной жизни, постепенно отравляется ею же. Но он очень пригоден для жизни растительной, и тот, кто своим дыханием умножает растения, помогает тем самым дышать всем людям. При поверхностном взгляде может показаться, что Бог ошибся, но глубокое исследование показывает, что Он вселил гармонию в Свое творение. Так что люди могут спокойно продолжать дышать, как велит им делать это природа».

Можно только развести руками, если первый профессор начнет осыпать второго бранью: «Вы жестокосердый, сухой и холодный химик! Вы проповедуете ужасный принцип «пусть каждый делает, что хочет», вы не любите человечество, потому что доказываете бесполезность моего дыхательного аппарата!»

Таков и наш раздор с социалистами. И они, и мы хотим гармонии. Они ищут ее в нескончаемых комбинациях и хотят навязать их людям через закон. Мы же находим ее в самой природе людей и вещей.

Здесь было бы уместно показать, что сами интересы направлены в сторону их гармонизации. В этом заключен весь вопрос, и в этом кроется его решение. Но тогда мне пришлось бы прочесть целый курс политической экономии. Надеюсь, что пока что читатель избавит меня от этого¹¹, и сейчас я выскажусь кратко. Хотя политическая экономия обнаружила и признала гармонию интересов, она не останавливается, как делает это социализм, на немедленных и непосредственных следствиях такого феномена, а идет дальше, исследуя последующие и конечные результаты. Вот в чем секрет. Обе школы отличаются друг от друга в точности как те два химика: одна школа видит только часть проблемы, другая видит ее всю. К примеру, когда социалисты пожелают взять на себя труд проследить ее до конца, то есть до

потребителя, вместо того чтобы останавливаться на производителе, они увидят эффекты конкуренции, увидят, что она есть самый мощный проводник равенства и прогресса, будь то внутри или за пределами страны. И именно потому, что политическая экономия видит в этом конечном эффекте гармонию, она утверждает: в сфере моего ведения о многом нужно узнать и не так много остается сделать практически. О многом узнать, потому что сцепление следующих друг за другом эффектов требует особого внимания. Немного сделать, потому что конечный эффект сам выводит гармонию из всего рассматриваемого нами феномена.

Мне однажды довелось поспорить по этому вопросу со знаменитым человеком, которого революция подняла до больших высот. Я говорил ему: так как закон действует посредством принуждения, от него можно требовать только справедливости. А он считал, что люди и народы могут, сверх того, ожидать от закона еще и братства. В августе прошлого года он писал мне: «Если когда-нибудь, особенно если это будет время кризиса, в моих руках окажутся бразды правления, я сделаю вашу идею половиной моего символа веры». Я ответил ему: «Вторая половина вашего символа веры задушит первую, ибо вы не можете учредить узаконенное братство, не учредив узаконенной несправедливости»¹².

В заключение я хочу сказать социалистам: если вы думаете, что политическая экономия отвергает ассоциацию, организацию, братство, то вы ошибаетесь.

Ассоциация! Да разве мы не знаем, что она и есть общество, непрерывно совершенствующееся?

Организация! Разве мы не знаем, что она проводит глубокий водораздел между кучей разрозненных элементов и шедеврами природы?

Братство! Разве мы не знаем, что оно соотносится со справедливостью так же, как порывы сердца соотносятся с холодными расчетами ума?

Мы согласны с вами по этим пунктам и приветствуем ваши усилия, когда вы сеете на поле человечества семя, которое взойдет и даст пищу в будущем.

Но мы противостоим вам, как только вы привлекаете на свою сторону закон и налогообложение, то есть принуждение и кражу, ибо, помимо того что такое ваше обращение к силе свидетельствует о том, что вы верите больше в самих себя, чем в гений человечества, оно, это обращение, вполне достаточно, по нашему убеждению, чтобы исказить и извратить самую природу и самую суть той цели, достижения которой вы добиваетесь¹³.

Высшее образование и социализм

Граждане представители,

Я представил Собранию предложение об упразднении университетских степеней¹. Здоровье не позволяет мне обосновать и развить его с трибуны. Позвольте мне прибегнуть к перу².

Вопрос чрезвычайно серьезен. Какие бы недостатки ни имел закон, разработанный вашей комиссией, я полагаю, что он означал бы беспорядный успех по сравнению с нынешним состоянием народного образования, если были бы приняты предлагаемые мной поправки.

Университетские степени имеют тройное неудобство: они униформизируют образование (униформизация не есть единство) и обездвиживают его, придав ему тупиковое и губительное направление.

Если и есть что-либо на свете прогрессивное по своей природе, так это образование. Ведь оно есть не что иное как передача от поколения к поколению знаний, приобретенных обществом, то есть сокровище, которое с каждым днем становится чище и богаче.

Как же получилось, что образование во Франции остается униформизированным и

застойным, восходя к сумеркам Средневековья? А получилось так потому, что оно было монополизировано и оказалось, из-за университетских степеней, внутри замкнутого круга.

Было время, когда для того, чтобы получить хоть какие-то знания, нужно было выучить латынь и греческий в той же мере, в какой баскам и нижним бретонцам³ нужно было выучить французский. Живые языки находились в небрежении, книгопечатание еще не было изобретено, человеческий ум не занимался проникновением в тайны природы. Быть образованным означало знать то, о чем мыслили Эпикур и Аристотель. Люди высокого положения кичились тем, что не умеют читать. Единственным классом, обладателем и носителем образования, были писцы и письмоводители. Каким могло быть тогда образование? Ясно, что оно ограничивалось знанием мертвых языков, главным образом латыни. Книги существовали только на латинском языке, писали только по-латыни; латынь была языком религии; писари могли преподавать лишь то, что знали сами, – все ту же латынь.

Так что в целом в Средние века образование ограничивалось изучением мертвых языков, которые считались языками людей ученых.

Разве естественно, разве нормально, чтобы дело обстояло так же в девятнадцатом веке? Разве латынь есть необходимый инструмент получения знаний? Разве в писаниях, оставленных нам римлянами, можно получить исчерпывающие познания в области религии, физики, химии, астрономии, физиологии, истории, права, морали, промышленной технологии, общественных наук?

Владеть каким-либо языком значит уметь читать, обладать одним из инструментов приобретения знаний. Но не удивительно ли, что мы проводим всю нашу молодость в усилиях по овладению инструментом, не пригодным ни для чего – во всяком случае для очень малого, – как будто нам спешно надо постичь то, что мы все равно скоро забудем? Увы, никчемные знания забываются быстро.

Что бы мы сказали, если бы в Сен-Сире⁴, где молодежь усваивает военные науки, ее обучали бы лишь метанию камней из пращи?

Закон нашей страны предусматривает, что путь к более или менее достойной карьере закрыт для тех, кто не получил степень бакалавра⁵. А для того чтобы стать бакалавром, согласно все тому же закону, надо с головой погрузиться в латынь, так что ни для чего другого в этой голове не остается места. И что же из этого выходит, по общему, кстати, признанию? А то, что молодые люди четко высчитали ту минимальную меру, которая необходима для получения этой степени. Вы стонете и причитаете. Так неужели вы не понимаете, что сами выражаете вопль общественного сознания, которое не хочет, чтобы ему навязывали бесполезные усилия?

Сотворить инструмент, о котором заранее известно, что он не издаст ни единого звука, какая это ненормальность, какая странность! Почему же она увековечилась и дошла до наших дней? Причину можно выразить в одном слове: монополия. Да, монополия имеет способность парализовать все, к чему прикасается.

Поэтому я хотел бы, чтобы Законодательное собрание дало жизнь свободе, то есть обеспечило прогресс в системе образования. Сейчас решили, что так не будет. У нас не будет полной свободы. Позвольте же мне попытаться спасти хотя бы ее обломок.

Свободу можно рассматривать с точки зрения людей и по отношению к вещам, утверждают законники, ибо упразднить конкуренцию в способах использования вещей означает не меньшее посягательство на свободу, чем упразднить конкуренцию между людьми.

Некоторые говорят: «Путь к образованию открыт, и каждый волен по нему пойти». Это великая иллюзия.

Государство, а точнее сказать партия, фракция, секта, отдельный человек, оказавшийся на

какое-то время и вполне законно у власти, может придать образованию угодное ему направление и, значит, формировать по своей прихоти все умы, пользуясь для этого лишь механизмом ученых степеней.

Дайте кому-нибудь право раздавать степени, и вы будете оставаться свободными в сфере образования, но само образование будет находиться в подчинении этого кого-нибудь.

Допустим, я, отец семейства, и преподаватель, с которым я согласую вопрос об образовании моего сына, мы оба полагаем, что подлинное образование заключается в том, чтобы дать знания о природе вещей и о том, как эти вещи действуют как в физическом, так и в нравственном отношениях. Мы можем думать, что наилучшим образом обучен и подготовлен тот, кто умеет составить себе верное представление о всяческих явлениях и понимать связь причин со следствиями. Однако государство придерживается иного мнения. Оно считает, что быть ученым значит читать наизусть вирши Плавта и цитировать, кстати и некстати, Фалеса и Пифагора.

Как поступает государство? Оно говорит нам: обучайте вашего ребенка чему угодно, но когда ему исполнится двадцать лет, я спрошу его, какие мысли были в головах Пифагора и Фалеса, велю ему продекламировать стихи Плавта, и если он окажется слаб во всех этих областях, которым не посвятил всю свою молодость, он не будет ни медиком, ни адвокатом, ни судьей, ни специалистом по арбитражу, ни дипломатом, ни профессором.

И вот я оказываюсь вынужденным подчиниться, потому что не решусь закрыть перед моим сыном столько прекрасных карьер. Напрасно будете вы мне говорить: что я свободен; я утверждаю, что я не свободен, ибо вы заставляете меня сделать из моего сына педанта – быть может, ужасного маленького красобая, но во всяком случае, так сказать, неугомонного бездельника.

Ах, если бы знания, требуемые для получения степени бакалавра, хоть в какой-то мере отвечали нуждам и интересам нашего времени! Если бы даже они были просто бесполезными! Но они вредны. Они портят умы и создают проблему, которую на свой лад решают люди, получившие монополию на образование. Попробую обстоятельно и убедительно доказать это.

С самого начала споров по этому вопросу университет и церковь обмениваются взаимными обвинениями словно пулями. Вы развращаете молодежь вашим философским рационализмом, говорит церковь. Вы огрубляете ее вашим религиозным догматизмом, отвечает университет.

Тут на сцену выходят примирители и говорят: религия и философия – сестры; давайте соединим свободный экзамен и авторитет; вы, университет и церковь, вы поочередно бывали монополистами; так разделите монополию между собой, и покончим с этим делом.

Мы слышали, как его преподобие лангрский епископ обвинял университет: «Это вы дали нам социалистическое поколение 1848 г.»

На что г-н Кремье не преминул ответить: «Это вы воспитали революционное поколение 1793 г.»

Если в этих двух выпадах содержится правда, то какой вывод приходится делать? А такой, что оба вида образования были пагубными, причем не ввиду различия между ними, а ввиду сходства. Да, я убежден в том, что в этих двух видах образования есть один общий пункт, а именно чрезмерность классического обучения, поэтому оба вида и извратили способность суждения людей и нравственный облик целой страны. Оба вида различаются лишь тем, что в одном преобладает религиозный элемент, в другом – элемент философский. Тем не менее не эти элементы причинили нам зло, как полагают вышеназванные оппоненты. Напротив, они несколько смягчили зло, потому что они не такие уж варварские, как то, что нам постоянно предлагается, а предлагается нам сплошной латинизм.

Позволю себе привести некую иллюстрацию к сказанному, несколько искусственную, но проясняющую мою мысль.

Предположим, что живут на земном шаре наши антиподы, народ, ненавидящий и презирающий труд и обеспечивающий свое существование, грабя всех своих соседей и используя труд рабов. Политика, мораль, религия, общественное мнение этого народа соответствуют жесткому, даже зверскому принципу, который, однако, сберегает и как-то развивает данный народ. И вот, поскольку Франция дала церкви монополию на образование, последняя не находит ничего лучшего, как послать всю французскую молодежь к этому народу, пожить его жизнью, вдохновиться его чувствами, воспринять его энтузиазм, вдохнуть полной грудью его идеи. Она лишь снабдила каждого отъезжающего учащегося книжечкой, называемой «Евангелие». Воспитанные таким способом поколения возвращаются на родину, и вспыхивает революция. Предоставляю вам самим подумать, какую роль играют в ней эти поколения.

Видя подобную ситуацию, государство вырывает из рук церкви монополию на образование и вручает ее университету. Тот, верный традициям, тоже посылает молодежь к антиподам, к народу-грабителю, народу-рабовладельцу, снабдив ее на сей раз книжечкой с названием «Философия». Едва пять или шесть поколений, получив соответствующее образование, вернулись домой, как разразилась вторая революция. Пройдя ту же школу, что и их предшественники, они повели себя точно таким же образом.

И вот пошла война между монополистами. Это ваша книжка сотворила зло, говорит церковь. Нет, ваша, отвечает университет. Нет, господа, ваши книжки тут не при чем. Зло сотворила странная идея, задуманная и осуществленная обеими сторонами, идея посылать французскую молодежь, предназначенную трудиться и жить в мире и свободе, к бандитскому и рабовладельческому народу, чтобы, общаясь с ним, насквозь пропитаться его чувствами и мнениями.

Я утверждаю, что подрывные доктрины, именуемые социализмом или коммунизмом, – вот плоды классического образования независимо от того, руководит ли им церковь или университет. Добавлю к этому, что сохраняющаяся степень бакалавра насильственно введет классическое образование даже в так называемые свободные школы, о создании которых, как говорят, скоро должен быть принят закон. Вот почему я требую упразднения степеней.

Латынь очень хвалят как способ развить интеллект, но это сугубая условность. Древние греки не знали латыни, но были достаточно развиты интеллектуально. Мы видим, что и французские женщины, не знающие латыни, не лишены разума и здравого смысла. Странно полагать, что человеческий ум может развиваться, лишь впадая в заблуждение. Неужели непонятно, что весьма проблематичная ценность латинского языка приобретает слишком дорогой ценой, ибо в самую душу Франции вместе с языком римлян проникают их идеи, чувства, мысли и, карикатурно преобразуясь, их нравы и обычаи.

С тех пор как Господь вынес людям свой вердикт: «Будете вкушать ваш хлеб, добывая в поте лица своего», – с этих пор поддержание собственного существования стало для них таким великим и всепоглощающим делом, что крайне разнообразились их способы действий по жизнеобеспечению, их обычаи, привычки, суждения, мораль, социальное устройство.

Народ, живущий охотой, не может быть похож на народ, живущий рыбной ловлей; скотоводы не могут быть похожи на мореплавателей.

Но все эти различия – ничто по сравнению с коренной разницей между двумя народами, из которых один живет трудом, а другой – кражей.

Между охотниками, рыбаками, скотоводами, земледельцами, торговцами, фабрикантами имеется то общее, что все они удовлетворяют свои нужды, воздействуя на те или иные вещи,

добывая, обрабатывая их и т. п. Единственное, что они хотят подчинить себе, – это природа.

Но люди, добывающие себе средства существования грабежом, имеют объектом своей деятельности других людей. Они жадно стремятся господствовать над себе подобными.

В любом случае для существования людей необходимо их воздействие на природу, именуемое трудом.

Обычно плодами такого воздействия пользуется сам народ, осуществляющий его. Но бывает и так, что плоды эти вырываются из рук народа другим народом, господствующим над народом-тружеником.

Я не буду здесь развивать дальше эту мысль, но поразмышляйте над ней и вы убедитесь, что между двумя агломерациями людей, в столь разных условиях, разница должна быть во всем – в нравах, обычаях, суждениях, организации, морали, религии. Различия и противоположности доходят до такой степени, что одинаковые слова, выражающие фундаментальные отношения, такие как семья, собственность, свобода, добродетель, общество, правление и правительство, республика, народ, имеют у противоположных друг другу народов совсем разный смысл и содержание.

Народ воинственный скорее всего полагает, что наличие семьи может ослабить храбрость солдата (да и мы так полагаем, поскольку запрещаем нашим солдатам заводить семью). Однако численность населения не должна убывать. Как решить проблему: да ее уже решили Платон теоретически, а Ликург практически: проблема решается кровосмесительством. А ведь Платон, Ликург – вот имена, которые нас научили произносить с чувством трепетного идолопоклонства.

Что касается собственности, то я убежден, что во всей античности не найдется ее приемлемого определения. Мы, в наше время, говорим: человек есть собственник самого себя, а следовательно, и своих способностей, и продукта применения своих способностей. Но могли ли римляне так думать: Владельцы рабов, могли ли они сказать, что человек принадлежит самому себе? Презирая труд, могли ли они утверждать, что человек – хозяин продукта своих способностей? Это означало бы для них возвести в систему коллективное самоубийство.

На чем же древние основывали понятие собственности? На законе, проникнутом самой зловещей идеей в мире, потому что идея эта оправдывает употребление и злоупотребление всем тем, что закону заблагорассудится объявить собственностью, будь то плод человеческого труда или даже сам человек.

В те варварские времена не лучше обстояло дело и со свободой. Что такое Свобода с большой буквы? Это совокупность самых разных свобод. Быть свободным, под свою ответственность, думать и действовать, говорить и писать, трудиться и торговать, преподавать и обучаться – вот они, эти свободы. Может ли так понимать свободу настроенный на нескончаемую войну? Нет, конечно. Римляне протитуировали это понятие, называя свободой некую отвагу в раздорах и междоусобицах по поводу дележа военной добычи. Главари, лидеры желали забрать все, народ требовал своей доли. Отсюда – бурные собрания в Форуме, шествия на Авентинском холме, выступления трибунов, популярность заговорщиков. Отсюда пословица «Лучше умереть свободным...», перешедшая и в наш язык. Еще учась в колледже, я начертил на всех моих учебниках:

О, свобода! Как прекрасны
Твои бури для великих сердец!б

Ничего себе напутствие, ничего себе семя, брошенное в душу французской молодежи!

А что можно сказать о римской морали? Я не буду говорить здесь об отношениях отца и сына, супругов, патрона и клиента, господина и слуги, об отношении человека к Богу, хотя и

тут одно только рабство натворило множество гнусностей. Я буду говорить о том, что называют хорошей стороной республики, – о патриотизме. Что такое патриотизм? Ненависть к иностранцу. Разрушить любую цивилизацию, задушить всякий прогресс, прогуляться по миру с обнаженным мечом, приковать цепями женщин, детей, стариков к триумфальной колеснице – вот слава, вот доблесть. Этим жестокостям и зверствам посвящены мраморные статуи и песни поэтов. Как часто бились наши юные сердца от восхищения подобными зрелищами и, увы, от стремления подражать увиденному! А ведь именно в таком духе готовят нас к христианской и цивилизованной жизни наши профессора, наши почтенные священники, преисполненные, так сказать, лучезарности и добросердечности. Великой силой становится сугубая условность.

Урок прошлого не прошел даром. От Рима мы восприняли сентенцию, истинную для воровства и ложную для труда: «Один народ теряет то, что выигрывает другой». Эта сентенция до сих пор правит миром.

Чтобы составить себе представление о римской морали, вообразим, что прямо в Париже существует ассоциация людей, ненавидящих труд, полных решимости добыть себе всякие радости жизни хитростью и силой и, следовательно, находящихся в войне с обществом. Несомненно, что очень скоро в этой ассоциации появится некая мораль с ее доблестями и добродетелями. Смелость, упорство, скрытность, осторожность, дисциплина, терпение при неудаче, держание языка за зубами, слава и почести, преданность своему сообществу – таковы добродетели этих бандитов, развивать которые заставляет их необходимость да и всеобщее мнение. Такими были качества и нравы и морских пиратов, и древних римлян. Относительно последних могут сказать, что величие их дел и их выдающиеся успехи как бы покрывают вуалью славы даже их преступления и даже превращают преступления в добродетели. Вот этом-то и вся губительность школы, проникнутой подобным духом. Не обнаженная и отвратительная порочность, а порочность в блеске великолепия – вот что обольщает души.

Наконец, об обществе. Древний мир оставил миру новому две ложные его трактовки, которые потрясают и долго будут еще потрясать общество.

Первая: общество есть внеприродное состояние, порожденное договором между людьми. Эта некогда была не столь ошибочна, как сегодня. Рим, Спарта представляли собой две ассоциации, преследовавшие общую и вполне определенную цель – грабеж; это были скорее армии, а не общества.

Вторая: закон создает права, и, следовательно, отношения между законодателем и человечеством такие же, как между горшечником и глиной. Минос, Ликург, Солон, Нума сфабриковали критское, лакедемонское, афинское, римское общества. Платон был фабрикантом воображаемых республик, призванных служить образцами для будущих учредителей народов и отцов наций.

Заметьте, что обе эти трактовки имеют особый характер и несут на себе печать социализма, если понимать этот термин в отрицательном для нас смысле и как общее название всех социальных утопий.

Тот, кто не ведает, что социальное тело есть совокупность естественных законов и в этом подобно человеческому телу, кто мечтает создать искусственное общество и начинает манипулировать по своей прихоти семьей, собственностью, правом, человечеством, тот и есть социалист. Он не занимается физиологией, он занимается лепкой скульптур; он не наблюдает, он изобретает; он не верит в Бога, он верит в самого себя; он не ученый, он тиран; он не служит людям, он обладает ими; он не изучает природу человека, он меняет ее, следуя совету Руссо¹.

¹ «Тот, кто решается создать народ, должен чувствовать себя в силах переменить, так сказать, человеческую природу... изменить физическую и нравственную структуру человека...» и т. д. («Общественный договор», глава

Его вдохновляет античность, и он исходит из действий и взглядов Ликурга и Платона. Если сказать коротко и точно, он бакалавр.

Вы преувеличиваете, скажут мне, ведь невозможно, чтобы наша учащаяся молодежь черпала из прекрасной античности столь огорчительные мнения и чувства.

Она черпает то, что там есть. Вспомните, с каким умонастроением вы сами вышли из колледжа в мир. Разве вы не горели желанием подражать опустошителям земли и ораторам Форума? Что до меня, то когда я вижу, как нынешнее общество бросает молодых людей, бросает десятками тысяч, под жернова мельницы Брута и Гракхов, а потом бросает их, не способных к любому честному труду, работать в печати или просто вышвыривает на улицу, я удивляюсь, почему же оно, общество, сопротивляется тому, что само натворило. Классическое образование не только неосторожно погружает нас в римскую жизнь. Оно погружает нас туда не просто, а приучая нас восторгаться ею, считать ее идеалом человечества, слишком высоким идеалом, чтобы до него могли дотянуться современные души, но мы, дескать, должны подражать римлянам, хотя никогда не будем в силах уравниваться с ними⁷.

Мне могут возразить, что социализм привлек к себе классы, никогда и не помышлявшие о всякой там степени бакалавра.

Я отвечу словами г-на Тьера:

«Среднее образование дает детям из зажиточных классов знание древних языков... Обучаясь греческому и латыни, дети усваивают не только слова и их значение. Они усваивают благородные и возвышенные вещи (грабеж, войну и рабство), и история человечества предстает им в простых, больших, нестираемых из памяти картинках... Среднее образование формирует так называемые просвещенные классы нации. И хотя эти просвещенные классы не охватывают всю нацию, они ее характеризуют. Их пороки, качества, склонности – как плохие, так и хорошие – становятся присущими всей нации; они, эти классы, формируют весь народ, заражая его своими мыслями и чувствами. (Возгласы «Правильно, так!»)²

Нельзя сказать правдивее, нельзя объяснить лучше, какие губительные, какие уродливые отклонения влекут за собой наши революции!

Но г-н Тьер добавляет: «Античность – осмелимся сказать это прямо в глаза веку, довольному и гордому самим собой, – античность – это самое прекрасное, что есть на свете. Так оставим, господа, оставим наше детство в античности как в спокойном, мирном и неиспорченном прибежище, которое предназначено сберечь детство свежим и чистым».

Спокойствие Рима, мирный Рим, чистота Рима! О, если уж многоопытный и трезвомыслящий г-н Тьер не устоял перед его странным обаянием, то как защитить от него нашу пылкую молодежь?⁸

На днях Национальное собрание слышало диалог, достойный пера Мольера:

Г-н Тьер, обращаясь с высоты трибуны и не смеясь, к г-ну Бартеlemi Сент-Илеру⁹: Вы неправы не в отношении искусства, а в отношении морали, когда предпочитаете, чтобы французы, то есть латинская нация, изучали греческие, а не латинские произведения.

Г-н Бартеlemi Сент-Илер, тоже без смеха: А Платон!

Г-н Тьер, по-прежнему не смеясь: Да, хорошо делали и делают, что заботятся об изучении греческого и латыни. Я же просто предпочитаю латынь, исходя из

² Доклад г-на Тьера о законе о среднем образовании, 1844 г.

нравственных соображений. Но вот ведь пожелали, чтобы наши несчастные молодые люди постигали, сверх того, немецкий и английский языки, точные науки, физику, историю и т. д.

Что же получается? Знать то, что есть в действительности, – это зло. Пронизываться и пропитываться римскими нравами – это нравственно!

Г-н Тьер – не первый и не единственный, кто впал в эту иллюзию (я чуть не сказал в мистификацию). Позволю себе кратко рассказать, какую глубокую печать (да еще какую печать с содержательной точки зрения!) наложило классическое образование на литературу, мораль и политику нашей страны.

Дать полную картину ситуации у меня нет ни досуга, ни претензии, да и всякий пишущий разве не предстанет перед судом читателя? Ограничусь эскизом.

Я не буду восходить к Монтеню¹⁰. Каждый знает, что он был слабым спартанцем, просто по какой-то инерции и еще меньше – по своим вкусам.

Что касается Корнеля, которым я искренне восхищаюсь, то он все же оказал плохую услугу духу своего века, когда облек в красивые одежды своих стихов чувства жестокие, оскорбительные, дикие, антисоциальные, как, например:

Народу в жертву принести любимое мое
И в бой вступить против другого «я» –
Такая доблесть только нам присуща...
Рим руку протянул мне, я свободен
И с легкостью чистосердечной
Женюсь на собственной сестре, прикончив
брата¹¹.

Признаюсь, мне ближе чувство Куриаса¹², которое я распространяю на всю историю Рима, хотя Корнель имеет в виду единичный факт, когда его герой говорит:

Благодарю богов, что я не римлянин,
И в сердце у меня есть человеческое нечто.

Фенелон. Сегодня коммунизм вселяет в нас отвращение, потому что он пугает нас. Но разве слишком частое обращение к древним не сделало коммунистом Фенелона, этого человека, которого современная Европа считает великолепным выразителем нравственного совершенства? Прочитайте его «Телемаха» – книгу, которую мы торопимся дать в руки детям. Вы увидите в ней Фенелона как воплощение самой мудрости, Фенелона, обучающего уму-разуму законодателей. Так по какому же плану строит он свое образцовое общество? С одной стороны, законодатель мыслит, изобретает, действует; с другой стороны, бесстрастное и инертное общество позволяет делать с ним что угодно. Так что моральный стимул и принцип деятельности вырван из рук всех людей и передан в руки одного-единственного человека. Фенелон, этот предшественник самых отважных из наших нынешних организаторов, сам решает вопросы питания, жилья, одежды, игр, занятий всех салентинцев¹³. Он указывает им, что им дозволяется пить и есть, как строить свои дома, сколько в них должно быть комнат, какой мебелью они должны быть обставлены.

Он говорит... Впрочем, предоставляю слово ему самому:

«Ментор учредил суды, перед которыми купцы отчитывались о своих сделках,

прибылях, расходах, вообще обо всем... В остальном свобода торговли была полной... Он только запретил ввоз всех тех иностранных товаров, которые могли привести к роскошной и изнеженной жизни... Он запретил огромному числу торговцев продавать модные ткани и т. д... Он регламентировал одежду, еду, мебель, размеры и обустройство домов для людей, самых разных по своему положению и в зависимости от их положения.

Регулируйте положение людей с самого их рождения, говорил он королю... Люди первого ранга: самые приближенные к вам, будут одеты в белое, второго ранга – в синее, третьего – в зеленое, четвертого – в желтое, пятого – в красное или розовое, шестого – в светло-серое, седьмого и последнего ранга будут носить желтое, смешанное с белым. Такова одежда семи категорий свободных людей. Все рабы будут одеты в серо-коричневое. Никогда не потерпят³ никаких перемен ни в качестве тканей, ни в покрое одежды. Таким же образом он урегулировал питание граждан и рабов.

Затем он запретил нежную и женственную музыку.

Он представил образчики простой и миловидной архитектуры. Он пожелал, чтобы каждый более или менее значительный, по размерам и по обитателям, дом имел гостиную и колоннаду, а также небольшие комнаты для всех свободных людей.

Впрочем, умеренность и щепетильность не помешали ему разрешить возводить большие здания для конных скачек и обкатки карет, для состязаний борцов и боев ремнями со свинцовыми шипами.

Ментор разрешил заниматься живописью и ваянием, но распорядился, чтобы в Саленте не было слишком много представителей этих видов искусства».

Разве не видно, что такое воображение подпитано чтением Платона и примером Ликурга? Идет забава, идут опыты на людях, как будто экспериментируют с презренным и никому не нужным материалом. И пусть никто не оправдывает эти химеры, утверждая, будто они – плод чрезвычайной доброты. Подобным же образом ведут себя все организаторы и дезорганизаторы общества.

Роллен¹⁴. Другим человеком, почти равным Фенелону что касается ума и сердца, но больше занимавшимся воспитанием и образованием, был Роллен. Ну, так вот. До какой же степени интеллектуального и нравственного падения довело этого добряка Роллена слишком долгое общение с античностью! Невозможно читать его книги, не испытывая чувства огорчения и жалости. Никак не угадаешь, христианин ли он или язычник, настолько он разделен в своих пристрастиях между Богом и богами. Библейские чудеса и легенды героических времен внушают ему доверие в совершенно равной мере. На его лице с обычно благодушным выражением как будто всегда блуждают тени боевых страстей. Он не устает говорить о копьях, мечах и катапультах. Для него, как и для Боссюэ, один из самых интересных социальных вопросов – это вопрос о том, что лучше и сильнее: македонская фаланга или римский легион. Он восхваляет римлян за то, что те занимаются лишь науками, имеющими своим предметом господство: красноречием, политикой, войной, точнее наукой и искусством этих вещей. В его глазах все прочие здания суть источники коррупции и способны лишь склонять людей к состоянию мира. Поэтому он тщательно выметает их из своих колледжей – под аплодисменты г-на Тьера. Он воскуряет фимиам Марсу и Беллоне, и лишь отдаленный аромат доносится до Христа. Он стал жалкой игрушкой условности, насаждаемой классическим образованием, и

³ Перетряхиватели общества иногда стыдятся говорить: я сделаю, я распоряжусь. Они охотно пользуются безличными оборотами, сохраняющими, однако, то же самое значение: будет сделано, не потерпят.

заранее готов восхищаться римлянами решительно во всех их деяниях, превращая величайшие преступления в величайшую доблесть. Александр, сокрушавшийся по поводу того, что убил своего лучшего друга, Сципион, тоже опечаленный, что не отнял жену у мужа, – вот, по его убеждению, примеры неподражаемого героизма. Наконец, если он сделал каждого из нас живым противоречием, то сам он – наиболее совершенная его модель.

Вполне справедливо полагают, что Роллен был приверженцем коммунизма и лакедемонских институций. Будем, однако, справедливы к нему: его приверженность не абсолютна, он не целиком одобряет этого законодателя и критикует его за то, что при нем были распространены такие вещи:

безделье;
кровосмесительство;
убийство детей;
массовые убийства рабов.

Сделав оговорки по этим четырем пунктам, наш добряк, возвращаясь к классической условности, видит в Ликурге не человека, а бога и считает его политику безупречной.

Вмешательство законодателя во все стороны жизни представляется Роллену настолько необходимым, что он вполне серьезно поздравляет греков с тем, что один не грек специально пришел к ним, чтобы научить питаться по-настоящему, а до этого, утверждает Роллен, греки питались исключительно травой, как жвачные животные.

Между прочим, он пишет:

«Бог должен был даровать римлянам мировое господство за их великие доблести и добродетели, но эти их качества оказались лишь простой видимостью. Господь был бы несправедлив, если бы дал этим качествам оценку, влекущую столь высокое вознаграждение».

Мы ясно видим здесь, как, в лице самого Роллена, оспаривают друг у друга бедную человеческую душу упомянутая мной условность и христианство. Сам дух этой фразы есть двух всех творений основателя системы образования во Франции. Противоречить самому себе, заставить Бога противоречить себе и научить нас противоречить себе – в этом весь Роллен, в этом все бакалаврство.

Хотя кровосмесительство и детоубийство смущают Роллена, но он в восторге от всех остальных институций Ликурга и даже оправдывает кражу. То, как он это делает, настолько любопытно и настолько связано с темой этого моего письма, что я должен об этом рассказать.

Роллен начинает с утверждения принципа, что закон создает собственность, – принципа зловещего и общего для всех «организаторов» общества. Мы найдем его в трудах и устах Руссо, Мабли, Мирабо¹⁵, Робеспьера и Бабефа, о которых далее поговорим. А поскольку закон – это и есть самый смысл существования собственности, то разве не может он быть также смыслом существования кражи? Что и как тут можно возразить?

«Кража допускалась в Спарте, – пишет Роллен, – но строго наказывалась у скифов. Причина такой разницы ясна, потому что закон – а только закон решает вопросы собственности и использования имущества – не предоставляет у скифов никаких прав частному лицу насчет достояния другого частного лица, тогда как у лакедемонян закон прямо противоположен, и такие права в нем предусмотрены».

Затем наш добряк Роллен в пылу своей защитительной речи в отношении и самого Ликурга привлекает на свою сторону высочайшего авторитета, а именно Бога:

«Подобные права на чужое достояние – вещь самая обычная. Так, Господь не только разрешил бедным рвать гроздь в чужих виноградниках и собирать колосья на полях, даже унося целые снопы, но и предоставил любому прохожему свободу сколько угодно раз заходить в чужой виноградник и есть винограда сколько хочет, несмотря на возможные протесты хозяина виноградника. Бог сам дал этому первейшее обоснование: земля Израиля принадлежит ему, и поэтому израильтяне могут пользоваться ею лишь при таком обременительном условии».

Могут сказать, что это, так сказать, лишь личная доктрина Роллена. Но и я говорю то же самое, ибо я стараюсь показать, до какого нравственного недомогания могут быть доведены даже самые блестящие и безупречные умы в результате слишком долгого и тесного общения с этим жутким античным обществом.

Монтескье. Говорят, что Монтескье стяжал славу всего рода человеческого. Да, он один из великих писателей, каждая фраза которого бесспорно авторитетна. Упаси меня Боже пытаться преуменьшить его достоинства. Но что прикажете думать о классическом образовании, если оно ввело в заблуждение даже столь благородный ум, доведя его до восхищения самыми варварскими институциями античности?

«Древние греки, понимая, что люди, живущие при народном правлении, должны воспитываться как люди добродетельные, создали с этой целью особые институции... Законы Крита лежали в основе законов Лакедемона; законы Платона были их некоторой коррекцией.

Я прошу обратить внимание на величие гения этих законодателей, и тогда вы увидите, что, нарушая все привычные нравы и перемешивая между собой все добродетели, они явили миру свою мудрость. Ликург, смешивая плагиат, позаимствованный из прошлого, с духом справедливости, жесточайшее рабство с чрезвычайной свободой, кровожаднейшие чувства с величайшей умеренностью, обеспечил стабильность своему городу. Казалось, он отнял у него все средства существования, искусства, торговлю, деньги, даже стены. Все стремления людей были лишены надежды на какие-то перемены; у них были естественные стремления, но никто не чувствовал себя ни ребенком, ни мужем, ни отцом; у целомудрия была отнята сама стыдливость. Но именно такими путями Спарта пришла к величию и славе. Неуязвимость ее институций была такова, что их никто не мог пошатнуть, даже выигрывая войны против нее». (О духе законов, книга IV, глава VIII).

«Те, кто захочет создать подобные институции, учредят общность всех благ республики Платона, будут, как он того требует, уважать богов, будут чуждаться иностранцев ради сохранения своих собственных обычаев, и торговлей будет заниматься город в целом, а не его граждане; они лишат наши искусства всякой роскоши, а наши нужды – всякого желанья».

А вот как Монтескье объясняет, почему древние придавали большое значение музыке:

«Я думаю, что могу объяснить это. Надо помнить, что в греческих городах, особенно в тех, где главным занятием была война, всякий труд и всякие занятия, способствовавшие приобретению денег, рассматривались как недостойные для свободного человека. «Большинство искусств и ремесел, – говорит Ксенофон, – уродуют тех, кто ими занимается; они вынуждены постоянно сидеть в тени или у огня, у них нет времени для друзей и для республики». Лишь в обстановке коррумпированности некоторых демократий ремесленники стали там гражданами. Об

этом поведал нам Аристотель, который утверждает, что хорошая республика никогда не дала бы им гражданства.

Сельское хозяйство было тогда еще рабским занятием, и обычно им занимались покоренные народы: илоты у лакедемонян, периесьены у критян, пенесты у фессалийцев, другие народы-рабы в других республиках.

Наконец, греки считали унижительным заниматься всякой торговлей. Чтобы гражданин оказал какую-то услугу рабу, отпрыску догреческих народов, иностранцу – такая идея шокировала дух греческой свободы. Поэтому Платон предлагал в своих законах наказывать гражданина, занимающегося торговлей.

Из-за этого греческие республики оказывались в большом затруднении: не хотели (здесь и далее опять безличный оборот!), чтобы граждане трудились в торговле, сельском хозяйстве, ремеслах, но не хотели и того, чтобы они оставались праздными. Им было найдено занятие: гимнастика и разные другие упражнения, имеющие отношение к войне. Ничего иного, постороннего быть не могло. Поэтому надо рассматривать греков как общество атлетов и бойцов. Между тем эти упражнения, способствовавшие ожесточению и одичанию людей, нуждались в дополнении такими упражнениями, которые сдерживали бы необузданность и смягчали бы нравы. Музыка, достигающая человеческого духа через органы чувств, была весьма пригодна именно для этого».

(О духе законов, книга V).

Вот такое понимание свободы преподносит нам классическое образование. А теперь посмотрим, как оно учит нас понимать равенство и воздержанность:

«Хотя в демократии равенство есть душа государства, однако в действительности его настолько трудно обеспечить, что даже чрезвычайная точность и аккуратность в этом отношении будет недостаточна. Сначала надо провести перепись и установить ценз, чтобы выявить и несколько сгладить неравенство; затем надо принять отдельные законы по дальнейшему сглаживанию неравенства путем повышения налога с богатых и снижения или полной отмены его для бедных», (О духе законов, книга V, глава V).

«В хорошей демократии мало, чтобы участки земли были равными; надо, чтобы они были маленькими, как у римлян...

Равенство достояний ведет к воздержанности и умеренности, а эти качества, в свою очередь, поддерживают равенство достояний. Хотя вещи эти разные, они не могут существовать друг без друга», (О духе законов, глава VI).

«У самнитов был обычай, который в их маленькой республике и особенно при условиях их жизни давал великолепные результаты. Там все юноши представляли перед жюри. Тот, кого объявляли лучшим из всех, брал себе в жены девушку, какую хотел; следующий брал любую из оставшихся и т. д... Трудно придумать более благородное и более величественное вознаграждение, совсем не дорогое для маленького государства и так хорошего воздействующее на молодых людей обою пола.

Самниты вели свое происхождение от лакедемонян. И Платон, чьи институции представляют собой лишь усовершенствование законов Ликурга, предложил примерно такое же правило».

(О духе законов, книга VII, глава XVI).

Руссо . Ни один человек не оказал на Французскую революцию такого сильного влияния, как Руссо. «Его труды, – говорит Л.Блан, – были настольными книгами Комитета

общественного спасения». «Его парадоксы, – говорит он же, – которые его век принимал за литературные вольности, вскоре зазвучали на ассамблеях страны как непреложные истины и были остры как шпага». А чтобы нравственная связь Руссо с античностью была очевидна всем, все тот же славослов Руссо добавляет: «Его стиль напоминал патетические и страстные речи одного из сыновей Корнелии¹⁶».

Впрочем, всякому известно, что Руссо был большим почитателем идей и нравов, которые обычно приписываются римлянам и спартамцам. Он сам как-то признался, что чтение Плутарха сделало его тем, кто он есть.

Первый же его письменный труд был направлен против человеческого интеллекта, и в нем, на первых же страницах, он восклицает:

«Разве забуду я, что именно в Греции возник город, знаменитый как своим счастливым неведением, так и мудростью своих законов, возникла республика скорее полубогов, чем людей, настолько высоки были их добродетели и доблести? О, Спарта, ты всегда посрамляла пустые доктрины! В то время как пороки, ведомые изящными искусствами, вторгались в Афины, в то время как тиран заботливо собирал там произведения царя поэтов, ты отгоняла от твоих стен искусство и его творцов, науку и ученых!» (речь о восстановлении наук и искусств).

В своей второй работе, «Речи о неравенстве условий», он еще более пылко обрушился на самые основы общества и цивилизации. В этой связи он считал себя толкователем античной мудрости:

«Я представляю себя находящимся в афинском лицее, где повторяю уроки моих учителей, где Платон и Ксенократ выступают судьями, а весь род человеческий – слушателями».

Господствующую идею этой знаменитой речи можно резюмировать так: Самая ужасная судьба ждет тех, кто, имея несчастье родиться после нас, добавит свои знания к нашим. Развитие наших способностей уже делает нас очень несчастными. Наши отцы были счастливее, потому что многого не ведали. Рим приближался к совершенству, Спарта уже была совершенна в той мере, в какой совершенство вообще совместимо с социальным состоянием. Но подлинное счастье для человека – жить в лесу, одному, голому, без связей, без привязанностей, без языка, без религии, без идей, без семьи в конце концов, в том состоянии, в каком он находился, когда он был очень близок к животному и вряд ли пользовался для ходьбы только ногами, не привлекая рук.

К несчастью, этот золотой век кончился. Люди прошли через промежуточное состояние, которое тоже было восхитительным:

«Пока люди довольствовались хижинами, шили одежду из шкур с помощью рыбьей кости вместо иглы, украшали себя перьями и ракушками, разрисовывали свое тело в самые разные цвета..., пока они изготавливали только, что мог изготовить один-единственный человек, они были свободны, вели здоровый образ жизни, были хороши собой и счастливы».

Увы! Они не сумели остановиться на этой первой ступени культуры:

«Как только один человек стал нуждаться в помощи другого (вот оно, злоеущее

появление общества!), как только было замечено, что один человек может добыть и заготовить провизии для двух людей, равенство исчезло, воцарилась собственность, труд стал необходимостью...

Металлургия и сельское хозяйство оказались теми двумя видами деятельности, изобретение которых произвело великую революцию. Для поэта это золото и серебро, для философа – железо и хлеб, которые цивилизовали людей и погубили род человеческий».

Нужно было, следовательно, выйти из природного состояния, чтобы войти в общество. Это послужило темой третьего произведения Руссо – «Об общественном договоре».

В мою задачу не входит анализировать здесь этот труд, и я ограничусь констатацией того обстоятельства, что греко-римские идеи воспроизводятся в нем на каждой странице.

Поскольку общество есть договор, каждый вправе формулировать в нем свои требования.

«Право регулировать условия общества принадлежит лишь тем, кто в это общество объединяется».

Но это не так-то просто сделать.

«Как люди будут их регулировать? С общего согласия или по внезапному наитию?... Как слепое множество, часто не знающее, чего оно хочет, самостоятельно совершит столь великое и трудное дело как создание системы законодательства?... Для этого нужен законодатель».

Тем самым всеобщее голосование, допускаемое в теории, тотчас исчезает на практике.

Ибо как возьмется за такое дело законодатель, который должен быть человеком необыкновенным во всех отношениях, осмелившимся институировать целый народ, чувствующим себя способным изменить человеческую натуру, изменить нравственное и само физическое строение человека? Одним словом, такой законодатель должен изобрести некую машину и сделать ее из людей.

Руссо очень убедительно доказывает, что законодатель не может уповать ни на прямую силу, ни на силу убеждения. Как же выйти из положения? С помощью лжи и обмана.

«Во все времена это заставляло отцов народов прибегать к вмешательству небес и наделять богов своей собственной мудростью. Законодатель ссылается на этот высший разум, возвышающийся над вульгарными душами, и вкладывает свои решения в уста бессмертных, чтобы божественный авторитет заставил сдвинуться с места тех, кого удерживает обыкновенная человеческая осторожность. Но не каждому дано заставить говорить богов». («Боги», «бессмертные» – вот вам реминисценция классики!)

Как для его учителей Платона и Ликурга, как для его героев спартанцев и римлян, слова «труд» и «свобода» взаимно несовместимы по своему идейному содержанию. Поэтому, живя в соответствующем обществе, надо выбирать: либо отказаться быть свободным, либо умереть с голоду. Но тут появляется выход их затруднения – рабство.

«В тот самый момент, когда народ выделяет из своей среды своих представителей, он уже не свободен. Он больше не свободен!

У греков народ делал сам все, что ему нужно. Он беспрерывно собирался на площадях. Трудились за него рабы, а его главным делом была свобода. Но, лишившись прежних преимуществ, как сохранить прежние права? Вы начинаете

больше заботиться о вашей выгоде, чем о вашей свободе и меньше опасаетесь превратиться в раба, чем стать нищим.

Как? Неужели свобода поддерживается лишь рабством? Быть может. Крайности сходятся. Все то, чего нет в природе, имеет свои неудобства, особенно это относится к обществу. Бывают такие злосчастные положения, когда можно спасти собственную свободу лишь за счет свободы другого и когда гражданин в высшей степени свободен только при условии, что раб есть в высшей степени раб. Именно так было в Спарте. У вас, нынешних народов, нет рабов, но вы сами рабы...» и т. д.

Вот она, классическая условность. Древние имели рабов, потому что обладали грубыми инстинктами. Однако, согласно традиции колледжей, все, что они творили, прекрасно, и древним приписываются утонченные соображения касательно квинтэссенции свободы.

Руссо противопоставляет естественное состояние состоянию социальному, и это противопоставление губительно воздействует на мораль как индивида, так и государства и общества. По его системе получается, что общество есть результат договора, порождающего закон, который, в свою очередь, вытаскивает откуда-то из ничего справедливость и нравственность. В природном состоянии нет ни нравственности, ни справедливости. Отец ничем не обязан сыну, сын отцу, муж жене, жена мужу. «Я не должен ничего тому, кому я ничего не обещал; я признаю за другим только то, чего мне самому не нужно; у меня есть неограниченное право на все то, что мне понравится и что я могу взять».

Отсюда следует, что если заключенный когда-то общественный договор рухнет, то вместе с ним рухнет все – общество, закон, мораль, справедливость, долг. «Каждый, – говорит Руссо, – возвращает себе свои изначальные права и свою естественную свободу, теряя свободу обусловленную, которая заменяла свободу природную».

А между тем надо четко знать, что требуется совсем немного, чтобы нарушить общественный договор. Такое случается всякий раз, когда частное лицо не выполняет своих обязательств или нарушает какой-нибудь закон; когда убегает из-под стражи преступник, услышав от общества: «Нужно, чтобы ты умер»; когда гражданин отказывается платить налоги, когда счетовод обкрадывает государственную кассу. Тогда общественный договор исчезает, все моральные обязательства прекращаются, справедливости больше нет, отцы, матери, дети, супруги не должны друг другу ничего, каждый получает неограниченное право брать все, чего пожелает, – одним словом, все население возвращается в природное состояние.

Предоставляю читателю поразмышлять, какое опустошение должны произвести подобные доктрины во времена революций.

Они, эти доктрины, не менее пагубны и для индивидуальной морали. Всякий молодой человек, преисполненный дерзости и разнообразных желаний, вступая в мир, скажет самому себе: «Порывы моего сердца – это глас природы, а природа никогда не ошибается. Мешающие мне институты созданы людьми, они суть лишь произвольные соглашения, в заключении которых я не участвовал. Я растопчу эти институты и получу двойное удовольствие: удовлетворю мои склонности и буду чувствовать себя героем».

Напомню читателю одну печальную и горестную страницу из «Исповедей» Руссо:

«Мое третье дитя оказалось среди найденышей, как и двое первых. То же самое произошло и с двумя последующими, так как у меня было пять детей. Такое урегулирование показалось мне превосходным, и если я скрывал свою радость, то единственно потому, что щадил чувства их матери... Отдавая моих детей на государственное воспитание, я смотрел на самого себя как на члена республики Платона!»

Мабли. Нет нужды приводить цитаты из произведений аббата Мабли, чтобы доказать его греко-римскую манию. Он был как бы сделан из одного куска материала, ум его был узок, сердце гораздо менее чувствительное, чем у Руссо, идея излагалась менее темпераментно и не содержала посторонних примесей. Он был откровенным приверженцем Платона, то есть коммунистом. Убежденный, как и все классицисты, в том, что человек есть сырье для производства институций, сам он предпочитал быть, тоже как все классицисты, производителем, а не сырьем. Поэтому он мнил себя законодателем. Как таковой, он сначала пытался институировать Польшу, но не преуспел в этом. Потом он предложил англо-американцам отведать спартанской похлебки, но те отказались. Оскорбленный такой слепотой и глухотой, он предсказал им падение Союза и отвел на его существование всего пять лет.

Позвольте сделать мне здесь одну оговорку. Цитируя абсурдные и подрывные доктрины таких людей, как Фенелон, Роллен, Монтескье, Руссо, я совершенно не намеревался утверждать, что у этих великих писателей нет страниц, преисполненных разума и высокой нравственности. Но все ложное в их книгах проистекает из классической условности, а все истинное имеет совсем другой источник. В этом и заключается и этим иллюстрируется мой тезис о том, что образование, основанное исключительно на греческом и латыни, делает всех нас живыми противоречиями. Оно тянет нас в прошлое, прославляемое всесторонне, включая прославление ужасов, и все это в то время, когда христианство, этот дух века и основа здравого смысла, никогда не теряющего своих прав, показывает нам идеал нашего будущего.

Я избавлю читателя от разговора о Морелли, Бриссо¹⁷, Рейнале, оправдывающих – да что я говорю? – восторгающихся войной, рабством, использованием богов в поддержку лжи, обобществлением достояний, праздностью. Кто может усомниться, что источник их доктрин грязен и зловонен? Все-таки я прямо назову этот источник: классическое образование, навязанное нам всем через посредство бакалаврской системы.

«Спокойная», «мирная» и «чистая» античность изливает свой яд не только в литературных произведениях, но и в трудах правоведов. Я очень сомневаюсь, что у наших законников можно найти что-нибудь хотя бы приближенное к разумному понятию права собственности. А каким же может быть законодательство, в котором такое понятие отсутствует? На днях я пролистал «Трактат о праве людей» Ваттеля¹⁸. Целую главу автор посвятил вопросу о том, разрешается ли похищать женщин. Ясно, что эта бесценная глава навеяна римской легендой о похищении сабинянок. Взвесив с величайшей серьезностью и обстоятельностью все «за» и «против», автор дает утвердительный ответ. Слава Рима подсказала ему такой ответ. Разве римляне бывали когда-нибудь неправы? Все та же условность запрещает нам даже и вообразить такое. Римляне – это римляне, и точка. Поджог, грабеж, похищение – все, совершаемое ими, «спокойно», «мирно», «чисто».

Не станете же вы утверждать, что я даю субъективные оценки вещам! Пусть же нашему обществу повезет и пусть униформизированное классическое образование, подкрепленное взглядами Монтеня, Корнеля, Фенелона, Роллена, Монтескье, Руссо, Рейналя, Мабли, не сформирует всеобщее мнение. В общем, будущее покажет.

А пока что мы видим свидетельство того, что коммунистическая идея захватила не только нескольких индивидов, а целые объединения и сообщества и самых образованных и влиятельных людей. Когда иезуиты пожелали навести социальный порядок в Парагвае, каковы были их намерения, продиктованные изучением прошлого? Да все те же намерения Миноса, Платона и Ликурга. Они провели там в жизнь коммунизм, за которым не преминули наступить печальные последствия. Индейцы опустились на несколько ступеней ниже своего дикого

состояния. Тем не менее европейцы упрямо потворствуют коммунистическим институциям, изображая их как верх совершенства и поздравляя со счастливой жизнью безымянные существа (потому что это уже не люди), пасущиеся под надзором иезуитов с плетками.

Руссо, Мабли, Монтескье, Рейналь, все эти великие проповедники великих миссий и предназначений, проверили они хотя бы достоверность фактов, которыми оперируют? Ничего они не проверяли. Разве, мол, греческие и латинские книги могут содержать ошибки? Разве можно заблудиться, взяв в проводники Платона? Так что парагвайские индейцы были осчастливлены, должны были быть осчастливленными, а не оказаться на самом дне вопреки всем правилам. Азара¹⁹, Бугенвиль²⁰ отправились туда уже с предвзятыми идеями, готовясь повстречать множество чудес. Поначалу они, как говорится, в упор не видели печальную действительность, не могли в нее поверить. Однако пришлось смириться перед очевидностью, и в конце концов они признали, к своему глубокому сожалению, что коммунизм есть обольстительная химера и жуткая реальность.

Логика неумолима. Вполне ясно, что цитированные мной авторы не осмелились довести свою доктрину до логического конца. Эту их промашку взяли исправит Морелли и Бриссо. Как верные ученики Платона, они проповедовали обобществление имущества и женщин и при этом, заметьте, беспрерывно приводили примеры и рекомендации, взятые из той самой прекрасной античности, которой все, как будто сговорившись, восхищаются.

Вот так обстояло дело с представления о семье, собственности, свободе, обществе, представлениями, внушенными французскому общественному мнению воспитанием и образованием под руководством церкви, когда вспыхнула Революция. Она, конечно, была вызвана причинами, не имеющими прямого отношения к классическому образованию. Но вполне правомерно полагать, что оно примешало к ней кучу ложных идей, грубых чувств, подрывных утопий, фатальных экспериментов. Прочтите речи в Законодательном собрании и в Конвенте. Вы сразу распознаете язык Руссо и Мабли. Вы увидите пересказы, подражания, манеры, неотрывные от имен Фабриция, Катона, обоих Брутов, Гракхов, Катилины. Намереваются проявить жестокость? Что ж, для ее, так сказать, прославления приводят в пример кого-нибудь из римлян. Вложенное в голову образование переходит в действие. Спарта и Рим – общепризнанные образцы; значит, надо подражать им или пародировать их. Один хочет учредить Олимпийские игры, другой – принять аграрные законы, третий – раздавать похлебку на улицах.

Я не думаю осветить здесь весь этот вопрос. Для этого нужна опытная рука, которая написала бы нечто большее, нежели памфлет о влиянии греческого и латыни на дух наших революций. Я ограничусь некоторыми моментами.

Две крупные фигуры доминируют во Французской революции и персонифицируют ее – Мирабо и Робеспьер. Какова же их доктрина собственности?

Мы видели, что античные народы обеспечивали себе средства существования грабежом и разбоем и практикованием рабства, и это не могло привязать собственность к ее истинному принципу. Они вынуждены были считать ее вещью условной, договорной и основывали ее на законе, а это позволяло включить в понятие собственности также рабство и кражу, как наивно объясняет Роллен.

Руссо говорил: «Собственность есть договорная человеческая институция, заменившая собой свободу, рассматриваемую как дар природы».

Мирабо проповедовал ту же самую доктрину:

«Собственность есть социальное творение. Законы не только защищают и протезируют собственность, они порождают ее, определяют, дают ей свое место и

свои масштабы в системе прав граждан».

Когда Мирабо так высказывался, он не намеревался теоретизировать. Его действительной целью было привлечь законодательство, чтобы ограничить осуществление права, созданного им самим же.

Робеспьер воспроизводит формулировки Руссо:

«Определяя свободу, эту первейшую необходимость человека и самое священное право, которое дала ему природа, мы правомерно утверждаем, что свобода имеет пределом такое же право на нее другого. Почему же вы не прилагаете этот принцип к собственности, которая есть социальная институция, как будто законы природы слабее договоров между людьми?»

После такой преамбулы Робеспьер переходит к собственно определению:

«Собственность есть право каждого гражданина пользоваться и распоряжаться достоянием, которое гарантируется ему законом».

Вот тут-то и выступает, очень четко, противостояние между свободой и собственностью. Получаются два права разного происхождения. Одно идет от природы, другое от социальной институции. Первое естественно, второе условно.

А кто делает законы? Законодатель. И он может ввести в действие такое право собственности, какое ему заблагорассудится.

Поэтому Робеспьер спешит сделать выводы из своего определения и произвести из него право на труд, право на помощь и прогрессивный налог:

«Общество обязано обеспечивать существование всех своих членов, либо предоставляя им работу, либо снабжая средствами существования тех, кто не способен трудиться.

Необходимая помощь в нужде – это долг богатого перед бедным. Способ исполнения этого долга надлежит определять закону.

Граждане, чей доход не превышает уровня, необходимого для их существования, освобождаются от участия в государственных расходах. Другие должны в них участвовать прогрессивно – в зависимости от величины их доходов».

Тем самым Робеспьер, говорит г-н Сюдр²¹, принимал все меры, которые, по замыслу их изобретателей да и на практике, представляют собой переход от собственности к коммунизму. Применяя платоновские «Законы», он, сам того не зная, двигался в направлении к реализации того социального состояния, которое описано в книге «Республика».

(Известно, что Платон написал две книги: одна, «Республика», описывает идеальное совершенство – общность имущества и женщин; в другой, «Законах», предлагаются способы перехода к такому совершенству.)

Впрочем, Робеспьер может рассматриваться и как энтузиаст античного «покоя», «мира» и «чистоты». Сама его речь о собственности изобилует декламациями такого рода: Аристид не позавидовал бы сокровищам Красса! Фабриций в своей лачуге не завидовал дворцу Красса! И т. д.

Раз уж Мирабо и Робеспьер предоставляли законодателю устанавливать предел праву собственности, то не имеет особого значения выяснять, какой именно предел они считали

подходящим. Их устраивало не заходить дальше права на труд, права на помощь и прогрессивного налога. Но другие, более последовательные, на этом не останавливались. Если закон, создающий собственность и распоряжающийся ею, может сделать один шаг к равенству, то почему бы ему не сделать два шага? Почему бы ему не реализовать абсолютное равенство?

Робеспьера обогнал Сен-Жюст – так должно было случиться. Сен-Жюста обогнал Бабеф – так тоже должно было случиться. В движении по такому пути есть только одно разумное окончание, и оно было указано все тем же божественным Платоном.

Итак, Сен-Жюст... Однако я слишком плотно окружаю себя вопросами собственности. Я забываю, что взялся показать, как классическое образование извратило все понятия о нравственности. Поэтому, будучи убежден, что читатель поверит мне на слово, когда я утверждаю, что Сен-Жюст обогнал Робеспьера на пути к коммунизму, я возвращаюсь к моей главной теме.

Прежде всего надо знать, что заблуждения Сен-Жюста вытекают из классического обучения. Как и все люди его времени, да и времени нашего, он был насквозь пропитан античностью. Он мнил себя Брутом. Находясь далеко от Парижа по воле своей партии, он писал:

«О Боже! Разве нужно, чтобы Брут изнывал от тоски, забытый всеми, далеко от своего Рима? Но выбор сделан, и если Брут не убивает других, он убьет самого себя».

Убивать! По-видимому, таково в нашем мире предназначение человека.

Все эллинисты и латинисты согласны, что принцип республики – добродетель, но одному Богу известно, что они понимают под этим словом. Вот почему Сен-Жюст пишет:

«Республиканское правление имеет принципом если не террор, то добродетель».

Как уже говорилось, в античности господствовало убеждение, что труд достоин лишь презрения. Вот и Сен-Жюст тоже осуждает его:

«Какое-либо ремесло плохо согласуется со званием подлинного гражданина. Руки даны человеку для того, чтобы, разве что, взрыхлять землю, но главное – владеть оружием».

Как раз для того, чтобы никто не погрязал в каком-нибудь ремесле или профессии, он хотел распределить все земли поровну между всеми.

Мы уже видели, что, согласно идеям древних, законодатель соотносится с человечеством так же, как гончар соотносится с глиной. К сожалению, когда такая идея господствует, никто не хочет быть глиной, а каждый желает быть гончаром. Оно и видно, как Сен-Жюст выступает в такой выигрышной роли:

«Когда я буду убежден в том, что не смогу дать французам мягкость и чувствительность и одновременно твердость и несгибаемость по отношению к тирании и несправедливости, я всажу себе нож в грудь».

Если будут здоровые обычаи и нравы, все пойдет хорошо, а для очищения нравов нужны институты. Чтобы преобразовать нравы, нужно начать с удовлетворения необходимых потребностей и интересов. Надо дать каждому по небольшому участку земли.

Дети будут носить холщовую одежду во все времена года. Они будут

укладываться на циновки и спать по восемь часов. Они будут питаться вместе и есть только коренья, фрукты, овощи, хлеб и пить воду. Они будут получать мясо лишь по исполнению шестнадцати лет.

По достижении двадцати пяти лет мужчины будут каждый год, собравшись в храме, объявлять имена своих друзей. Если кто-нибудь покинет друга без достаточных на то оснований, он будет изгнан!»

Так Сен-Жюст, подражая Ликургу, Платону, Фенелону, Руссо, заведует обычаями, чувствами, богатствами и детьми французов, наделяя себя такими правами и могуществом, каких нет у всех французов, вместе взятых. Человечество – карлик в сравнении с ним, вернее оно существует и живет лишь в нем самом. Мозг человечества – это его мозг, сердце человечества – это его сердце.

Вот она, лестница к революции, сооруженная греко-латинской условностью, конвенционализмом. Платон начертал идеал. Священники и светские люди принялись в семнадцатом и восемнадцатом веках восторгаться этим чудом. Настал час действия: Мирабо спустился на первую ступень, Робеспьер на вторую, Сен-Жюст на третью, Антонель²² на четвертую и Бабеф, более логичный, чем все его предшественники, – на последнюю, на ступень абсолютного коммунизма и чистейшего платонизма. Мне надо было бы процитировать здесь его писания, но я ограничусь самым характерным: он подписывал их именем Кая Гракха.

Весь дух революции, с занимающей нас сейчас точки зрения, можно уместить в нескольких небольших цитатах из высказываний разных лиц и из разных документов. Чего хотел Робеспьер? «Поднять души на высоту республиканских добродетелей античных народов» (3 нивоза года III). Чего хотел Сен-Жюст? «Быть счастливыми как Спарта и Афины» (23 нивоза года III). Кроме того, он хотел, «чтобы все граждане носили под одеждой нож Брута» (тогда же). Чего хотел кровожадный Карье?²³ «Чтобы вся молодежь видела сожженную руку Сцеволы, цикуту Сократа, смерть Цицерона и меч Катона». Чего хотел Рабо Сент-Этьен?²⁴ «Чтобы, согласно принципам критян и спартанцев, государство владело человеком с колыбели и даже до его рождения» (16 декабря 1792 г.). Чего хотела секция «пятнадцати-двадцати»?²⁵ «Чтобы была создана церковь, проповедующая свободу, и чтобы был сооружен алтарь с вечным огнем, пламя в котором поддерживали бы юные весталки» (21 ноября 1794 г.). Чего хотел весь Конвент? «Чтобы в наших коммунах жили только Бруты и Публиколы²⁶» (19 марта 1794 г.).

Тем не менее все эти сектанты были чистосердечны, но, значит, и более опасны, ибо чистосердечность и искренность в ошибке и заблуждении есть фанатизм, а фанатизм – это сила, особенно когда он воздействует на массы, уже подготовленные терпеть его деяния. Всеобщий энтузиазм в пользу того или иного типа социального устройства далеко не всегда стерилен, и общественное мнение, просвещенное или заблуждающееся, в конце концов правит миром. Когда какая-либо из таких фундаментальных ошибок – к примеру, прославление античности – проникает через систему образования во все мозги, едва в этих мозгах забрезжится первый проблеск интеллекта, и когда таким образом мышление людей застывает в состоянии конвенционализма, она, эта ошибка, толкает умы к действиям. Тогда революция ударяет в колокол экспериментов, и кто знает, под каким ужасным именем выступит тот, кого столетием ранее называли Фенелоном? Он мог бы изложить свою идею в романе, но он взошел на эшафот; он мог бы оставаться поэтом, но стал мучеником; он мог бы забавлять общество, но он потряс его до основания.

И все же в действительности существует сила, превосходящая конвенционализм, даже самый всеобщий. Когда образование посеяло в обществе свое губительное семя, в нем не исчезла сила консерватизма, которая освобождает его и в долговременной перспективе

освободит, через страдания и слезы, от этого гибельного, смертоносного семени.

Так что когда коммунизм в достаточной степени напугал и скомпрометировал общество, последовала неизбежная реакция. Франция стала отступать к деспотизму. В своем пылу она распродала даже правомерные и ценные завоевания революции. Появились консульство и империя. Но, увы, надо ли говорить, что пристрастие к Риму преследовало страну и в этой новой фазе? Античность не ушла, она оставалась, чтобы оправдывать все формы насилия. От Ликурга до Цезаря – множество моделей, из которых можно сделать любой выбор. Так что – и я воспроизвожу тут слова г-на Тьера – «побывав афинянами вместе с Вольтером, мы были спартанцами при Конвенте и солдатами Цезаря при Наполеоне». Разве не приходится признать, что наша любовь к Риму оставила глубокую печать и на этой эпохе? О Боже, эта печать повсюду! Она в архитектуре зданий, в монументах, в литературе, даже в моде одежды в императорской Франции. Она в забавных, смешных названиях наших институций. Ведь не случайно же повсюду выросли, как грибы, консулы, император, сенаторы, трибуны, префекты, сенатские решения, троянские колонны, легионы, Марсовы поля, пританейоны (магистраты), лицеи.

Борьба между революционными и контрреволюционными принципами, по-видимому, завершилась в июльские дни 1830 г. С этого времени интеллектуальные силы страны повернулись к изучению социальных вопросов, что само по себе естественно и полезно. К сожалению, импульс к движению человеческого ума опять задал университет, направляя людей в сторону все тех же отравленных источников античности; потому-то нашему несчастному отечеству вновь пережить свое прошлое и повторить прежние тягостные испытания. Как будто мы обречены вечно крутиться в порочном круге: утопия, экспериментирование, реакция; литературный платонизм, революционный коммунизм, военный деспотизм; Фенелон, Робеспьер, Наполеон! Да и может ли быть иначе? Молодежь, из которой рекрутируются литераторы и журналисты, вместо того чтобы открывать и формулировать естественные законы общества, ограничивается повторением греко-римской аксиомы: социальный порядок есть творение законодателя. Ничего себе исходный пункт, открывающий дорогу к неумемному воображению и вечно порождающий социализм! Ибо, если общество есть изобретение, то кто не захочет стать изобретателем? Кто не захочет быть Миносом, Ликургом, Платоном, Нумой, Фенелоном, Робеспьером, Бабефом, Сен-Симоном, Фурье, Луи Бланом, Прудоном? Кто не пожелает себе славы создателя народа? Кого не прельстит титул отца народов? Кто не жаждет перемешивать семью и собственность, как перемешивают химические компоненты?

Но чтобы дать волю фантазии не только в колонках газеты, надо иметь власть, надо занимать то самое центральное место, куда тянутся все нити государственной власти. Таково обязательное предварительное условие всякого экспериментирования. Поэтому каждая секта, каждая школа прилагает и будет прилагать все свои усилия, чтобы прежде всего изгнать правительство уже находящейся у власти школы или секты, и выходит так, что под влиянием классического образования социальная жизнь не может быть ни чем иным, как нескончаемой серией битв и революций, имеющих предметом вопрос о том, какой утопист будет производить опыты с народом как с косной материей.

Да, я обвиняю бакалаврскую систему в том, что она подготавливает всю французскую молодежь к социалистическим утопиям и социальным экспериментам, притом делает это так, как будто готовит ее к неким удовольствиям. И, видимо, отсюда следует весьма странный феномен, а именно неспособность отвергнуть и отбросить социализм, неспособность, проявляемая теми, кому социализм угрожает непосредственно, и они это знают. Буржуа, пролетарии, капиталисты, системы Сен-Симона, Фурье, Луи Блана, Леру, Прудона – все это всего-навсего лишь доктрины. Они ложны, утверждаете вы. Но почему вы их не отвергаете и не

изгоняете? Потому что они и вы пьете из одной чаши, потому что вы слишком тесно общаетесь с древними, потому что ваша привязанность ко всему греческому и римскому прямо-таки притиснула вас к социализму.

Оно вообще в душе сидит у вас²⁷.

Ваше уравнивание достояний, ваш закон о вспомоществовании, ваши призывы сделать образование даровым, ваши поощрительные торговые премии, ваша централизация, ваша слепая вера в государство, ваша литература, ваш театр – все свидетельствует, что вы социалисты. Вы отличаетесь от апостолов лишь степенью, но вы движетесь по тому же склону. Вот почему, когда вы отстраняетесь, вместо того чтобы отвергнуть, – вы не умеете отвергать, и вы не можете отвергнуть, не осудив самих себя, – вы ломаете себе руки, рвете на себе волосы, призываете установить режим гнета и причитаете: «Франция уходит!»

Нет, Франция не уходит. А происходит вот что: пока вы предаетесь бесплодным стенаниям, социалисты отрекаются от самих себя. Его доктора ведут между собой открытую войну. Фаланстеры забыты, триада²⁸ забыта, национальные мастерские забыты, ваше уравнивание состояний законодательным путем будет забыто. Что остается? Даровой кредит. Почему вы не доказываете его абсурдность? Увы, вы сами его придумали. Вы проповедовали его тысячу лет. Когда вам не удалось удушить процент, вы его регламентировали. Вы подчинили его некоему максимуму, давая тем самым понять, что собственность есть творение закона, то есть повторяя и подхватывая идею Платона, Ликурга, Фенелона, Роллена, Робеспьера, а это, не побоюсь утверждать, есть эссенция и квинтэссенция не только социализма, но и коммунизма. Так что не расхваливайте мне обучения, которое ничему вас не обучает из того, что вы должны были бы знать, и которое обессиливает вас и делает немymi перед первой же химерой, родившейся в мозгу сумасшедшего. Вы не в состоянии противопоставить истину заблуждению, так не мешайте, по меньшей мере, тому, чтобы заблуждения сами пожрали друг друга. Остерегайтесь вздергивать на штыки утопистов и тем самым возводить их пропаганду на пьедестал мучеников и преследуемых. Дух и ум трудящихся масс, а быть может, и средних классов, отнюдь не чужды большим социальным вопросам. Они найдут словам «семья», «собственность», «свобода», «справедливость», «общество» другие определения, нежели те, которые внушаются нам вашим образованием. Они возьмут верх не только над тем социализмом, который провозглашает себя таковым, но и над социализмом вовсе не ведающим, что он социализм. Они покончат с вашим всеобщим вмешательством государства, с вашей централизацией, с вашим фальшивым единством, с вашей протекционистской системой, с вашей официальной филантропией, с вашими законами о ростовщичестве, с вашей варварской дипломатией, с вашим монополизированным преподаванием.

Вот почему я и говорю: нет, Франция не уходит. Она выйдет из борьбы более счастливой, просвещенной и организованной, более великой, свободной и нравственной, более религиозной, чем та Франция, которую сотворили вы сами.

В конце концов заметьте одно: когда я восстаю против классического обучения, я не требую запретить его, я требую лишь, чтобы его на не навязывали. Я не говорю государству: заставьте всех придерживаться моего мнения. Я говорю ему: не заставляйте меня подчиняться другому мнению. Разница, как видите, велика, и никаких недоразумений на этот счет быть не может.

Г-н Тьер. Г-н де Рианси²⁹, г-н де Монталамбер, г-н Бартелеми Сент-Илер полагают, что римская атмосфера наилучшим образом формирует сердца и умы молодежи. Пусть так. Пусть

они погружают в эту атмосферу своих детей, я им не буду мешать. Но пусть они оставят мне свободу держать как можно дальше моих детей от этого зачумленного воздуха. Господа регламентаторы, то, что представляется вам возвышенным, мне представляется одиозным; то, что удовлетворяет вашу совесть, тревожит совесть мою. Так что действуйте по своему усмотрению, а я буду действовать по усмотрению моему. Я вас ни к чему не принуждаю, почему же принуждаете меня вы?

Вы совершенно убеждены, что с социальной и нравственной точек зрения идеал прекрасного пребывает в прошлом. А я вижу его в будущем. «Осмелимся сказать веку, гордому самим собой, – говорил г-н Тьер, – что античность – это самое прекрасное в мире». Что до меня, то мне повезло, что я не разделяю столь огорчительного мнения. Я говорю огорчительного, потому что оно, в силу некоего фатального закона, обрекает человечество на неуклонную деградацию. Вы перемещаете совершенство к началу времен, я – к концу. Вы расцениваете общество как ретроградное, я расцениваю его как прогрессивное. Вы убеждены, что наши мнения, идеи, обычаи должны быть как можно аккуратнее разлиты по античным формам и именно так переплавлены; я изучал социальный порядок Спарты и Рима и вижу в нем лишь насилие, несправедливость, ложь, вечные войны, рабство, всякие гнусности, фальшивую политику, фальшивую мораль, фальшивую религию. То, чем вы восхищаетесь, я ненавижу и отношусь ко всему этому с омерзением. В конце концов, оставьте ваше суждение при себе, а мое при мне. Мы же не адвокаты, из которых один выступает за классическое образование, другой против, а суд своим решением насилует мою совесть или вашу. Я требую от государства единственно нейтралитета. Я требую свободы для вас, как и для себя. При этом я имею перед вами преимущество, которое заключается в беспристрастности, сдержанности и скромности притязаний.

Перед нами открываются три источника образования: государственный, церковный и, так сказать, свободный.

Я требую только того, чтобы последний вид образования был действительно свободным и мог опробовать новые и благодатные пути. Пусть университет преподает то, что ему дорого, – греческий и латынь; пусть церковь преподает то, чему научилась сама, – греческий и латынь. Пусть он и она будут делать платоников и трибунов, но пусть они не мешают нам формировать, совсем другими методами, людей для нашей страны и нашего века.

Ибо, если нас лишат этой свободы, какой горькой насмешкой будут звучать слова, которые мы слышим каждый день: «Вы свободны!»

На заседании 23 февраля г-н Тьер сказал, вот уже в четвертый раз, следующее:

«Я повторяю и буду повторять то, что уже говорил: свобода, предоставляемая нам законом, который мы сами приняли, – это свобода, соответствующая Конституции.

Попробуйте доказать мне обратное. Докажите мне, что это не свобода. Что касается меня, то я утверждаю, что никакой другой свободы нет и быть не может.

Было время, когда никто не мог преподавать без разрешения правительства. Мы отменили это предварительное разрешение, и преподавать может каждый.

Было время, когда указывали: преподавайте то-то и то-то и не преподавайте того-то и того-то. Сегодня мы говорим: преподавайте все, что желаете преподавать».

Печально слышать такой вызов и быть обреченным на молчание. Если бы слабость моего голоса не помешала мне подняться на трибуну, я ответил бы г-ну Тьеру.

Посмотрим все-таки, к чему сводится, с точки зрения преподавателя, отца семейства и вообще общества, эта самая свобода, которая, как вы утверждаете, бьет через край.

К примеру, сообразуясь с вашим законом, я основываю колледж. Мне надо оплачивать пансион, купить или нанять помещение, кормить учащихся и оплачивать преподавателей. Но рядом с моим колледжем находится лицей. Он не оплачивает помещение и преподавателей. Эти расходы несут налогоплательщики, включая меня. Он, следовательно, может нести меньше расходов на пансион, а мое предприятие оказывается невозможно. Это и есть свобода? И все-таки мне остается одна возможность: сделать мою систему образования настолько выше вашей, настолько затребованной публикой, что она обратится ко мне несмотря на сравнительную дороговизну, на которую вы меня обрекли. Но и тут вы встречаете меня и говорите: преподавайте что вам угодно, но если вы отклонитесь от моих правил, путь к карьере вашим ученикам будет закрыт. Это и есть свобода?

Допустим теперь, что я отец семейства. Я помещаю моих сыновей в свободное учебное заведение. В каком положении я оказываюсь? Как отец я плачу за образование моих детей, и никто мне в этом не помогает; как налогоплательщик и как католик я оплачиваю обучение детей других отцов, так я не могу не платить налога, идущего на лицей, а в дни поста бросаю пригоршню монет в шапку моего собрата, собирающего деньги на поддержание семинарий. В этом последнем случае я, по крайней мере, свободен и могу не кидать монет. А свободен ли я в том, что касается налога? Нет, нет, вы должны говорить, что проявляете солидарность, в социалистическом смысле слова, но не утверждайте, что вы свободны!

Все это лишь одна, и притом небольшая, часть вопроса. В нем еще заключено нечто гораздо более серьезное. Я предпочитаю свободное образование, потому что ваше официальное образование (которое вы заставляете меня оплачивать, хотя я им не пользуюсь) представляется мне коммунистическим и языческим. Моя совесть не позволяет мне, чтобы мои дети были пропитаны спартанскими и римскими идеями, которые – по моему мнению, по меньшей мере, – суть лишь прославляемые насилие и разбой. Поэтому я соглашаюсь, вынужденно соглашаюсь, сам оплачивать пансион моих детей да еще платить налог на других детей. Но что я получаю взамен? Я обнаруживаю, что ваше образование, основанное на мифах и воинственности, косвенно внедряется в свободный колледж посредством хитрого механизма ваших ученых степеней, и я должен приглушить мою совесть и уступить вашим взглядам, иначе мои дети окажутся париями общества. Вы четыре раза сказали мне, что я свободен. Вы можете сказать мне это сто раз, и я сто раз вам отвечу: нет, я не свободен.

Так оставайтесь же непоследовательным, ибо вы не можете избежать непоследовательности, и я согласен с вами, что при нынешнем настрое общественного мнения вы не сможете закрыть официальные колледжи. Но поставьте хотя бы какой-то предел вашей непоследовательности. Разве вы не сетуете ежедневно на умонастроения молодежи? Разве не печалитесь, что она склонна к социализму; что она далека от религиозных идей; что она страстно любит военные походы, настолько страстно, что на всех наших собраниях, совещаниях, встречах следует опасаться произносить слово «мир» и принимать всяческие меры ораторской предосторожности, когда речь заходит об иностранцах? Столь печальные явления, видимо, имеют свою причину. Так вот, если говорить откровенно, неужели вы не признаете, что свою роль в этом сыграло и играет ваше мифологизированное, платонизированное, военизированное и, так сказать, мятежное образование? Однако я не требую от вас переменить его на другое, это было бы для вас слишком непосильное требование. Но я говорю вам: поскольку вы позволяете родиться, рядом с вашими лицеями и в очень трудных условиях, школам, которые именуются свободными, то позвольте также им двинуться, на их собственный страх и риск, путями христианскими и научными. Игра стоит свеч. Как знать? Быть может, это и будет прогресс. А вы хотите задушить его в зародыше!

Наконец, рассмотрим вопрос с точки зрения общества и сразу же заметим, что было бы

странным видеть общество свободным в сфере образования, когда преподаватели и отцы семейств не свободны в этой самой сфере.

В первой же фразе доклада г-на Тьера о среднем образовании, с которым он выступил в 1844 г., содержится страшная истина:

«Народное образование – это, быть может, главнейшая забота цивилизованной страны, и поэтому оно выступает главнейшим предметом всяческих устремлений политических партий».

Думается, что отсюда надо сделать вывод: нация, не желающая стать добычей партий, должна поспешить упразднить государственное образование и провозгласить свободу образования. А если оно будет оставаться под надзором и контролем властей, то партии всегда будут иметь дополнительный мотив овладеть властью, поскольку тем самым они овладевают и образованием, которое является главнейшим предметом их амбиций. Разве не наблюдаем мы ныне неумную жажду власти и разве не вызывает эта жажда борьбу, революции, беспорядок? И разве мудро поступать, оставляя столь лакомую приманку в виде возможности огромного влияния на людей?

Почему партии стремятся управлять образованием? Потому что они знают и помнят слова Лейбница: «Сделайте меня учителем, и я изменю облик мира». Образование через власть – это образование через партию, через секту, временно одержавшую победу; это образование в угоду какой-то идеи, какой-то из ряда вон выходящей системы. «Мы сделали республику, – говорил Робеспьер, – нам остается сделать республиканцев». И такая попытка была повторена в 1848 г. Бонапарт хотел делать только солдат, Фрейсину³⁰ – только богомольцев и святош, Виллемен³¹ – только ораторов и краснобаев, г-н Гизо³² – только доктринеров, Анфантен³³ – только сен-симонистов, а тот, кто сейчас возмущается столь глубоким падением человечества, если он займет положение, при котором сможет сказать: «Государство – это я», – такой человек, наверное, поддастся искушению сделать всех экономистами. Да разве не бросается в глаза опасность дать в руки дерущимся между собой за власть партиям повод и возможность навязать всем и навязать единообразно свои убеждения – да что я говорю? – свои заблуждения, причем навязать силой? Ибо что может быть заманчивее, чем применение силы, чтобы законодательным путем запретить всякую другую идею, кроме той, которая внедрилась в собственную голову?

Подобная претензия есть, по существу, претензия монархическая, хотя все считают себя республиканцами, потому что она зиждется на допущении, что все управляемые существуют для управителей, что общество принадлежит власти и что власть должна перекроить общество по своему образу и подобию, тогда как согласно нашему государственному праву, купленному дорогой ценой, власть исходит от общества и призвана выражать интересы и чаяния общества.

Что до меня, то я не могу постичь, как это так получается, что республиканцы охотно признают и одобряют существование абсурдного порочного круга: из года в год, посредством всеобщего голосования, национальная идея воплощается в магистратах, но тотчас эти магистраты, будучи избранными, коречат на свой лад национальную идею.

Такая доктрина, по всей логике вещей, ведет к двум утверждениям: национальная идея ложна, правительственная идея безупречна.

А если так, то вы, республиканцы, восстанавливайте себе на здоровье все сразу – автократию, государственное образование, богоданную законность и право, абсолютную власть, безответственную и безупречную, все институты, действующие по одному принципу и питаемые одним источником.

Если есть в мире безупречный человек или безупречная секта, отдадим ему или ей не только образование, но и вообще все властные полномочия, и покончим с этим делом. Будем просвещаться как сможем, но не отречемся от системы.

И вот я повторяю мой вопрос: с социальной точки зрения, реализует ли свободу закон, который мы сейчас обсуждаем?

Существовал когда-то университет. Всякому, кто хотел заниматься преподаванием, требовалось его разрешение. Он внедрял свои идеи и методы, и каждому приходилось их усваивать. Так что он был, если воспользоваться мыслью Лейбница, учителем поколений и, видимо, поэтому ректор университета носил многозначительный титул «великого магистра».

Теперь все это ушло в прошлое. За университетом остались два предназначения: 1) право определять, что именно следует знать, чтобы получить ту или иную ученую степень; 2) право закрывать множество путей для карьеры тем, кто не подчиняется первому праву.

Да это пустяк! – говорят многие. А я говорю: такой пустяк есть все.

Это заставляет меня хотя бы кратко высказаться об одном слове, которое часто произносится в нынешних дебатах. Слово это – «единство». Немало людей усматривают в бакалаврской системе способ придать всем интеллектам определенное направление, пусть не совсем разумное и полезное, но по крайней мере единообразное и уже этим хорошее.

Сторонников и почитателей единства очень много, да оно и понятно. В силу некоего провиденциального указания все мы верим в правоту нашего собственного суждения и полагаем, что нет в мире другого истинного и справедливого суждения, кроме нашего. Поэтому мы полагаем, что законодатель поступит наилучшим образом, если навяжет его всем, а для большей надежности мы все сами хотим стать законодателями. Однако законодатели приходят и уходят, и что же получается? А получается то, что при каждой перемене их состава одно единство заменяется другим. Государственное образование, обеспечивающее его единообразие, рассматривается и определяется отдельно для каждого периода. И если выстроить эти периоды в один ряд – например, Конвент, Директорию, империю, реставрацию, Июльскую монархию, республику, – то мы увидим необыкновенное разнообразие и, хуже того, увидим самое подрывное из всех разнообразий, а именно то, которое совершает перемены в интеллектуальной сфере прямо на глазах у всех, как в театре, где по своему произволу орудуют машинисты сцены. Неужели мы так и будем оставаться наблюдателями падения национального интеллекта, общественного сознания до самого дна, до недостойной и позорной низости?

Есть два сорта единства. Первый – это исходный пункт. Единство устанавливается силой, вернее теми, кто обладает силой в тот или иной момент. Другой сорт – это результат, большое, так сказать, потребление способностей человека к самосовершенствованию. Такое единство проистекает из естественного тяготения интеллектов к правде, к истине.

Первый сорт, или вид, единства имеет своим принципом презрение к роду человеческому, а инструментом – деспотизм. Робеспьер был приверженцем единства, унитаристом, когда говорит: «Я сделал республику, теперь я буду делать республиканцев». Наполеон был унитаристом, когда говорил: «Я люблю войну, и я сделаю всех французов воинами». Фрейсину был унитаристом, когда говорил: «Я верую, и с помощью образования я заставлю разделять мою веру всех». Прокруст был унитаристом, когда говорил: «Вот ложе, и я укорочу или удлиню всякого, кто не будет соответствовать его размерам». Бакалаврская система унитарна, когда говорит: «К социальной жизни не будет доступа никому, кто не выполнит мою программу». И пусть не ссылаются на то, что Высший совет сможет каждый год менять эту программу, ибо невозможно придумать что-нибудь более серьезное, чем уже сказанное. А как же? Ведь вся нация уподоблена глине, и горшечник может разбить горшок вдребезги, если ему покажется, что изделие у него не получилось.

В своем докладе в 1844 г. г-н Тьер прямо-таки восторгался такого рода единством и очень сожалел, что оно мало соответствует гению современных народов.

«Страна, где не господствует свобода образования, – говорил он, – это такая страна, где государство, вдохновленное собственной абсолютной волей, желающее вливать молодежь, как металл, в одну и ту же форму, чеканить ее как монету со своим собственным, государства, изображением, не терпит никакого разнообразия в системе образования и заставляет детей многие годы жить под одной крышей, кормит их одной и той же пищей, обучает их одним и тем же предметам, заставляет делать одни и те же упражнения, сгибает и ломает их...» и т. д.

«Остережемся, однако, – добавляет он, – осуждать это намерение государства обеспечить единство нации, остережемся называть его проявлением тирании. Напротив, почти можно сказать, что такая сильная воля государства привести всех граждан к общему типу образования пропорциональна патриотизму в стране. В античных республиках, где отечество обожали и верно служили ему, эта воля выражалась в самых строгих требованиях к нравам и умонастроениям граждан... И мы, которые в прошедшем веке являли собой все грани человеческого общества, мы, побывав афинянами вместе с Вольтером, спартанцами вместе с Конвентом, солдатами Цезаря при Наполеоне, хотя мы и подумывали об установлении абсолютной власти государства над образованием, но мы думали так при Национальном конвенте, то есть в момент высочайшего взлета патриотизма».

Воздадим должное г-н Тьеру. Он не предлагал следовать этим примерам. «Не нужно, – говорил он, – ни подражать, ни бичевать. Это был иступленный восторг, но восторг патриотизма».

И все-таки г-н Тьер остается верен своему суждению о древности: «Античность – вот самое прекрасное в мире». В его словах проглядывает тайное предрасположение к абсолютному деспотизму государства, инстинктивное восхищение институциями Крита и Лакедемона, которые давали законодателю власть бросать всю молодежь в плавильный котел, чеканить из нее монету с изображением законодателя и т. д., и т. п.

Снова и снова не могу не проследить здесь – ибо это входит в мою тему – следы классического конвенционализма, который побуждает нас восторгаться античностью и считать добродетелью то, что было результатом самой жестокой и самой безнравственной необходимости. Восхваляемые нами древние – и я не устану повторять это – жили разбоем и грабежом и не прикасались к орудиям труда. Весь род человеческий был их врагом. Они обрекли себя на вечную войну, и перед ними стояла вечная альтернатива: всегда побеждать или погибнуть. Поэтому у них не было и не могло быть иного ремесла, кроме как быть солдатом. Их сообщество вынуждено было единообразно развивать у всех граждан воинские качества, и граждане подчинялись именно такому единству, потому что оно было гарантией их собственного существования³⁴.

Но что общего между этими варварскими временами и временами нынешними?

По какому конкретному и определенному объекту могут сегодня дружно ударить все граждане, вылитые как одна монета с одним изображением? Неужели все они предназначают себя для разных, но всегда высоких карьер? На чем они основываются бросаясь в общий плавильный котел, и кому принадлежит этот котел? Вопрос чрезвычайно сложен, и над ним надо много размышлять. Кому принадлежит котел? Если он один (не бакалаврство ли?), то каждый хочет не быть расплавленным, а быть плавильщиком – г-н Тьер, г-н Паризи³⁵, г-н Бартеlemi Сент-Илер, я, красные, белые, синие, черные. Приходится, значит, биться друг с

другом, прежде чем решить этот предварительный вопрос, который все время появляется вновь и вновь. А не проще ли разбить вдребезги этот чертов котел и спокойно провозгласить свободу?

Это тем более проще и лучше, что свобода есть та почва, на которой произрастает подлинное единство, окруженное животворящим воздухом. Конкуренция способствует появлению добротных методов всяческих действий, универсализирует их и устраняет методы негодные. Ведь было бы вполне правомерно признать, что дух человеческий самым естественным образом больше тяготеет к истине, чем к заблуждению, больше склоняется к добру, чем к злу, больше ценит полезное, чем губительное. Если бы дело обстояло иначе, если бы истине было естественным образом уготовано падение, а лжи взлет, то все наши усилия были бы тщетны, и человечество фатально скатывалось бы, как полагал Руссо, к неминуемой и прогрессирующей деградации. Тогда надо было бы повторить вслед за г-ном Тьером: «Античность – это самое прекрасное в мире», – и это выражало бы не только заблуждение, но и проклятие вместе с богохульством. Интересы людей, если их верно понимать, взаимно гармоничны, и понять это помогает свет, брызжащий все ярче и ярче. Поэтому индивидуальные и коллективные усилия, опыт, даже движение ощупью, даже огорчения и разочарования – одним словом, конкуренция, свобода – побуждают людей тянуться к такому единству, которое есть выражение законов их природы и реализация всеобщего благосостояния и благополучия.

Как же так получилось, что либеральная партия впала в столь странное противоречие, не признавая свободу, достоинство, способность людей к самосовершенствованию и предпочитая всему этому противоестественное и фальшивое единство, которое ведет к застою, деградации и навязывается людям всеми деспотическими режимами ради господства самых разнообразных, но всегда тоже деспотических систем?

Причин тому несколько. Прежде всего, эта партия несет на себе, как все и вся, римскую печать классического образования. Разве жокаками ее не были бакалавры? Далее, она надеется заполучить, через все парламентские перипетии, драгоценный инструмент, все тот же интеллектуальный котел, вожделенный предмет, согласно г-ну Тьеру, все вожделений и амбиций. Наконец, вынужденная оборона против агрессии Европы в 92-м году немало способствовала во Франции идее могучего единения и единства.

Однако из всех мотивов, побудивших либерализм, партию свободы, пожертвовать свободой, оказалось опасение того, что все образование будет захвачено церковью.

Я не разделяю такого опасения, но понимаю его.

Вы только посмотрите, говорит нам либерализм, какое положение занимает во Франции церковь, как продуманна ее иерархия, как крепка ее дисциплина, как сильна ее милиция из сорока тысяч священнослужителей, причем все они холосты и все занимают ключевые посты в каждой коммуне страны; церковь пользуется огромным влиянием благодаря самой природе своих функций, и влияние свое она извлекает из непротиворечивых и авторитетных слов, произносимых с церковных кафедр и в исповедальнях; она связана с государством через бюджет, предусматривающий расходы на церковные нужды; она также связана со своим духовным руководителем, который одновременно является иностранным монархом; ее поддерживает некая преданная ей и активно действующая компания; церковь собирает всякие лепты и пожертвования, которыми распоряжается по своему усмотрению. Вы только взгляните, ведь своей первейшей обязанностью она считает овладение системой образования, и вы должны признать, что в таких условиях свобода образования есть чистойшей обман.

Нужен целый том изысканий, чтобы досконально разобрать этот обширный вопрос и другие вопросы, связанные с ним. Я ограничусь одним общим и кратким утверждением:

При свободном режиме не церковь овладеет образованием, а образование овладеет церковью. Не церковь отчеканит из нашего века монету со своим изображением, а наш век

преобразит церковь по своему образу и подобию.

Разве можно сомневаться, что образование, вызволенное из университетских пут, освобожденное от классического конвенционализма благодаря упразднению ученых степеней, устремится вперед, возбуждаемое соревновательским духом, по новым и благодатным путям? Свободные институты, которые вырастут среди всех этих лицеев и семинарий, почувствуют необходимость дать человеческому уму подлинную пищу, а именно науку о том, что представляют собой вещи в действительности, а не науку о том, что говорили о вещах две тысячи лет тому назад. «Античные времена, – сказал Бэкон, – это детство мира, и, собственно говоря, античность есть наше время, потому что мир приобретает знания и опыт с возрастом, старея»⁴. Изучение творений Бога и изучение творений природы как в нравственном ракурсе, так и в ракурсе материальном, – вот истинное образование, вот то, что будут преподавать в свободных учебных заведениях. Получив такое образование, молодые люди по силе своего интеллекта, по здравости суждений, по приспособленности к жизненной практике будут гораздо выше ужасных маленьких риториков, чьи мозги перенасыщены ложными и устаревшими доктринами. И если первые будут хорошо подготовлены к исполнению социальных функций нашего времени, то вторым придется сначала забыть все, чему их учили, а потом уже выучиться тому, что им крайне необходимо знать. Чувствуя и предвидя такие результаты, отцы семейств все больше будут предпочитать свободные школы, полные жизненных соков, другим школам, гнущимся под гнетом рабской рутины.

И что же получится? А получится то, что церковь, всегда ревностно стремящаяся сохранить свое влияние, тоже вынуждена будет преподавать вещи, а не слова, позитивные истины, а не условные доктрины, субстанцию, а не ее видимость.

Однако, чтобы что-то преподавать, надо что-то знать, а чтобы знать, надо выучиться. Поэтому церковь будет вынуждена переменить направление всей своей системы обучения, и даже в семинариях будут преподавать по-новому. Другая пища создаст другое настроение. Хочу предупредить, что речь идет не только о перемене предмета учебы, но и о перемене самих методов клерикального образования. Знание творений Бога и знание природы приобретаются иными способами, нежели единственно теогонией. Наблюдать факты и их взаимосвязь – это одно; зубрить без всякого усвоения табуированный текст и делать умозрительные выводы – это совсем другое. Когда наука заменяет наитие, тогда изучение заменяет авторитет, а философский метод заменяет метод догматический; новая цель требует новых методов, а новые методы прививают уму и духу новые привычки и установки.

Вхождение науки в семинарии, что будет непреложным результатом свободы образования, несомненно изменит интеллектуальные привычки и навыки в этих институтах. И это будет, как я убежден, великой и желаемой революцией, венцом которой будет религиозное единство.

Я говорил выше, что классический конвенционализм превращает всех нас в живые противоречия – нас, французов по доставшейся нам судьбе и римлян по воспитанию и образованию. Но разве нельзя сказать и с религиозной точки зрения, что мы и здесь живые противоречия?

Все мы чувствуем в глубине сердец непреодолимое тяготение к религии, и в то же самое время мы умом постигаем не менее могущественную силу, которая отдаляет нас от религии, и это тем более так, что интеллект наш стал достаточно развитым; потому-то один из великих

⁴ Действительно, правильно говорится: «Древнее время – молодость мира». И конечно, именно наше время является древним, ибо мир уже состарился, а не то, которое отсчитывается в обратном порядке, начиная от нашего времени. (Фрэнсис Бэкон. «О достоинстве и приумножении наук». Книга 1.)

умов выдвинул девизом: «Наука минус вера»³⁶.

О, какое печальное зрелище! С некоторых пор мы слышим стенания по поводу ослабления религиозной веры, и – странная вещь! – те самые люди, в чьих душах угасла последняя искра веры, так вот они-то и усматривают дерзкое и греховное сомнение... у других. «Усмири свой разум, – говорят они народу, – иначе все погибнет. Я-то могу руководствоваться моим разумом, ибо он у меня скроен по-особому, и чтобы соблюдать Десять заповедей, мне нет нужды считать их богоданными. Даже когда я несколько нарушаю их, зло невелико. Но ты, ты – иное дело, ты не можешь нарушать их, не угрожая всему обществу... и моему покою».

Вот так трусость ищет прибежища в лицемерии. Они не веруют, но делают вид, что веруют. Они скептики, их религиозность расчетлива и поверхностна. Здесь проявляет себя новый конвенционализм, конвенционализм в своем худшем варианте, позорящий человеческий разум.

Тем не менее не все тут – сплошное лицемерие. Хотя они и не веруют и чужды церковной практике, все-таки в сердце каждого, как заметил Ламеннэ, находится неиссыхающий корень веры.

Почему же складывается такая странная и опасная ситуация? Не потому ли, что к первостепенным и фундаментальным религиозным истинам, от которых по некоему общему согласию не отреклась ни одна секта и ни одна школа, со временем примешались институты, практика, ритуалы, которых никак не может терпеть подлинный интеллект? И разве все эти примешивания сугубо человеческого происхождения имеют какую-либо иную опору, даже по мнению церкви, нежели догматизм, который-то и примешивает все лишнее к исходным и бесспорным истинам?

Религиозное единство наступит, но наступит только тогда, когда каждая секта откажется от паразитических институций, только что мной упомянутых. Вспомним, как удачно высказывался Боссюэ в своем споре с Лейбницем о способах привести к единству все христианские конфессии³⁷. А то, что можно было с успехом сделать доктору семнадцатого века, разве это так уж не по силам докторам девятнадцатого века? Как бы там ни было, свобода образования, прививая церкви новые нравы и обычаи в сфере интеллекта, послужит, конечно же, одним из мощнейших инструментов великого религиозного обновления, которое только оно одно и способно удовлетворить совесть и сознание и спасти общество³⁸.

Общество нуждается в высокой нравственности, поддерживаемой волей и во имя Бога, нравственности, которая оказывает на общество безграничное влияние. Однако опыт показывает, что ничто не развращает людей больше, чем безграничное влияние. Случаются времена, когда духовенство упорно твердит, что оно есть инструмент религии, а на самом деле религия оказывается инструментом духовенства. И тогда в мире воцаряется фатальный антагонизм. Вера и интеллект, каждый со своей стороны, тянет на себя все и вся. Священник непрестанно добавляет к священным истинам ошибки и заблуждения, которые провозглашает тоже священными, предоставляя тем самым светской оппозиции все более и более веские мотивы, все более и более серьезные аргументы в борьбе против церковного засилия. Одни протаскивают ложное вместе с истинным. Другие расшатывают истинное вместе с ложным. Вера подменяется суеверием, философия – безверием. Между этими двумя крайностями масса людей раскачивается в сомнениях, как на волнах, и можно сказать, что человечество переживает критическую эпоху. А тем временем пропасть становится все глубже, борьба ожесточается, и борются уже не человек с человеком, вернее не только человек с человеком, а борьба идет внутри самого индивида, в его сознании и совести, причем исход борьбы никому не ясен. Как только возникает угроза политических потрясений³⁹, общество из страха устремляется к религии, берет верх своего рода лицемерная религиозность, и священник

думает, что он победил. Но едва восстанавливается спокойствие, едва священник пробует как-то использовать свою победу, как тут же интеллект возвращает себе свои права и возобновляет свое дело. Когда же кончится такая анархия? Когда возникнет и окрепнет альянс между интеллектом и верой? Это будет тогда, когда вера перестанет быть оружием, когда духовенство, ставшее тем, чем должно быть, откажется от выгодных для самого себя форм действий и будет действовать в интересах человечества. Вот тогда-то и можно будет сказать, что религия и философия – сестры, тогда можно будет утверждать, что они слиты в единстве.

Но я спускаюсь с этих заоблачных высот и, возвращаясь к университетским степеням, я задаюсь вопросом, неужели церкви так уж трудно оставить в стороне рутинные пути классического образования, причем, кстати сказать, она даже и не обязана этого делать?

Довольно забавно видеть, как платоновский коммунизм, язычество, идеи и нравы, порожденные рабством и разбоем, оды Горация, метаморфозы Овидия находят своих последних защитников и профессоров в лице священнослужителей Франции. Не мне давать им советы. Но, как мне кажется, они позволяют мне привести выдержку из одной газетной статьи, тем более что газетой этой, если я не ошибаюсь, руководят представители церкви:

«Кого из докторов церкви можно назвать апологетами языческого образования? Святого Клемента, который писал, что светская наука подобна фруктам и сладостям, которые подают к концу трапезы? Оригена, который писал, что золоченые кубки языческой поэзии наполнены смертельными ядами? Тертуллиана, который называл языческих философов патриархами ересей? Святого Иренея, который говорил, что Платон служил приправой ко всем ересям? Лактанса, который отмечал, что в его время начитанные люди были меньше всего людьми верующими? Святого Амвросия, который говорил, что для христиан очень опасно упражняться в светском красноречии? Наконец, не святой ли это Иероним, который, гневно осуждая учение и изучение язычников в своем письме к Евстахию, который задавался такими вопросами: что может быть общего между светом и тьмой, какое согласие может существовать между Христом и Велиаром⁴⁰, какое дело Горацию до Псалтыри, а Вергилию до Евангелия?.. Святой Иероним, горько сожалевший о времени, потраченном в юности на изучение языческих текстов, говорил: «Несчастный, я лишил себя пищи, чтобы не расставаться с Цицероном; с раннего утра у меня в руках был Плавт. И если порою, возвращаясь домой, я немного читал пророков, их стиль и манера казались мне какими-то грубыми, заскорузлыми, и все потому, что, будучи слепым, я отрицал свет».

А теперь послушаем святого Августина:

«Время, когда я сам выбирал свое чтение и записывал мои собственные мысли, было для меня полезнее и насыщеннее, чем время, когда меня потом понуждали заниматься другими текстами, где описывались похождения какого-то там Энея и когда я плакал над участью Дидоны, умиравшей от любви; тогда я забывал мои собственные ошибки и грехи, забывал, что приближаюсь к смерти, предаваясь столь губительному чтению... Тем не менее эти безумные произведения называют прекрасной и честной литературой... Пусть они кричат на меня, эти торговцы изящной словесностью, я не боюсь их и всеми силами стараюсь сойти с дурных путей, по которым шел... Правда, я позаимствовал из нее немало выражений, которые полезно знать, но все это можно почерпнуть из других источников, а не из столь легкомысленных текстов, и следует вести детей менее опасными дорогами. Но кто может тебе противостоять, о ты, проклятый водопад привычек! Не ты ли меня

подхватил и понес, когда я читал историю Юпитера, который одновременно метал громы и молнии и предавался супружеским изменам? Все знают, что такое несовместимо, но с помощью этого надуманного водопада лишают молодых людей ужаса и отвращения перед изменой и заставляют их подражать деяниям богов-преступников.

И все-таки, о, адский поток, в твои воды бросают всех детей и превращают это гнусное занятие в великое дело. И все это делается принародно, на глазах судей и властей, да еще за немалую мзду... В нашем детстве хмельные учителя преподносили нам вино заблуждений; они наказывали нас, когда нам не хотелось его пригубить, и мы не могли обратиться даже к судьям, которые тоже были пьяны. Душа моя была во власти множества нечистых духов, ибо жертвы дьяволу приносятся множеством способов».

Эти красноречивые сетования, добавляет католическая газета, это горькое осуждение, эти трогательные сожаления, эти рассудительные и разумные советы, разве не адресованы они в той же мере нашему веку, как и веку, в котором жил и творил святой Августин? Разве не сохраняем мы, под именем классического образования, ту же самую систему обучения, против которой с такой силой восставал святой Августин? Разве не затопил весь мир бурный поток язычества? Разве мы не бросаем в него ежегодно тысячи детей, которые теряют в нем веру, добрые навыки и чувства, человеческое достоинство, свободолобие, знание своих прав и обязанностей и выходят оттуда пропитанные ложными идеями язычества, ложной моралью, ложными добродетелями, всяческими пороками и глубоким презрением к человечеству и человечности?

Такая ужасающая нравственная беспорядочность отнюдь не порождается, так сказать, добровольным извращением индивидуального характера, предоставленного самому себе. Нет, она узаконенно внедряется с помощью механизма университетских степеней. Сам г-н де Монталамбер, сожалея, что изучение античной литературы ведется недостаточно глубоко, в то же время привел выдержки из докладов инспекторов и деканов факультетов. Все они единодушно констатируют сопротивление – я бы сказал, почти мятеж – общественности столь абсурдной и губительной тирании. Все они отмечают, что французская молодежь со скрупулезной, математической точностью высчитывает, что нужно знать обязательно, а чего можно и не знать в области классического обучения, и ни на йоту не переходит предела, по сию сторону которого еще можно получить ту или иную степень. Разве так обстоит дело в других областях человеческого знания? Ведь общеизвестно, что там на десять мест претендует сотня человек, и подготовка каждого выше того, чего требуют программы. Так пусть же законодатель все-таки учитывает настрой публики и дух времени!

Но можно ли назвать варваром какого-нибудь запоздалого язычника, который решил бы выступить здесь и сейчас? Ведь он признал бы высшую красоту литературных памятников, унаследованных нами от античности, признал бы услуги, оказанные делу цивилизации греческими демократиями.

Нет, конечно, он не варвар. Приходится повторять и повторять, что закон может запрещать, но он не должен предписывать. Пусть закон предоставит людям возможность быть свободными. Они сами сумеют увидеть историю в ее истинном свете, сумеют восхищаться тем, что достойно восхищения, презирать достойное презрения и освободиться наконец от классического предубеждения, от конвенционализма, который есть незаживающая рана современного общества. В условиях свободы естественные науки и науки гуманитарные, христианство и язычество не исчезнут из системы образования, а займут в ней подобающее им место. Тем самым между идеями, обычаями и интересами установится, которая есть условие

порядка и упорядоченности как в индивидуальном сознании, так и во всем обществе.

Свобода, равенство¹

Смысл и значение слов переменчивы, как переменчивы сами люди. Вот вам два слова, которые человечество поочередно обожевляло и проклинали, так что философии трудно трактовать их хладнокровно. Было время, когда человек, пытавшийся изучать священные слова, рисковал головой, потому что изучение их предполагало сомнение или возможность сомнения. Сегодня надо с определенной осторожностью произносить эти слова в определенном месте, и место это – то самое, откуда выходят законы, управляющие Францией! Слава Богу, я говорю сейчас о свободе и равенстве лишь с экономической точки зрения. Поэтому я надеюсь, что название этой главы не взвинтит нервы читателя.

Но почему же получается, что иногда слово «свобода» заставляет учащенно биться сердца, зажигает энтузиазм людей и служит сигналом к героическим поступкам, а иногда, в других обстоятельствах, оно вылетает из охрипших глоток и сеет повсюду уныние и страх? Оно явно не всегда имеет одинаковое значение и не вызывает к жизни одних и тех же идей.

Не могу отказаться от убежденности в том, что немалую роль в такой аномалии играет наша сугубо римская система образования...

Многие годы слово «свобода» воспринимается всеми органами чувств нашей молодежи и несет с собой смысл, который трудно согласовать с современными правилами и обычаями. Мы превращаем его в синоним национального превосходства по отношению к загранице, а внутри страны оно обозначает очень условную справедливость при распределении военной добычи. Военная добыча распределялась между римским народом и сенатом, что порождало распри, драки и бои, слушая или читая рассказы о которых наши молодые души всегда берут сторону народа. В конце концов борьба на Форуме и свобода ассоциируются в наших умах с прочно укоренившимися идеями, которые сводятся к тому, что быть свободным значит бороться и что поле свободы есть поле битв...

Мы спешим поскорее окончить колледж, чтобы бушевать на площадях и улицах, выступая против «иностранных варваров» и «жадного патриция».

Так разве понимаемая так свобода не может не вызывать поочередного энтузиазма и страха среди трудящегося населения?..

Народы были и все еще остаются настолько угнетенными, что они могли и могут обрести свободу лишь в борьбе. Они решаются биться за свободу, когда угнетение становится невыносимым, и благодарны и признательны борцам за свободу. Но борьба эта часто бывает затяжной, кровавой, в ней перемешиваются победы и поражения, и она может породить нечто более худшее, нежели угнетение... Тогда народ, устав от борьбы, чувствует необходимость передышки. Он поворачивается против тех, кто продолжает требовать от него чрезмерных жертв, и начинает сомневаться в важности магического слова, ради которого его лишают безопасности и покоя и даже самой свободы...

Хотя борьба и нужна для завоевания свободы, но не будем забывать, что свобода не есть борьба, так же как порт не есть место для маневров кораблей. А такую путаницу создают политические публицисты и ораторы, напичканные римскими идеями. Массы таких вещей не путают. Борьба ради борьбы вызывает у них отвращение, и они придерживаются одной глубокой мудрости: есть некто, кто умнее умных людей, и этот некто – все люди, вместе взятые...

Общий, так сказать, фонд идей связывает между собой слова «свобода», «равенство», «собственность», «безопасность».

Свобода, этимологически связанная со словами «вес», «баланс», предполагает идею справедливости, равенства, гармонии, равновесия; все это исключает борьбу и представляет собой нечто обратное римскому толкованию.

С другой стороны, свобода выражает обобщенное понятие собственности. Принадлежат ли мне мои собственные способности, если я не волен приложить их к чему хочу, и не есть ли рабство полнейшее отрицание как собственности, так и свободы?

Наконец, свобода есть безопасность, так как безопасность означает гарантированную собственность применительно не только к настоящему, но и к будущему...

Поскольку римляне, и я особо подчеркиваю это, жили военной добычей и очень дорожили свободой, потому что, дорожа своей свободой, они имели рабов, то вполне понятно, что идея свободы была у них вполне совместима с идеями грабежа и рабства. Следовательно, такое же умонастроение должно владеть и всеми нашими поколениями, вышедшими из колледжей, а ведь эти поколения господствуют над миром. По их убеждению, собственность на продукт реализации способностей и собственность на сами эти способности не имеет ничего общего со свободой и остается бесконечно менее ценной, чем свобода. Поэтому теоретические нападки на собственность оставляют их равнодушными. Зато, когда в законах соблюдается некая симметрия и в них внешне присутствует филантропия, их очаровывает коммунизм такого рода...

Не надо думать, что эти идеи исчезают, когда исчезает первый пыл молодости, когда бывшая молодежь лишь вспоминает, как она, наподобие римских трибунов, будоражила весь город, как она участвовала в четырех или пяти мятежах, но на деле обеспечивает себе работу и приобретает собственность. Нет, эти идеи не исчезают. Разумеется, такие люди дорожат своей собственностью и энергично защищают ее, но не придают особого значения собственности чужой... Пусть на нее посягают, лишь бы это не выходило за рамки закона, и тогда все будет в порядке. Все мы льстим закону и пытаемся снискать его милостей, и как только закон одарит нас милостивой улыбкой, мы тотчас просим его посягнуть, ради нашей выгоды, на собственность или свободу другого... Все это делается с очаровательной улыбкой, притом не только теми, кто признает себя коммунистами или прокоммунистами, но и теми, то считает себя фанатичными приверженцами собственности, кого само слово «коммунизм» приводит в ярость, маклерами, фабрикантами, судовладельцами и даже самыми что ни на есть.

Размышления о поправке г-на Мортимера-Терно1,2

К демократам

Нет, я не ошибся адресатом, в моем сердце бьется сердце демократа. Так как же получается, что я зачастую оказываюсь в оппозиции к этим людям, провозглашающим себя единственными представителями демократии?

Надо объяснить. Не имеет ли это слово двух противоположных значений?

Мне думается, что имеется прямая связь между стремлением людей улучшать и совершенствовать свое материальное положение, интеллект и нравственность и теми способностями, которые даны человеку для осуществления этих целей.

Поэтому я хотел бы, чтобы каждый человек нес ответственность перед самим собой, свободно управлял собой и контролировал себя, свои действия, свое место в семье, свои торговые и прочие сделки, свое участие в разного рода ассоциациях, свой интеллект, способности, труд, свой капитал и свою собственность.

Именно так понимают в Соединенных Штатах свободу и демократию. Каждый гражданин там бдительно следит за тем, чтобы оставаться хозяином самого себя. Поэтому в этой стране

бедный всегда надеется выйти из бедности, а богатый – сохранить богатство.

И в самом деле, мы видим, что за очень малый срок американцы достигли такого уровня энергии, безопасности, богатства и равенства, какого не найдешь нигде больше в анналах человеческой истории.

Тем не менее там тоже, как и повсюду, имеются люди, которые без зазрения совести посягнули бы и посягают ради личной выгоды на свободу и собственность своих сограждан.

Вот почему, чтобы предотвратить акты, продиктованные столь постыдной склонностью, или наказать за них, вмешивается закон, опирающийся на общую, совместную силу.

Каждый, в меру своего достояния и достатка, содействует поддержанию этой силы. Это не значит, хотя некоторые утверждают обратное, жертвовать частью своей свободы, чтобы сберечь другую часть. Напротив, это самый простой, самый справедливый, самый действенный и самый экономичный способ гарантировать подлинную свободу всех.

Одна из труднейших политических задач – сделать невозможным, чтобы сами обладатели совместной силы не творили того, чему обязаны противостоять.

Однако французские демократы, по-видимому, совсем иначе смотрят на такие вещи.

Разумеется, они, как и демократы американские, осуждают, отвергают и бичуют кражи и грабежи, совершаемые одними гражданами в ущерб другим, осуждают и бичуют всякое посягательство на собственность, труд, свободы со стороны одного индивида по отношению к другому индивиду.

Но такие деяния, отвергаемые ими, когда речь идет о взаимоотношениях между индивидами, признаются ими как некий способ сделать всех равными, и они передоверяют закону и совместной силе как раз то, против чего они должны бороться.

В то время как американские демократы, создав общие силы для наказания за индивидуальные посягательства, очень и очень заботятся о том, чтобы эти общие силы не совершали преступлений, французские демократы создают систему, душой, так сказать, которой является превращение таких сил в орудие грабежа.

Этой своей системе они дают громкие имена организации, ассоциации, братства, солидарности. Тем самым они поощряют самые ненасытные аппетиты.

«Пьер беден, Мондор богат. Но разве они не братья, разве не солидарны между собой, разве не надо их ассоциировать, организовать? Пусть они любовно поделят между собой всякие блага, и дело примет наилучший оборот. Правда, Пьер не должен ничего брать у Мондора. Но мы примем законы и создадим силы, которые урегулируют это дело. И тогда пусть Мондор только попробует сопротивляться, а совесть Пьера будет чиста и спокойна».

В период нынешнего созыва Собрания случилось немало самых отвратительных проявлений кражи и грабежа. Но наиболее отвратителен закон, принятый во благо богатых и в ущерб бедных.

Даже «гора» хлопает в ладоши. Так что же, она делает это из принципа? Когда при поддержке парламентского большинства узаконенное ограбление бедных в пользу богатых будет закреплено и систематизировано, можно ли будет предотвратить обратный процесс – законное ограбление богатых в пользу бедных?

О, несчастная страна, где силы, которые считаются священными и призваны защищать права каждого, сами занимаются нарушением, попранием прав!

Вчера на заседании Законодательного собрания мы были зрителями одной из сцен гнусной и зловещей комедии, которую вполне можно назвать «комедией одуроченных».

Вот о чем шла речь:

Каждый год 300 тысяч детей достигают 12-летнего возраста. Из этих 300 тысяч примерно 10 тысяч поступают в государственные колледжи и лицеи. Все ли их родители богаты? В точности не знаю. Но вполне можно утверждать, что в целом это самые богатые родители в стране.

Естественно, они должны платить за питание, образование и всяческое обеспечение своих детей. Но они считают, что это слишком дорого. Тогда они потребовали и добились принятия закона, согласно которому вводятся налоги на напитки и соль, то есть изымаются деньги у миллионов бедных родителей и распределяются среди родителей богатых в виде всяких вспомоществований, поощрений, возмещений, пособий и т. д., и т. п.

Г-н Мортимер-Терно попробовал было добиться прекращения этого безобразия, но его усилия оказались тщетными. Крайние правые сочли довольно мягкой мерой заставить бедняков оплачивать образование детей богачей, а крайние левые решили воспользоваться случаем, чтобы провести и санкционировать систему узаконенного грабежа.

И вот я задаюсь вопросом: куда мы идем? Ведь нужно же, чтобы Собрание руководствовалось какими-то принципами, нужно, чтобы оно отстаивало справедливость повсюду и для всех, иначе оно погрязнет в системе законного и взаимного грабежа и дойдет до «чудеснейшей» уравниловки всех средств и условий существования людей, то есть до коммунизма.

Вчера оно объявило, что бедные будут платить налоги, чтобы облегчить положение богатых. Так сможет ли оно воспрепятствовать вполне возможному предложению ввести налоги на богатых, огромные налоги, чтобы облегчить положение бедных?

Хочу напомнить, что, выступая перед моими избирателями, я сказал: «Вы сами несете ответственность за ваше собственное существование. Вы должны своим трудом, своими усилиями, своей энергией добывать себе питание, одежду, жилище, свет и тепло, добиваться благополучия и, быть может, даже богатства. Правительство лишь должно вас оберегать от всяких помех на этом пути, оберегать против несправедливых наскоков и налетов. А чтобы быть в состоянии делать это, оно обложит вас очень скромным, но совершенно необходимым налогом».

И тут же раздались восклицания: «Нам от него ничего другого и не надо!»

А сегодня в каком жалком и плачевном положении я оказался, если бы выступил перед этими беднягами-тружениками, честнейшими ремесленниками, отменными работниками с такой речью:

«Вы платите больше налогов, чем ожидали. У вас меньше свободы, чем вы надеялись. Отчасти это случилось по моей вине, так как я самоотстранился от правительственной системы, ради которой вы меня избрали. 1 апреля я проголосовал за увеличение налогов на соль и напитки, чтобы помочь небольшому числу наших соотечественников, устраивающих своих детей в государственные колледжи».

Что бы там ни произошло, я надеюсь, что мне никогда не придется оказаться перед жалкой и смешной необходимостью говорить нечто подобное людям, которые оказали мне доверие.

Война кафедрам политической экономии¹

Известно, с какой горечью люди, которые ради собственной выгоды ограничивают

торговые обмены других людей, сетуют на то, что политическая экономия упорно не желает восхвалять достоинства подобных ограничений. Хотя они и не могут упразднить науку, они все-таки хотят убрать ее представителей, восприняв от инквизиции такую мудрость: «Вы хотите одолеть ваших противников? Заткните им рот».

Поэтому мы нисколько не удивились, узнав, что в связи с законопроектом об организации факультетов они направили г-ну министру образования пространную записку, и вся наша статья будет состоять из выдержек из нее:

«О чем вы думаете, г-н министр? Вы хотите ввести на факультетах преподавание политической экономии! Разве это не означает неуважения к нашим привилегиям и ущемления их?..

Если вообще существует похвальная мудрость, то вот она: в любой стране образование должно находиться в гармонии с принципом правления. Уж не полагаете ли вы, что в Спарте или Риме казна оплачивала бы профессоров, выступающих против военной добычи или рабства? Неужели вы думаете, что во Франции позволено дискредитировать торговые ограничения?..2

Природа, г-н министр, распорядилась так, что общества могут существовать лишь благодаря продуктам труда, и в то же время она сделала труд тягостным. Вот почему во все времена и во всех странах наблюдается среди людей неизлечимая страсть похищать плоды труда друг у друга. Ведь как легко и приятно взвалить труд на соседа, а себе взять его плоды!..

Война – вот первейший способ достижения такой цели. Нет ничего другого, более краткого по времени и более простого, чтобы завладеть чужим достоянием...

Затем наступило рабство. Это уже более тонкий способ, и доказано, что этим был сделан большой шаг в развитии цивилизации: пленников перестали убивать, заставляли служить себе...

Наконец, на смену этим двум грубым формам грабежа пришла другая форма, куда более утонченная, которая, ввиду утонченности, получила больше шансов на долгое существование, тем более что самое ее название «протекция», значит защита, прекрасно маскирует одиозную суть. Вам, конечно, известно, как сильно меняют содержание вещей их наименования...

Как видите, г-н министр, выступать сегодня против протекции – это то же самое, что выступать против войны и рабства в древние времена. Там и тут это означает потрясать социальный порядок и нарушать спокойствие очень уважаемого класса граждан. И если языческий Рим проявил великую мудрость и прозорливый консерватизм, преследуя новую секту, выступавшую с опасными речами о мире и братстве, то с какой стати нам нужно сегодня щадить профессоров политической экономии? Однако наши нравы столь мягки и наша скромность столь велика, что мы не требуем, чтобы вы отдали их на съедение диким зверям. Запретите им лишь говорить, и мы будем довольны...

По крайней мере, если они привыкли выступать так рьяно, нельзя ли их поумерить и сделать беспристрастными? Не могут ли они приладить свою науку к нашим желаниям? По каким-таким роковым обстоятельствам профессора политической экономии всех стран поклялись оборачивать против ограничительной системы оружие своих доводов? Да, эта система, этот режим имеет некоторые неудобства, но он имеет и преимущества, ибо нам он вполне подходит. Не могли бы господа профессора несколько затемнить неудобства и несколько выпятить выгоды?...

Впрочем, для чего вообще водятся ученые, если не для того, чтобы делать науку. Кто мешает им изобрести особую политическую экономию специально для нас? Ясно, что они просто злобствуют. Когда святая инквизиция Рима нашла дурным, что Галилей заставил вертеться Землю, этот великий человек решительно остановил планету. Он сказал об этом,

опустившись на колени. Правда, говорят, что, поднявшись с колен, он пробормотал: «А все-таки она вертится». Так пусть наши профессора тоже провозгласят всенародно и на коленях, что свобода не стоит ничего, и мы их извиним, если потом они процедят сквозь зубы: «А все-таки она вертится»...

Но мы может быть еще более скромными и нетребовательными. Вы, разумеется, согласитесь, г-н министр, что человеку надо всегда быть беспристрастным. Так вот. Поскольку в мире существуют две сталкивающиеся друг с другом доктрины – одна гласит «освободите обмен», другая «мешайте обмену», – то уравнийте их между собой и позвольте преподавать ту и другую. Отдайте соответствующее распоряжение нашей политической экономии...

Разве не обескураживает нас зрелище, которое являет нам нация, упорно стоящая на стороне свободы, и не должна ли она более равномерно распределить свою благосклонность? Но нет, не успеют создать кафедру, как тотчас на ней появляется, наподобие головы Медузы, голова приверженца свободной торговли...

Пример задал Ж.-Б. Сэй, и за ним поспешили последовать господи Бланки³, Росси⁴, Мишель Шевалье⁵, Жозеф Гарнье⁶. Что с нами было бы, если бы ваши предшественники не позаботились подобное губительное преподавание. Как знать? Быть может, уже в нынешнем году мы страдали бы от дешевизны хлеба...

В Англии Адам Смит, Стюарт⁷, Сениор и тысяча им подобных устроили такой же скандал. Больше того, Оксфордский университет создает кафедру и приглашает на нее – кого вы бы думали? – будущего архиепископа⁸. И вот г-н архиепископ принимается учить, что религия едина с наукой в том, чтобы отнять у нас ту часть наших прибылей, которая связана с ограничительным режимом торговли. И что получилось? Мало-помалу общественность поддалась обольщению, и года через два будут иметь несчастье быть свободными в своих продажах и покупках. Что ж, пусть разорятся, они того заслужили!...

То же самое в Италии. Короли, князья и герцоги, большие и малые, имели неосторожность допустить у себя экономическое образование, предварительно не позаботившись обязать науку излагать взгляды, благоприятствующие ограничениям. Множество профессоров, таких как Дженовези⁹, Беккариа¹⁰, а в наши дни г-н Сциалоджа¹¹, начали, как и следовало ожидать, проповедовать свободу, и вот вам Тоскана, свободная в своих обменах, вот вам Неаполь, собственноручно зарубивший свои тарифы...

Вам, конечно, известно, какие результаты имело в Швейцарии интеллектуальное движение, которое всегда направляло умы к экономическим знаниям. Швейцария свободна, она находится посреди Европы, как свеча, вставленная в канделябр, и всегда готова чинить нам помехи. Ибо, когда мы говорим, что свобода имеет следствием разрушение сельского хозяйства, торговли и промышленности, нам тут же указывают на Швейцарию. Одно время мы не знали что и ответить. Но, благодаря Небесам, газета «Пресс» вывела нас из затруднения, снабдив нас ценным аргументом: «Швейцария не утонула, потому что она маленькая...

Наука, эта проклятушая наука, угрожает залить своим грязным потоком Испанию. А ведь это классическая страна протекции. Посмотрите, как она расцвела! Мы уже не говорим о сокровищах, почерпнутых ею в Новом Свете, о богатстве ее собственной земли; достаточно сказать о запретительном режиме, чтобы объяснить тот уровень роскошества, которого она достигла. Однако в Испании тоже имеются профессора политической экономии, к примеру Ла-Сагра¹², Флорес Эстрада¹³, и вот сам министр финансов г-н Саламанка¹⁴ заявляет, что укрепляет положение Испании, пополняя и переполняя бюджет страны единственно благодаря мощи, которую приобрела торговля, став свободной...

Каких еще свидетельств и доказательств вы хотите, г-н министр? В России, например, есть только один-единственный экономист, но и тот выступает за свободный обмен...

Как видите, заговор всех ученых мира против торговых преград нагляден и вопиющ. Чего ради они так поступают? Да ничего ради! Они могли бы выступать за ограничения, и это ничем бы им не повредило. Они просто злобствуют ради злобствования. И такое их единодушие крайне опасно. А знаете ли вы, что об этом скажут в конце концов? Видя, как они согласны между собой, люди скажут, что объединяет их одна вера, та же самая, которая заставляет всех геометров мира, начиная с Архимеда, думать одинаково по поводу квадратуры гипотенузы...

Когда мы, г-н министр, умоляем вас распорядиться о преподавании двух взаимно противоположных доктрин, то это с нашей стороны лишь нижайшая просьба о помощи, так как мы предчувствуем то, что может случиться. А случиться может то, что, даже если станут преподаваться ограничения, то углубленное изучение проблемы вполне может привести к признанию свободы...

Лучше всего – это запретить раз и навсегда науку, прогнать ученых и вернуться к мудрым традициям империи. Вместо того чтобы создавать новые кафедры политической экономии, ликвидируйте, пожалуйста, те кафедры – к счастью, пока что немногочисленные, – которые все еще существуют. Знаете ли вы, как определяют политическую экономию? Ее определяют как науку, которая учит трудящихся оставлять у себя то, что им принадлежит. Совершенно ясно, что добрая четверть рода человеческого просто-напросто погибнет, если эта зловещая наука будет распространяться и дальше...

Так давайте же будем заниматься отличным и безвредным классическим образованием. Внедрим в головы нашей молодежи греческий и латынь. Если они с утра до вечера будут хором декламировать буколические гексаметры, разве это повредит нам? Пусть они живут душой в древнеримском обществе с его Гракхами и Брутом, с сенатом, где всегда говорят о войне, с Форумом, где всегда толкуют о военной добыче. Пусть они пропитаются нежной философией Горация:

Тра-га-та, тра-га-та, наша юность
Тра-га-та, тра-га-та, крепнет на войне.

К чему им вызубривать законы труда и обмена? Рим учит их презирать труд и не признавать иного обмена, нежели сохранение пленнику жизни в обмен на превращение его в раба. Правда, тут кроется некоторая опасность, хотя и небольшая. Молодежь станет немножко республиканской. У нее появятся странные идеи насчет свободы и собственности. В своем восхищении грубой силой она, быть может, будет искать ссоры со всей Европой и примется решать политические вопросы посредством уличных стычек. Это неизбежно и, говоря откровенно, г-н министр, все мы в той или иной мере оказались, благодаря Титу Ливию, в этой колее. Но в конце концов вы без особого труда преодолете эту опасность с помощью нескольких хороших жандармов. Но какую жандармерию сможете вы противопоставить подрывным идеям экономистов, этих дерзких смельчаков, которые написали в своей программе, в самом начале, как они определяют собственность, и это выглядит жутко: «Если человек сам произвел какую-то вещь, трудясь в поте лица своего, то, поскольку он вправе потребить ее, он также вправе обменять ее на другую вещь...»¹⁵

Нет и еще раз нет! Спорить с такими людьми, отвергать их мнение значит попусту терять время и усилия.

Кляп им в глотку, два кляпа, три кляпа!»

Торговый баланс есть не что иное как догмат веры.

Все знают, в чем он заключается. Когда страна ввозит, больше, чем вывозит, разница идет ей в убыток. Когда она вывозит больше, чем ввозит, излишек составляет ее прибыль. Это считается аксиомой, на основе которой законодатели принимают свои законы.

Руководствуясь такими соображениями, г-н Моген² предостерег нас позавчера и показал с цифрами в руках, что Франция умудряется добровольно вести убыточную внешнюю торговлю, теряя ежегодно 200 миллионов.

«Да вы понимаете ли, что за одиннадцать лет вы потеряли на вашей торговле два миллиарда!»

Затем, с присущей ему скрупулезностью, он подсчитал и поведал нам: «В 1847 г. вы продали фабричных изделий на 605 миллионов, а купили их только на 152 миллиона. Следовательно, вы выиграли 450 миллионов».

«Вы закупили натуральных продуктов на 804 миллиона, а продали их только на 114 миллионов. Следовательно, вы потеряли 690 миллионов».

Вот что значит извлекать – притом, так сказать, с беззаветной наивностью – всяческие следствия из абсурдного принципа! В вопросе о торговом балансе г-н Моген нашел способ заставить смеяться даже господ Дарбле³ и Лебефа⁴. Поздравляю его с успехом и завидую ему.

Позвольте мне теперь дать оценку тому мерилу, с помощью которого г-н Моге^т и все приверженцы запретительной системы подсчитывают прибыли и потери. Я сделаю это на примере двух торговых операций, которые я провел сам.

Я как-то был в Бордо. У меня была бочка вина стоимостью в 50 франков. Я отправил ее в Ливерпуль, и таможня записала в своих регистрах вывоз на 50 франков.

В Ливерпуле вино было продано за 70 франков. Мой сотоварищ купил на эти 70 франков каменного угля, который в Бордо был продан за 90 франков. Таможня поспешила зарегистрировать ввоз на 90 франков.

Торговый баланс дал, таким образом, излишек в 40 франков.

Я всегда полагал и писал об этом книги, что я заработал, или выиграл, эти 40 франков. Но г-н Моген меня учит, что я их потерял, а в моем лице потеряла их вся Франция.

Почему же г-н Моген усматривает здесь потерю? Потому что он полагает, будто всякий излишек, образующийся от превышения ввоза над вывозом, необходимым образом образует сальдо, которое должно оплачиваться звонкой монетой, в экю. Но где оно, это оплачиваемое сальдо, в операции, о которой я рассказал и которая как две капли воды похожа на все другие прибыльные торговые операции? Неужели так уж трудно понять, что всякий торговец сравнивает между собой текущие цены в разных местах и только тогда проводит свою операцию, когда уверен – или, по меньшей мере, рискует с шансом на успех, – что вывезенная ценность вернется к нему с приростом? Следовательно, то, что г-н Моген называет потерей, должно называться прибылью.

Спустя несколько дней после моей операции я все же испытал сожаление. Я был раздосадован, что не подождал эти несколько дней, потому что вино успело подешеветь в Бордо и подорожать в Ливерпуле. Если бы я не поторопился, я купил бы его за 40 и продал за 100 франков. Разумеется, моя прибыль была бы больше. Но я узнал от г-н Могена, что большей стала бы потеря.

Моя вторая операция, г-н издатель, имела совсем иной исход.

Я привез из Перигора трюфели, которые обошлись мне в 100 франков. Они предназначались для двух известных английских чиновников министерского уровня, которым я хотел продать их за весьма высокую цену, а выручку обратить в фунты. Увы, лучше бы я съел их сам (я говорю о трюфелях, а не о фунтах и не о тори)! Тогда я не потерял всего, как это случилось, потому что судно потерпело крушение, едва выйдя из порта. Таможне, которая зафиксировала вывоз на 100 франков, не пришлось потом фиксировать никакого ввоза.

Тем самым, скажет г-н Моген, Франция выиграла 100 франков, так как благодаря кораблекрушению именно на эту сумму вывоз превысил ввоз. Если бы дело обернулось иначе и я получил бы 200 или 300 франков в фунтах, то торговый баланс был бы отрицательным, и Франция понесла бы потерю.

С точки зрения науки грустно думать, что все торговые сделки, приносящие потери торговцам, оказываются прибыльными для страны, как полагают теоретики такого рода, которые, кстати сказать, всегда громогласно выступают против всякой теории.

С точки зрения практики это еще более грустно, ибо какие следствия приходится выводить?

Допустим, что г-н Моген получил власть (и в какой-то степени он уже получил ее в виду поддержавших его голосов) заменить своими расчетами и своей волей расчеты и волю торговцев и учредить, согласно его же собственным словам, «хорошую организацию торговли и промышленности в стране, что послужит стимулом для роста и развития национального труда». Ну, и как же конкретно он поступит?

Г-н Моген запретит, в законодательном порядке, все операции по закупкам по низкой цене внутри страны и продажам за границу по высокой цене и тем самым прекратит ввоз очень нужных нам продуктов потому, дескать, что это как раз те самые продукты, которые создают такое положение, при котором ценность ввоза превышает ценность вывоза.

В качестве некоей компенсации он будет терпимо относиться к сделкам и даже поощрять их премиями (то есть новым налогообложением народа) – к сделкам, которые будут основываться на правиле: покупать дорого во Франции и продавать дешево за рубеж. Иными словами, вывозить то, что нужно нам самим, и ввозить то, что нам совсем не требуется. Он, к примеру, даст нам полную свободу вывозить сыры из Парижа в Амстердам и ввозить модную одежду из Амстердама в Париж, ибо можно будет утверждать, что в таком случае торговый баланс сложится в нашу пользу.

Да, печальная, очень печальная получается картина; я бы осмелился даже сказать, картина деградации, когда законодатель не желает позволить заинтересованным лицам, купцам и дельцам, решать и действовать за самих себя, на свой страх и риск. При обычном порядке вещей каждый сам отвечает за себя и за свои действия; тот, кто ошибается, терпит, конечно, ущерб, но он же и учится на собственных ошибках и выправляет свое положение. Но когда вмешивается и что-то навязывает или запрещает законодатель, то если у законодателя засело в мозгу чудовищное заблуждение, получается, что его заблуждение становится правилом поведения целого народа, большой страны. Мы во Франции обожаем свободу, однако не очень понимаем, что же она собой представляет. О, давайте же станем лучше понимать ее, от этого наша любовь к ней не убавится!

Г-н Моген утверждал с невозмутимым апломбом, что в Англии не найдется ни одного государственного деятеля, который не был бы приверженцем торгового баланса. Подсчитав потери, вытекающие, по его мнению, из излишка нашего ввоза, он воскликнул: «Если бы вдруг так начали поступать в Англии, она вздрогнула бы, и каждый член палаты общин почувствовал бы, как под ним трясется его кресло!»

Я же утверждаю, что если бы в палате общин кто-то заявил: «Общая ценность вывозимого

из страны превосходит общую ценность ввозимого в нее», – вот тогда-то и пошла бы настоящая тряска, и я не думаю, что там нашелся бы хоть один оратор, который осмелился бы присовокупить: «И эта разница представляет собой прибыль».

В Англии убеждены в том, что для страны важно получать больше, чем она отдает. Кроме того, там замерили, что такова же тенденция всех торговцев, и поэтому там поддерживают их полную самостоятельность, и всякий торговый обмен там абсолютно свободен.

Изобилие1

Политическая экономия – большая и благородная наука, когда ее просто и спокойно излагают. Она позволяет видеть скрытые пружины социального механизма и, так сказать, органы, составляющие живые и великолепные тела, которые именуются человеческими сообществами. Она изучает общие законы, по которым род человеческий призван расти в своей численности, богатстве, интеллектуальности, нравственности. Вместе с тем, признавая социальную свободу, как и свободу индивидуальную, она показывает, что ее чудодейственные законы могут не признаваться и нарушаться и что всякие непродуманные экспериментирования порождают величайшую ответственность, ибо в таких случаях развитие цивилизации может остановиться, задержаться, запоздать, а сама цивилизация может надолго быть отброшена назад и даже задушена.

Поверят ли в это люди? Большая и возвышенная наука, когда ее, повторяю, просто излагают, вдруг сводится, когда ее поводу возникают споры и полемика, к науке, имеющей неблагодарную задачу доказывать то, что в доказательствах не нуждается и понятно даже ребенку: обилие лучше нехватки.

И в самом деле, прислушавшись к таким спорам, убеждаешься, что большинство возражений и сомнений по поводу политической экономии сводятся к обратному принципу: нехватка лучше обилия.

Отсюда – ходячие умозаключения:

«Производство стало перепроизводством».

«Мы гибнем от переизобилия».

«Все рынки переполнены, и все каналы полны отбросов».

«Возможности потребления больше не могут идти вровень с возможностями производства».

Получается хула и клевета на машины. Сожалеют, что чудесный гений человека может становиться все более могучим, и так до бесконечности. Чего боятся? Обилия.

Возьмем протекциониста. Он страдает от того, что природа даровала нам климат лучше, чем в других местах. Он опасается, что торговый обмен повредит Франции, и не хочет, чтобы она была свободной в этом отношении, потому что, если она будет свободной, она навлечет на себя все ужасы нашествия и потопа. Чего он боится? Обилия.

Возьмем государственного деятеля. Его пугают средства удовлетворения всяческих потребностей, средства, созданные и накопленные трудом страны. Он полагает, что предугадывает появление в будущем призрака чреватого революцией благополучия и мятежной свободы. Поэтому ему милы тяжелые налоги, огромные армии, мотовство и безумное расточение всяческих продуктов и вещей в широких масштабах, могучая и искусственно созданная аристократия, которая своей роскошью и разгулом как бы излечивает страну от бесстыжего избытка, даваемого человеческой промышленностью. Чего он боится? Обилия.

Наконец, вот вам некий логик, который, презирая проторенные пути, идет к цели прямо и напролом и советует время от времени сжигать Париж, чтобы дать труду возможность и выгоду

отстраивать его заново. Чего он боится? Обилия.

Так как же подобные идеи могли сформироваться и даже зачастую господствовать – не в личной практике людей, конечно, а в их теориях и их законодательстве? Ведь есть же иное утверждение, самоочевидное, не требующее никаких особых доказательств: «Всякие полезные вещи таковы, что лучше иметь их, чем не иметь». И если бесспорно, что обилие есть бедствие, когда обильны вещи, предметы, существа вредные, разрушительные, никому не нужные, такие как саранча, гусеницы, поедающие плоды, выращенные человеком, насекомые-паразиты у него дома, сугубо человеческие изъяны, зловония, то верно и то, что обилие есть благо, когда речь идет о вещах, удовлетворяющих действительные нужды людей, то есть о вещах, которые человек ищет, изготавливает в поте лица своего, покупает, обменивая их на свой труд, и которые имеют безусловную ценность; это продукты питания, одежда, жилье, произведения искусства, средства передвижения, связи, образования, развлечения – одним словом все то, что служит предметом внимания со стороны политической экономии.

Когда сравнивают между собой цивилизации двух народов или двух веков, то разве не запрашивают статистических данных, чтобы выяснить, какая из них – с учетом, конечно, численности населения – имеет больше средств существования, больше сельскохозяйственной, промышленной, ремесленной продукции, больше дорог, каналов, библиотек, музеев. И разве не делают выбор в пользу той цивилизации, где высок уровень потребления, то есть где наблюдается обилие?

Быть может, скажут, что недостаточно, чтобы продукты были обильны; надо еще, чтобы они справедливо распределялись. Совершенно верно. Но не будем путать вопросы. Когда мы защищаем обилие, а наши противники отвергают его, и мы, и они молчаливо исходим из того, что одинаковые вещи и распределяются одинаково.

Притом заметьте, что обилие само по себе есть основа вполне приемлемого распределения. Чем больше вещей, тем меньшей ценностью обладает каждая из них, а чем меньше ценности, тем легче выравнивать их распределение между людьми. Мы все равны, когда дышим воздухом, потому что воздух, соотносительно с нашими нуждами и желаниями, совершенно неисчерпаем. Мы чуть меньше равны касательно воды, потому что, будучи менее обильной, она начинает что-то стоить. Еще меньше мы равны по хлебу, изысканным фруктам, ранним овощам, вообще когда речь идет о вещах редких, когда мы наблюдаем ситуацию, обратную обилию.

Я бы еще добавил, чтобы ответить щепетильным сентименталистам нашего времени, что обилие заключается не только в материальных благах. Потребности выстраиваются у людей в определенной последовательности. Не все нужды настоятельны, и можно заметить, что здесь приоритетность далеко не всегда совпадает с достоинством. Сначала удовлетворяются самые простые и грубые потребности, потому что от них зависит сама жизнь, и что бы там ни утверждали разного рода декламаторы, прежде чем жить достойно, надо жить. Как гласит латинское изречение, сначала жить, потом философствовать.

Отсюда следует, что обилие простых предметов массового потребления есть необходимая предпосылка для того, чтобы человечество все больше и больше одухотворяло свои радости, чтобы оно восходило к Истине и Прекрасному. Оно может посвящать совершенствованию форм, культу искусств, мыслительным изысканиям лишь то время и те силы, которые, благодаря прогрессу, перестают целиком поглощаться велениями животной жизни. Обилие, будучи результатом долгого труда и терпеливой экономности, не может мгновенно стать всеобщим, и его, разумеется, не было в эпоху становления человеческого общества. Оно не может быть и одновременным по всему спектру производимых вещей. Оно развивается последовательно, переходя от материального к духовному. Несчастливые народы, если какие-то

внешние импульсы, например со стороны правительств, стремятся извратить этот порядок, заменяют грубые, но настоятельные потребности другими потребностями и желаниями, более возвышенными, но преждевременными, если такие импульсы меняют естественное направление труда и нарушают равновесие между потребностями и их удовлетворением, то самое равновесие, которое обеспечивает социальную стабильность.

Впрочем, если бы обилие было злом, это было бы одновременно и несчастьем и странностью, ибо каким бы простым ни было лекарство от обилия (отказаться что-либо производить и что-либо разрушать, чего же проще?), никакое средство не поколеблет индивидуальность и ее действия. Тщетно ополчаться на обилие, сверхизобилие, обжорство, захламленность всякими вещами, тщетно проповедовать теорию нищенского существования, подкреплять ее законами, запрещать машины, всячески стеснять и ограничивать торговый обмен; никого это не остановит, даже корифеев только что названной системы взглядов, не остановит, не собьет с пути труда ради достижения обилия. На всем земном шаре не встретишь ни единого человека, чья практика не была бы опровержением столь пустопорожних теорий. Нет никого, кто не старался бы наилучшим образом использовать свои силы, беречь их, щадить, добиваться более высоких результатов, пуская в действие и комбинируя силы самой природы. Нет никого, даже громогласно выступающих против торговых сделок, кто сам не руководствовался бы принципов (желая запретить его всем другим): продавать как можно дороже и покупать как можно дешевле. Так что теория самоограничения и нищеты, проповедуемая в книгах, газетах, диспутах, в парламенте, а через него в самих законах, отвергается и опровергается действиями всех индивидуальностей без исключения, которые и составляют род человеческий. Невозможно вообразить себе что-либо более убедительное.

Но как же так получается, что когда решается вопрос о том, лучше ли обилие, нежели нехватка, все люди, тайно вставая на сторону обилия своим поведением, трудом, обменом, теоретически выступают защитниками нехваток и ограничений, формируют соответствующее мнение и допускают появление всякого рода ограничительных и запретительных законов.

Нам остается разобраться именно в этом.

По сути дела мы все стремимся к тому, чтобы каждое наше усилие давало нам как можно больше благ. Если бы все мы не были объединены социально и каждый из нас жил в изоляции, то для достижения этой цели мы руководствовались бы единственным правилом: работать больше и лучше, – правилом, которое предполагает неуклонное движение к обилию.

Однако, ввиду существования обмена и разделения труда как следствия обмена, мы не посвящаем непосредственно самим себе, а отдаем другим наш труд, усилия, продукты, услуги. Поэтом, не теряя из виду правило: производить больше, – мы берем на вооружение еще одно правило, которое все больше и больше завладевает нашими умами: производить больше ценностей, – так как от следования этому правилу зависит количество получаемых нами услуг в обмен на наши услуги.

Создавать больше продуктов и создавать больше ценностей – это не одно и то же. Вполне ясно, что если каким-то силовым способом или хитростью нам удавалось бы сделать редкостью услуги и предметы, профессионально и специализированно творимые нами, то мы обогатились бы, не умножая и не совершенствуя нашего труда. Если бы, к примеру, сапожник мог бы актом своей воли заставить исчезнуть все башмаки в мире, исключая те, которые имеются в его лавке, или же ударить параличом всех, кто владеет сапожным мастерством, он превратился бы в Креза. Его положение неимоверно улучшилось бы, но не вместе с улучшением положения всего человечества, а совсем наоборот, с ухудшением участи всех остальных.

Вот и весь секрет – притом отвратительный – теории нехваток, проявляющей себя в разного рода ограничениях, монополиях и привилегиях. Она, эта теория, лишь переводит на

научнообразный язык и маскирует эгоистическое чувство, затаившееся у всех нас в сердцах: конкуренты мне мешают.

Когда мы несем на рынок наш продукт, два обстоятельства могут сделать его очень дорогим: на рынке мы видим обилие вещей всякого рода, на которые мы можем обменять наш продукт, остающийся редким; редкость нашего продукта – это как раз и есть второе обстоятельство.

Однако ни мы сами непосредственно, ни через посредство законов или какого-либо иного принуждения ничего не может поделаться с первым из этих обстоятельств. К сожалению, всеобщее обилие не вводится декретом. Тут нужно что-то другое, а законодательство, таможи и прочие помехи делу не помогут.

Если же мы хотим искусственно поднять ценность продукта, то тут мы вполне можем преуспеть. Индивидуальная воля не так уж бессильна. С помощью специальных законов, произвола, штыков, цепей, запретов, наказаний, преследований отнюдь не невозможно изгнать конкурентов и обеспечить редкость и высочайшую цену нашего продукта, который мы принесли продавать.

При таком положении вещей легко представить себе картину могущего и долженствующего случиться, если мы живем во времена неведения и невежества, варварства и неумной жадности и алчности.

Каждый обращается к законодателям, а через них к государственной силе, чтобы потребовать обеспечения – искусственно и любыми способами – редкости той вещи, которую он производит сам. Земледелец требует, чтобы не было лишнего хлеба со стороны; железоделатель – меньше железа; колонист – меньше сахара; текстильщик – меньше сукна и т. д., и т. п. Каждый при этом выдвигает совершенно одинаковые резоны, из которых и складывается доктрина, именуемая теорией нехваток. Торжество этой теории обеспечивается государственной силой, то есть огнем и мечом.

Но, не говоря уже о массах, подпавших под режим всеобщего лишения множества вещей, легко увидеть, на какую мистификацию наталкиваются сами изобретатели такого режима и какое ужасное наказание ждет их за неумную и бесцеремонную хищность.

Мы уже видели, что ценность каждой отдельно взятой категории продукта складывается из двух элементов: 1) редкости продуктов той же категории; 2) обилия продуктов иных категорий.

Я прошу уяснить следующее: когда законодатели, эти рабы индивидуалистического эгоизма, реализуют первый из этих двух элементов ценности, они неизбежно уничтожают второй элемент, не могут не уничтожить, ибо это один и единый процесс. Они последовательно удовлетворяют требования земледельца, скотовода, железоделателя, фабриканта, колониста, искусственно создавая нехватку зерна, мяса, железа, сукна, сахара и т. д. Но разве это не означает разрушения общего обилия, которое есть второе условие ценности каждого отдельного продукта? Таким образом, когда сообщество людей подвергается лишениям, впадает в нищету, а преследуемая цель – это повысить цену продуктов, то оказывается, что цель эта призрачна, недостижима, сугубо номинальна, потому что редкость каких-то отдельных продуктов нейтрализуется редкостью других продуктов. Разве так уж трудно понять, что если сапожнику, о котором мы говорили, удастся уничтожить все башмаки в мире своим сказочным усилием воли, исключая обувь, которую он производит сам, то он вовсе не продвинется вперед даже по номинальной ценности своей продукции, ибо в результате его волевого акта сделаются редкими все прочие продукты и вещи, на которые он хотел бы обменять свои башмаки? В итоге произойдет лишь одна перемена: все люди, включая нашего сапожника, будут плохо обуты, одеты, будут недоедать и жить в негодных домах, хотя все продукты и вещи сохраняют между

собой прежнее ценностное соотношение.

Иначе и быть не может. Именно таким оказывается общество, где остаются безнаказанными несправедливость, угнетение, эгоизм, корыстолюбие и невежество. К счастью, никакая горстка людей не в силах, не ущемляя самих себя, повернуть государственную силу и правительственный аппарат в направлении к нехваткам и нищете, не в силах подавить всеобщий порыв человечества к обилию и процветанию².

Мир и свобода, или Республиканский бюджет¹

Программа! Программа! – так со всех сторон кричат кабинету министров.

Как вы понимаете управление страной? Какой будет ваша внешняя политика? Какими великими мерами намереваетесь вы увеличить доходную часть бюджета? В силах ли вы убрать тройной бич, свистящий над нашими головами: война, революция, банкротство? Можем ли мы хоть с какой-то степенью безопасности приняться за труд, за промышленную деятельность, за крупные начинания? Что придумали вы, чтобы обеспечить то самое «завтра», которое вы обещали всем гражданам в день, когда взяли в свои руки бразды правления?

Вот о чем спрашивает каждый. Но, увы, правительство молчит. Хуже того, оно заранее решило не отвечать ни на какие вопросы.

Какой отсюда следует вывод? Либо у правительства нет никакого плана, либо план есть, но оно его скрывает.

Ну, что ж, я утверждаю, что в любом случае оно не исполняет своих обязанностей. Если оно прячет план, значит, у него нет права его осуществлять, ибо любой правительственный план принадлежит не правительству, а народу. Он касается нас, потому что от него зависят наше благополучие и наша безопасность. Правительство должно руководить нами не по своей, скрытой воле, а по воле открытой и одобренной нами. Кабинету министров надлежит предлагать, излагать, проявлять инициативу; нам – судить и оценивать; нам – соглашаться или отказываться. Но чтобы судить и оценивать, нужно знать. Тот, кто встает и предлагает себя в проводники, знает или, по меньшей мере, полагает, что знает, к какой цели надо прийти и какую дорогу выбрать. Он ничего не утаивает от путников, тем более если эти путники образуют целый народ.

Имеет ли правительство план, не имеет ли его, оно всегда само судит что ему делать. Во все время для того, чтобы управлять, нужна какая-то мысль, и это особенно важно сегодня. Совершенно ясно, что нельзя ехать по старой разбитой дороге, на которой уже трижды наша повозка сваливалась в грязь. Статус-кво невозможен, одной традиции недостаточно. Нужны реформы. И хотя то, что я сейчас скажу, звучит устрашающе, но я скажу это: Нужно новое. Не то новое, которое потрясает, опрокидывает, приводит в ужас, а то новое, которое поддерживает, консолидирует, вселяет уверенность и объединяет.

Горячо желая видеть подлинный республиканский бюджет, но обескураженный молчанием правительства, я вспомнил старую пословицу: «Если хочешь, чтобы тебя хорошо обслужили, обслужи себя сам». Поэтому, чтобы быть уверенным в наличии хоть какой-то программы, я составил ее сам и предлагаю на рассмотрение здравомыслящей публики.

Прежде всего, я должен поведать, в каком духе она у меня выдержана.

Я люблю республику – и уточню мое признание, хотя такое уточнение может некоторых удивить², – я люблю ее больше, чем любил 24 февраля. И вот мои резоны:

Как все публицисты, даже публицисты монархического направления, а среди них и Шатобриан, я думаю, что республика есть естественная форма нормального правления. Народ, монарх, аристократия – эти силы могут сосуществовать лишь во взаимной борьбе. Такая борьба

имеет свои перемирия, которые именуются хартиями. Каждая власть фиксирует в этих хартиях сравнительную долю своих побед. Напрасно и тщетно теоретики утверждают: «Вершина искусства управления – управлять так, чтобы полномочия всех трех противников сами создавали друг другу помехи и преграды». Природа вещей такова, что во время и посредством перемирия одна из трех сил укрепляется и растет. Потом борьба возобновляется, приводит к некоей усталости и завершается новой хартией, несколько более демократичной, и так далее, пока не победит республиканский режим.

Но может получиться так, что народ, взяв власть в собственные руки, плохо управляет самим собой. Он страдает от этого и тяжело вздыхает. Изгнанный претендент пользуется этим случаем и снова восходит на трон. Тогда возобновляются все те же борьба, перемирие, хартия, и снова дело завершается республикой. Как долго может это повторяться? Не знаю. Но скажу твердо: победа республики будет окончательной лишь тогда, когда народ научится управлять собой.

А между тем 24 февраля я опасался, как и многие другие, что нация не готова управлять собой. Я боялся, и должен в этом признаться, влияния греческих и римских идей, навязанных всем нам университетской монополией, идей, коренным образом исключаящих всякую справедливость, всякий порядок, всякую свободу, идей, ставших еще более ложными в господствующих теориях Монтескье и Руссо. Я боялся также болезненного террора одних и слепого восхищения других, внушенных воспоминанием о Первой республике. Я говорил себе: пока будут существовать эти достойные сожаления ассоциации идей, мирное властвование демократии над самой собой ничем не обеспечено и неопределенно.

Однако события не пошли в русле подобных предчувствий. Республика была провозглашена, и чтобы вернуться к монархии, понадобилась бы революция, а то и две-три революции, потому что претендентов на престол было несколько. Кроме того, все эти революции были бы лишь прелюдией к новой революции, ибо конечный триумф республиканской формы правления есть необходимый и неизбежный закон социального прогресса.

Да избавят нас Небеса от таких невзгод и бед! У нас республика, так будем же в ней оставаться, ибо рано или поздно она все равно вернется. Будем в ней оставаться, так как покинуть ее значит снова открыть эру потрясений и гражданских войн.

Но чтобы республика удержалась, нужно, чтобы народ любил ее. Нужно, чтобы она пустила множество глубоких корней в массы и тем стяжала их всеобщую симпатию. Нужно возродить доверие, сделать плодотворным труд, дать возможность капиталам создаваться и расти, повышать заработки, облегчать жизнь, добиваться того, чтобы страна была горда своими успехами и показала Европе все великолепие подлинного величия, справедливости и нравственного достоинства. Поэтому давайте представим себе политику мира и свободы. Какова она?

Мир и свобода! Конечно, не найдется двух других более высоких целей, достижение которых обеспечивает социальный порядок. Но что общего могут они иметь с холодными цифрами самого заурядного бюджета?

Ах, связь тут есть, притом связь тонкая – можно сказать, интимная. Война, угроза войны, переговоры, могущие привести к войне – все это может реализоваться лишь в силу крохотной статьи, как бы включенной в толстый том бюджетного документа – страх налогоплательщика. Таким же образом я могу предложить вам вообразить, что вас угнетают и что резко ограничена свобода граждан, руки и шея которых скованы цепями – все это порождается и поддерживается бюджетными вырубками.

Покажите мне народ, который снабдил себя институциями такого сорта, что граждане не

могут думать, писать, печататься, преподавать, трудиться, обмениваться, собираться вместе без того, чтобы всякий чиновничий сброд чинил им во всем этом преграды и гадости. Я тотчас скажу вам, что народ этот отягощен налогами.

Ибо я могу понять, что жить в мире со всеми не стоит ровно ничего. Но я не могу понять, почему я должен ввязываться во всякие распри да еще и дорого платить за это либо ради нападения, либо ради обороны.

Я вижу также, что быть свободным – это быть свободными без каких-либо расходов. Но я никак не могу понять, почему государство грубо подавляет мою свободу и почему я обязан дать ему в руки дорогостоящие орудия подавления, изготовленные за мой счет.

Давайте подумаем об экономности. Давайте поищем ее, ибо она есть единственный способ удовлетворить народ, побудить его любить республику, заглушить, благодаря симпатии масс, дух революционной смуты. Давайте поищем и найдем бережливость и экономность, и тогда мы получим вдобавок мир и свободу.

Экономность подобна личному интересу или личному проценту. Таковы две самые тривиальные движущие силы, но они способствуют развитию принципов более благородных, чем они сами.

Особая и актуальная цель финансовой реформы – это восстановить равновесие между доходами и расходами. Последующая цель, а вернее результат, – восстановить общественное доверие в финансовых вопросах. Но еще более важная цель, которого заслуживало бы само слово «реформа», несущее в себе огромную ответственность, – это облегчить положение народа; тогда он полюбит государственные и иные институции, а страна будет избавлена от политических передряг.

Но хотя я высоко ценю, с различных углов зрения, получающиеся таким образом системы, это не мешает мне расценивать их как неполные и даже иллюзорные.

Скажу несколько слов о двух таких системах – системе практиков и системе утопистов.

Начну с того, что я глубоко уважаю финансистов за их ученость и за их опыт. Они отдали много лет жизни изучению механизма наших финансов и досконально знают все его пружины. И если бы речь шла лишь о достижении равновесия, этого почти единственного предмета их усилий, то, наверное, самым лучшим было бы целиком положиться на них в решении этой нелегкой задачи. Я верю, что несколько урезывая наши расходы и несколько повышая наши доходы, они через три-четыре года привели бы наш корабль в желанную гавань, которую они называют нормальным бюджетом.

Но даже так все-таки ясно, что фундаментальная идея, управляющая нашим финансовым механизмом, останется прежней, и будут внесены лишь некоторые улучшения в мелочах. А ведь вопрос-то мой таков: оставаясь во власти этой фундаментальной идеи и лишь залатывая дыры в нашей налоговой системе, получим ли мы эти три или четыре года, отделяющие нас от знаменитого равновесия? Иначе говоря, несет ли в себе условия собственного выживания, хотя бы кратковременного, наша финансовая система, даже освобожденная от некоторых злоупотреблений? Не подобна ли она Эолову меху, содержащему в себе бури и ураганы.

Если именно из этой системы вышли все наши потрясения, то чего можем и должны мы ожидать от простой ее реставрации?

Финансовые деятели – я говорю о тех из них, для кого чудесным идеалом служит несколько подправленный порядок вещей, существовавший до Февраля, – так вот, эти люди, пусть они позволят мне это сказать, хотят построить нечто на песке и продвинуться вперед, вращаясь в порочном круге. Они даже не замечают, что проповедуемая ими система совершенно не основывает возможной богатой государственной выручки на процветании трудящихся классов, а намереваются пополнять бюджет, истощая питающий его источник.

Независимо от того, что в этом заключен радикальный порок с финансовой точки зрения, тут имеется еще и страшная политическая угроза. Как же так? Вы совсем недавно видели, какой ущерб принесла, какую почти смертельную рану нанесла нашим финансам революция. Вы не можете сомневаться, что одна из причин – быть может, даже единственная причина потрясения и шока – то порожденное в сердцах людей разочарование в полезности тяжелого налогового бремени, но вы упорно стремитесь к исходному пункту и стараетесь починить повозку, делая это на самой вершине холма, откуда она немедленно скатится вниз.

Даже если не вспыхнет новая революция и не пробудит в массах новых надежд и требований, я считаю ваше начинание нереальным. То, что было проявлением осторожности до Февраля, разве не стало оно теперь необходимостью? Неужели вы полагаете, что три-четыре года ваших усилий, направленных исключительно на достижение равновесия, протекнут мирно, если народ не видит впереди ничего, кроме новых налогов, если республика проявляет себя в его глазах только лишь более ожесточенным поведением сборщиков налогов, если народу вознаграждается все меньшая и меньшая доля плодов его труда, а все большую долю он должен отдавать государству и его представителям? Нет, не надейтесь. Новое потрясение сметет ваши разглагольствования и досужие вымыслы, и тогда, спрашиваю я вас, что получится с равновесием и с народным кредитом как выражением народного доверия, что получится со всем тем, что вы считаете вершиной искусства и пределом всех интеллектуальных усилий?

Я думаю, следовательно, что люди практичные совершенно теряют из виду третью цель (и первую по важности), которую я неотрывно связываю с финансовой реформой, облегчить положение налогоплательщика и тем самым привить людям любовь к республике.

Недавно все мы были свидетелями этого. Национальное собрание сократило налоги на соль и на почтовые отправления. И что же? Финансисты не только не одобряют этих мер, но еще и никак не могут вбить себе в голову, что Собрание действовало по своей собственной воле. Они все время думают и верят, что оно оказалось жертвой чьего-то подвоха и сожалеет о содеянном – настолько их, финансистов, отталкивает всякая идея реформы.

Упаси Боже усматривать в этом намек на нежелательность всякого кооперирования между финансистами. Какова бы ни была новая идея, ее нельзя осуществить иначе как состязательностью, конкурсом, полезным опробованием. Но вполне вероятно, что она и вовсе не появится в их головах. Они слишком долго блуждали в потемках прошлого. Если бы Наполеон до своей итальянской кампании целых тридцать лет не изучал и не применял все комбинации прежней стратегии, то разве снизошло бы на него вдохновение, которое революционизировало военное искусство и прославило силу французского оружия?

Наряду с подобной долгой школой опыта и практики, которая должна привести страну к полезному использованию ее драгоценных ресурсов, хотя я и боюсь, что эта школа не предложит полезную идею спасения Франции и обеспечения ее славы и безопасности, существует другая школа – вернее, бесчисленное множество других школ, которые если и можно упрекнуть в чем-либо, но только не в отсутствии новизны. Я не собираюсь рассматривать все предлагаемые ими системы, а ограничусь некоторыми соображениями по поводу мысли, которая, как мне кажется, доминирует в манифесте республиканцев, называющих себя «передовыми».

По-моему, этот манифест тоже представляет собой некий порочный круг, притом еще более ярко выраженный, чем порочный круг финансистов. По правде сказать, он содержит в себе постоянное и какое-то ребяческое противоречие. Народу твердят: «Республика сотворит для тебя чудо. Она освободит тебя от всяких тяжелых обязанностей, делающих поистине тягостными условиями человеческого существования. Она возьмет тебя к себе прямо с колыбели и за свой счет поместит тебя сначала в ясли, потом в детский сад, потом в начальную

школу, потом даст тебе среднее или специализированное образование, потом ты будешь работать, потом она поместит тебя в дом престарелых и доведет тебя до самой могилы, и на всем твоим жизненным пути тебе, так сказать, не придется заботиться о самом себе. Тебе нужен кредит? Тебе недостает рабочих инструментов или самой работы? Ты хочешь получить приличное образование? Что-то неладное творится на твоём поле или в твоей мастерской? Государство тут как тут, как щедрый и великодушный отец, оно поможет во всем и все исправит. Больше того, оно распространит свою заботливость на весь земной шар, руководствуясь принципом солидарности. А если тебе вздумается широко рассеять по свету твои идеи и твои политические взгляды, то государство всегда будет готово поддержать тебя своей большой армией, которая в любой момент вступит в бой. Такова миссия государства, она широка и обширна, и чтобы исполнить ее, оно не потребует от тебя ничего. Налоги на соль, напитки, почтовые отправления, внутренние пошлины, акцизы – от всего этого оно откажется. Добрый отец все отдает своим детям и ничего у них не берет. Если государство не следует такому примеру, если оно не исполняет по отношению к тебе двойной и, так сказать, противоречивый долг, значит оно не выполняет свою миссию, и тебе остается лишь опрокинуть и отбросить его. Я спрашиваю: можно ли придумать нечто более химерическое и одновременно более опасное?

Правда, чтобы как-то замаскировать эти сущие невозможности, высказываются несколько иначе: налог будет преобразован, его будут брать с излишка, имеющегося у богатых.

Народ должен знать истину. А истина такова, что речь идет не просто еще об одной химере. Взвалить на государство непомерные полномочия и уверять, что оно справится с ними с помощью денег, взятых из излишка их у богатых, значит вселить в людей напрасную надежду. Да и много ли богачей во Франции? Когда потребовалось уплатить 200 франков за получение права на голосование, число избирателей составляло двести тысяч, и из этого числа, наверное, половина не имела никаких излишков. А сегодня утверждают, что может выполнить возложенную на него гигантскую задачу, всего-навсего обложив налогом богатых. Достаточно, мол, чтобы двести тысяч семей уделили правительству кое-что из излишка своих богатств, и правительство осыплет благами восемь миллионов менее обеспеченных семей. Но не видят одного: задуманная система налогообложения едва ли окупит расходы по самому сбору налогов.

Правда, которую народ никогда не должен терять из виду, заключается в том, что государственное налогообложение всегда и необходимым образом нацелено на самые распространенные, то есть на самые народные, предметы потребления. Именно поэтому народ, если он осторожен, должен настаивать на сокращении государственных расходов, расходов на деятельность, на полномочия, на ответственность правительства. Не нужно ждать, пока государство даст народу жить, потому что народ дает жить государству.

Другие очень надеются на открытие чего-нибудь нового, что можно было бы облагать налогом. Я не утверждаю, что в этом направлении найти ничего нельзя, но хочу поделиться с читателем тремя наблюдениями:

1. Все прежние правительства страстно любили много брать у публики, чтобы много тратить. Так что маловероятно, чтобы какой-нибудь рудник с драгоценными металлами и доступный для легкой добычи до сих пор оставался без внимания фискальных служб. А если что их и останавливало, то лишь боязнь национального возмущения и гнева.

2. Если новые источники налогообложения не могут открыться, не натолкнувшись на старые привычки и на недовольство людей, то разве удачно выбран момент для таких поисков, ведь совсем свежа еще память о революции? Не значит ли это компрометировать республику?

Представим себе, какой эффект произведет на налогоплательщиков такая, к примеру, новость: Национальное собрание ввело налоги, до сих пор вам неизвестные, которые не решалась вводить даже монархия!

3. С точки зрения актуальности проблемы и ее практической стороны поиск и открытие новых налогов – это самый надежный способ не делать ничего и принимать тень за тело. Национальному собранию осталось жить два-три месяца. За это короткое время оно должно принять бюджет. Предоставляю читателю делать выводы.

После того как я напомнил о системах самых модных и самых неприемлемых, мне остается рассказать о системе, которую я хотел бы видеть.

Прежде всего, обрисую финансовое положение, с которым нам придется столкнуться.

У нас дефицит (ибо слово «недостаточность» само стало недостаточным). Я не буду иллюстрировать его в точных цифрах, потому что не знаю, как ведутся у нас бухгалтерские книги. Но я твердо знаю, что две официальные цифры, касающиеся одного и того же факта, всегда расходятся между собой. Как бы там ни было, рана, нанесенная финансам, глубока. Последний бюджет (том I, с. 62) содержит следующие данные:

	франков
Старые дефициты (другое милое словечко), 1846 г. и ранее	184 156 000
Бюджет 1847 г.	43 179 000
Возмещение расходов сберегательных касс	38 000 000
Бюджет 1848 г.	71 167 000
Бюджет 1849 г.	213 960 534
Итого декувертов:	550 462 534

Таков результат прошлых бюджетов. Следовательно, зло будет продолжаться и нарастать, если мы не сумеем увеличить доходную часть бюджета и уменьшить его расходную часть, причем мы должны не просто выровнять обе части, а изыскать способы существенного превышения доходов над расходами, чтобы постепенно погашать прошлые декуверты.

Бесполезно скрывать это от себя, мы тогда воочию убедимся в банкротстве и его последствиях.

Положение усугубляется еще и тем обстоятельством, о котором я уже говорил и которое настойчиво повторяю: если будут искать средство излечения или хотя бы частичного излечения в увеличении налогового бремени – а именно это неким естественным образом приходит в голову, – то этим доведут дело до революций. А поскольку финансовое следствие революций, если говорить только о нем, выражается в росте расходов и истощении источников доходов, вместо того чтобы отвратить катастрофу, лишь приблизит и ускорит ее.

Я пойду в своих рассуждениях еще дальше. Трудности усугубляются еще больше, и я утверждаю (и глубоко убежден), что невозможно будет удержать все существующие налоги даже на прежнем уровне, не подвергаясь ужаснейшему риску. Скажем, свершилась революция, она провозгласила себя демократической, а демократия хочет для себя всяческих благ. Права ли она или нет, но это так. Горе всем правительствам, горе стране, если такая мысль не присутствует в головах представителей народа.

Вопрос поставлен и стоит именно так. Что же нужно делать?

Если снижать расходы, то тут быстро натолкнешься на пределы такого снижения. Нельзя

доходить до дезорганизации необходимых служб, потому что это вызвало бы новые революции уже с другой стороны финансового горизонта.

Что же все-таки делать?

Мысль моя, которую я формулирую во всей ее простоте и даже наивности, так что могут встать волосы дыбом у всех финансистов и практиков, такова:

Снизить налоги и в еще большей степени уменьшить расходы.

А чтобы придать этому финансовому соображению политическую окраску, добавлю:

Обеспечить свободу внутри страны и мир вне ее.

Вот и вся программа.

Вы воскликнете: «Да ведь она столь же противоречива, как и манифест монтаньяров! В ней тоже заключен порочный круг, такой же, как и порочные круги, на которые вы обращали внимание, говоря о других системах».

Это я отрицаю, хотя и согласен, что попытка слишком смела. Однако, если серьезность положения осознана, с одной стороны, а с другой, если доказано, что традиционные способы не выведут нас из тупика, то, как мне кажется, моя мысль по меньшей мере заслуживает внимания моих коллег.

Поэтому позвольте мне развить мои два предложения, и пусть читатель, памятуя, что они образуют единое и неделимое целое, вынесет по ним свое суждение и, быть может, свой приговор.

Прежде всего надо напомнить об одной истине, которая недостаточно и не всегда учитывается: ввиду самого характера нашей налоговой системы, которая в очень большой степени основана на косвенном обложении, то есть облагается потребитель в момент покупки предметов потребления, существует самая тесная и, если позволительно так выразиться, интимная связь между всеобщим благополучием и благополучием государственных финансов.

Это подводит нас к следующему выводу: было бы не очень точным утверждать, что облегчение положения налогоплательщика обязательно сопровождается ущербом для доходов.

Если, например, в такой стране, как наша, правительство, толкаемое неумной фискальной алчностью, повышает налоги до точки, когда разрушаются способности потребителя быть потребителем; если оно удваивает и утраивает цены на самые необходимые вещи; если к тому же оно делает слишком дорогими материалы и орудия труда; если вследствие всего этого население лишается всего и вынуждено питаться только каштанами, картофелем, гречихой, кукурузой, то понятно, что опустошение доходной части бюджета может с определенным основанием быть объяснено непомерным увеличением налогов.

При таком допущении ясно также, что действенный и рациональный способ привести к благополучию и даже расцвету государственных финансов – это не наносить новых ударов по всеобщему богатству, а наоборот, предоставить ему возможность расти и умножаться, не натягивать вожжи налогов, а отпустить их.

В теоретическом плане я не думаю, что против этого можно спорить. Налогообложение, неуклонно вырастая, может достичь пункта, когда то, что добавляется к цифре налога, ровно то же самое вычитается из-за непоступления налогов. Когда положение оказывается таковым, то тщетно, безумно, противоречиво пытаться изыскивать доходы в налоговых поступлениях. Это то же самое, как желать повысить давление в котле, манипулируя манометром, тогда как сам котел охлаждается.

Зная все это, нужно выяснить, а не попала ли уже наша страна в такое положение.

Когда я гляжу на основные и всеобщие предметы потребления, из которых государство хочет вытянуть свой доход, я вижу, что цены на них настолько перегружены налогами, что безропотность налогоплательщика, все-таки покупающего их, можно объяснить лишь силой

привычки.

Сказать, что некоторые из этих налогов эквивалентны конфискации, значит сказать слабо и недостаточно.

Возьмем прежде всего сахар и кофе. Мы могли бы покупать их по низкой цене, если бы имели свободу покупать их на рынках, к которым толкает нас наш собственный интерес. Но со вполне определенной целью закрыть нам мировую торговлю налоговые службы накладывают на нас огромные штрафы, когда мы совершаем правонарушение, обмениваясь товарами с Индией, Гаваной, Бразилией. И мы, покоряясь, ограничиваем нашу торговлю объемом, который может снабдить лишь три маленькие скалы, затерявшиеся на океанских просторах. Мы платим за сахар и кофе очень дорого, и казна, улыбаясь такому нашему поведению, забирает себе в форме налогов все сто процентов ценности этих продуктов.

И это называется продуманной политической экономией! Заметьте, что завоевание этих маленьких скал обошлось нам в потоки крови и тонны золота, и они еще дорого будут обходиться нам целую вечность. Компенсируя, так сказать, эти расходы и уплаты, мы продолжаем отдавать тонны золота ради сохранения этих жалких скал.

Во Франции имеется национальный продукт, потребление которого крепко связано с народными обычаями. Как бы для того, чтобы дать силы труженикам, природа обеспечила Англию мясом, а Францию вином. Наше вино каждый мог бы покупать повсюду в стране по цене в 8–10 франков за гектолитр, но казна и тут вмешивается, устанавливая цену в 15 франков.

Я не буду говорить о налоге на табак, потому что его доброжелательно принимает общественность. Замечу только, что налог здесь в несколько раз превышает ценность самого продукта.

Государство тратит 5 сантимов, самое большее 10 сантимов на отправку одного письма из одного пункта в другой в пределах страны. До последнего времени оно заставляло сначала, чтобы вы обращались именно к услугам государства; потом, когда оно стало держать вас в своих руках, оно заставило вас платить 80 с., 1 фр. и 1 фр. 20 с. за то, что самому ему обходится в один су.

Надо ли говорить о соли? В недавней дискуссии было отмечено, что соль можно добывать в южной части Франции в неограниченном количестве и продавать по 50 с. Фиск и тут наложил свою лапу и установил пошлину в 30 фр. В шестьдесят раз дороже! Это и называется контрибуцией. Я изымаю у вас шестьдесят, потому что владею единицей! Так говорит государство. А я говорю, что я должен был бы выиграть шесть тысяч процентов, которые почему-то отдаю правительству, отдаю с моей собственности.

Еще хуже обстоит дело с таможенными. Здесь правительство преследует две вполне определенные цели: первая – поднять цены на все, отнять множество материалов труда у работников, увеличить трудности жизни вообще; вторая – комбинировать и увеличивать налоги так, чтобы фиск в конце концов не получал ничего. Невольно вспоминаются слова, сказанные одним модником портному по поводу коротких и узких штанов: «Если я влезу в них, я их не возьму».

Наконец, чрезмерность всех этих налогов не может не поощрять мошенничества и надувательства. Правительство вынуждено окружать себя целыми армиями чиновников, заставлять нацию подозревать всех и во всем, изобретать всякого рода преграды, формальности и прочие вещи, которые парализуют труд и тянут деньги из бюджета.

Такова наша налоговая система. У нас нет никакой возможности выразить в цифрах ее последствия. Но когда, с одной стороны, изучаешь этот механизм, а с другой, констатируешь, что очень значительная часть нашего населения не в состоянии покупать себе нужных предметов потребления, то позволительно задаться вопросом: а не находятся ли эти два

обстоятельства в таком же соотношении, в каком соотносятся между собой причина и следствие. Позволительно также спросить, разве мы поднимем нашу страну и ее финансы, если упорно будем следовать старым путем и если народ, даже отрицательно относясь к движению по такому пути, все-таки даст нам время двигаться по нему. По правде сказать, мы похожи на человека, который, с трудом выбравшись из пропасти, куда по неосторожности уже сваливался несколько раз, снова начинает свой путь, на сей раз еще поспешнее и подвергая себя еще большему риску, по той же самой дорожке.

В теоретическом аспекте все согласны, что налоги можно поднимать до такого уровня, что выше ничего уже добавить нельзя, иначе оскудеет всеобщее богатство и потерпит крах государственная казна. Такая теоретическая ситуация проявила себя на практике в соседней стране и проявила себя столь впечатляюще, что я позволю себе рассказать об этом подробно, потому что если данный феномен не будет признан возможным, то все мои рассуждения и выводы не будут иметь никакой ценности и никакого значения. Я знаю, что во Франции не любят извлекать уроки из британского опыта, мы охотнее делаем собственные опыты и несем за них собственные издержки. Но я прошу читателя хотя бы на миг поверить, что по ту сторону Ла-Манша, как и по эту его сторону, дважды два равно четырем.

Несколько лет назад Англия находилась в финансовом положении очень похожем на наше. Много непрерывных лет каждый бюджет исполнялся с дефицитом, и для преодоления такого состояния дел потребовались поистине героические усилия. Первое, что пришло в голову финансистам, – это, как легко догадаться, увеличить налоги. Кабинет вигов не стал выдумывать ничего особого. Он просто-напросто решил увеличить все налоги на пять процентов. Он рассуждал так: «Если 100 шиллингов налога дают нам 100 шиллингов в приходную часть бюджета, то 105 шиллингов налога дадут 105 шиллингов или, по меньшей мере, поскольку надо учитывать небольшое сокращение потребления, 104½ или ровно 104 шиллинга. Математически это безукоризненно. Но спустя год с изумлением увидели, что получили не 105, не 104 и даже не 100 шиллингов, а лишь 96 или 97.

И вот тогда из всех аристократических грудей выплеснулся крик боли: «Что же это получается? Мы не можем вписать ни гроша в наш цивилизный лист, мы дошли до последнего предела налогообложения, дающего хоть какую-то выгоду!»⁵ У нас больше нет ресурсов, потому что облагать налогами больше означает получать от налогов меньше».

Кабинет вигов был тотчас выдворен в отставку. Надо было дать попробовать выправить положение более умелым людям. Дали власть сэру Роберту Пиллю. Он, безусловно, был финансистом-практиком. Но это не помешало ему рассуждать следующим образом, хотя в моем неискусном изложении его рассуждение может показаться слишком хитроумным и, быть может, даже абсурдным: «Поскольку налог сделал массы нищими и поскольку нищета масс, в свою очередь, сильно ограничила продуктивность налога, надо отсюда сделать суровый, хотя и внешне парадоксальный, вывод: чтобы налоги были эффективными, надо их снизить. Попытаемся же сделать то, если казна, которая уже много потеряла от своей жадности, сама не станет великодушной». Великодушные в налоговых сборах! Вот вам совершенно новый эксперимент. Он заслуживает внимательного изучения. Разве не будут счастливы господа финансисты, когда узнают, что само великодушие иногда дает прямую выгоду? Правда, тогда оно должно называться иначе: интерес, процент. Пусть будет так. Не будем спорить о словах.

Итак, сэр Роберт Пиль принялся снижать, снижать и снижать. Он разрешил ввоз в страну зерна, скота, шерсти, масла несмотря на вопли лендлордов, полагавших, притом с некоторой

⁵ Последняя часть этой фразы («мы дошли...») принадлежит сэру Роберту Пиллю.

видимостью обоснованности, что народ лучше питается, когда много продовольствия в самой стране, и этому верили за пределами Англии. Мыло, бумага, солод, сахар, кофе, соль, почта, стекло, сталь – все, чем пользуется или что потребляет работник, прошло через реформу.

Тем не менее сэр Роберт, который отнюдь не был сумасбродом, прекрасно знал, что хотя такая система, приведя общество к благополучию, должна благотворно воздействовать на казначейство, но это случится не так быстро и скоро. А между тем дефицит, нехватки, необходимость хоть какого-то обеспечения – все это требовало немедленного решения. Отказаться, пусть временно, от части дохода – усугубить положение, пошатнуть кредит. Приходилось пройти трудный период, трудный ввиду самого характера его начинания. Снизить налог – это была лишь половина системы сэра Роберта, как и половина той системы, которую я сам скромно и робко предлагаю. Читатель видел, что необходимым дополнением к моей системе⁶ является снижение расходов в большей степени. Добавление в системе Пилля было ближе к финансовым и фискальным традициям. Он думал об ином источнике дохода, и был принят закон о подоходном налоге.

Таким образом, в обстановке дефицита первой мыслью было увеличить налог; второй мыслью было трансформировать его и взимать его с тех, кто в состоянии его платить. Это было прогрессом. Почему бы и мне не лелеять мысль, что снижение расходов было бы еще большим и решающим прогрессом?

Несмотря на трудность быстро и коренным образом решить такую задачу, я все же кратко рассмотрю этот вопрос. Удался ли британский опыт? Я считаю, что да, ибо иначе чему служит пример провала, как не тому, чтобы не подражать ему. А я вовсе не хотел подвести читателя к подобному выводу. Между тем многие утверждают, что эксперимент сэра Роберта Пилля оказался опустошительным. Такое утверждение выглядит тем более убедительно, что в тот самый день, когда началась налоговая реформа, Великобританию постиг ужасный и затяжной торговый и финансовый кризис.

Но прежде всего я должен заметить, что хотя и можно отчасти приписать недавние неурядицы в английской промышленности реформе сэра Роберта Пилля, все-таки не следует пользоваться этим обстоятельством как аргументом против реформы, предлагаемой мною, потому что эти две реформы различаются в одном очень существенном пункте. Общее между ними вот что: изыскивать последующий рост выручки в благополучии и процветании масс, то есть в смягчении налогового бремени в цифровом его выражении. Различие же таково: сэр Роберт Пиль приберег до поры до времени средства и способы преодолеть трудности переходного периода, введя новый налог. Я же требую, в качестве этих средств и способов, большого, очень большого снижения расходов. В этом отношении идеи сэра Роберта Пилля шли настолько далеко, что в одном и том же документе, где он излагал затихшей и внимательной Англии свой финансовый план, он потребовал значительных субсидий на армию и военный флот.

Поскольку обе системы в первой части совпадают, обе направлены на благополучие, в долговременной перспективе, государственной казны, благополучие, черпаемое из облегчения положения трудящихся классов, то разве не ясно, что сокращение расходов, а в некоторых случаях их полная отмена, больше гармонирует с идеей, выраженной в первой части, чем просто перемещение, перераспределение налоγοобложения?

Не могу не позволить себе думать, что вторая часть системы Пилля противоречит первой.

⁶ Я говорю «моей» ради краткости, но я не считаю себя изобретателем системы. Директор газеты «Пресс» не раз высказывал ее фундаментальную идею, которую я здесь и воспроизвожу. Больше того, он сам успешно применил эту систему.

Конечно, лучшее распределение налогов – это уже великое благо. Но в конце концов, когда достаточно ознакомишься с этими вопросами, когда изучишь естественный механизм налогов, их рикошетное действие, их контрудары, то становится ясным, что требуемое фиском от одного класса в значительной степени оплачивается другим классом. Невозможно, чтобы английские рабочие не были затронуты прямо или косвенно подоходным налогом. Так что их положение облегчается с какой-то одной стороны, но в определенной мере их бьют с другой стороны.

Однако оставим эти соображения и посмотрим, можно ли, при наличии бесспорных фактов, столь естественным образом свидетельствующих об английском кризисе, можно ли приписать их реформе. Вечный софизм людей, решивших что-то и кого-то обвинить, – это взваливать на что-то и кого-то все несчастья мира. Как гласит ложная латинская мудрость: «После этого значит вследствие этого». Предвзятая идея есть и всегда будет некоей плетью как инструментом суждения; она, предвзятая идея, в силу самой своей природы всегда бежит от правды, когда ей не посчастливится случайно повстречать ее.

В Англии бывали и другие торговые кризисы, помимо недавнего. Все они объясняются вполне конкретными причинами. Однажды Англию охватила лихорадка непродуманный спекуляций. Огромные капиталы, дезертируя из сферы производства, ушли в американские займы и в рудники драгоценных металлов. Сильнейшее потрясение получили промышленность и финансы. В другой раз страну постиг страшный неурожай, и нетрудно представить себе последствия этого. Когда весьма значительная часть труда всего народа была направлена на обеспечение себя продуктами питания, когда целый год пахали, борошили, засеивали, поливали землю, трудясь в поте лица своего и в надежде собрать урожай, то разоренный неурожаем народ оказался перед выбором: либо умереть с голоду, либо где-то и как-то быстро раздобыть себе пропитание. Все обычные операции в промышленности были приостановлены, чтобы высвободить капиталы и направить их на выполнение этой гигантской, неожиданной и неотложной операции. Сколько было потрачено сил! Сколько разрушено ценностей! Как после этого не быть кризису? В Соединенных Штатах он разразился даже тогда, когда случился неурожай хлопка, и всего-навсего из-за того, что при недостатке хлопка фабриканты не могли работать столь же активно, как при избытке хлопка. В Великобритании всякая стагнация никогда не проходит безнаказанно и всегда распространяется на мануфактуры. Ирландские восстания, волнения на европейском континенте, прерывающие на какое-то время британскую торговлю и уменьшающую потребительские возможности ее клиентуры – вот еще некоторые из вполне очевидных причин стеснения, помех и пертурбаций в финансах.

Промышленная история Англии учит нас, что достаточно хотя бы одной из вышеназванных причин, чтобы в этой стране разразился кризис.

И вот получилось так, что как раз в момент, когда сэр Роберт Пиль ввел реформу, все эти беды разом и с невиданной интенсивностью обрушились на Англию.

В результате народ претерпел великие страдания, и тут же принялись твердить все ту же предвзятую идею: вот видите, реформа раздавила народ!

Но я спрашиваю: разве финансовая и торговая реформа привела к двум неурожаям подряд в 1845 и 1846 г. и разве она вынудила Англию истратить два миллиарда, чтобы возместить потерянное зерно?

Разве финансовая и торговая реформа уничтожала в течение четырех лет картофель в Ирландии и разве она заставила Англию кормить за свой счет целый изголодавшийся народ?

Разве финансовая и торговая реформа вызвала подряд два неурожая хлопка в Америке, и неужели можно думать, что поддержание ввозных пошлин на высоком уровне окажется чудодейственным снадобьем?

Разве финансовая и торговая реформа породила и развила «железнодорожную манию» и

быстро отняла два или три миллиарда от продуктивного и привычного труда, чтобы бросить эти капиталы в нескончаемые ажиотажные начинания – манию, которая, по мнению всех наблюдателей, принесла больше зла, чем все прочие беды, вместе взятые?

Разве финансовая и торговая реформа зажгла на европейском континенте пожар революций и снизила сбыт всех британских товаров?

О, когда я думаю об этой неслыханной комбинации разрушительных факторов, действующих в одном направлении, об этой ткани, сотканной из всех возможных бедствий, вдруг фатально возникших в ту или иную эпоху, я невольно обращаюсь к оборотной стороне пресловутой предвзятой идеи и задаюсь вопросом: что было бы с Англией, с ее могуществом, величием, богатством, если бы Провидение не одарило ее в нужный и трагический момент таким человеком. Не погибла бы ли она в страшных конвульсиях? Я искренне полагаю, что реформа, которую обвиняют во всех бедах Англии, частично их устранила. И английский народ хорошо понимает это, ибо, хотя самая сложная и тонкая часть этой реформы, свободный обмен, сразу подверглась суровым и неожиданным испытаниям, народная вера не была поколеблена, и когда я сейчас пишу эти строки, начатое дело продолжается и близится к своему славному завершению.

Вернемся же с того берега Ла-Манша и тоже проникнемся доверием. Зачем оставлять такое качество лишь на том берегу?

Мы обсуждаем доходную часть бюджета. Собрание уже отменило налоги на соль и на почтовые отправления. По моему мнению, оно должно сделать то же самое в отношении напитков. Что касается соответствующей статьи закона о бюджете, я думаю, что государство должно согласиться потерять пятьдесят миллионов. Остающиеся налоги надо по мере возможности распределить между всеми потребляемыми винами, не освобожденными от обложения. Вполне понятно, что тридцать или сорок миллионов налога с сорока пяти миллионов гектолитров выплачивать гораздо легче, чем сто миллионов с количества втрое меньшего. Надо также уменьшить издержки и убрать преграды всякого рода, которые влечет за собой нынешний способ взимания налогов.

Кроме того государству следует согласиться на значительное снижение пошлин на сахар и кофе. Рост потребления этих продуктов сразу решит и фискальный, и колониальный вопросы.

Другой важной и популярной мерой была бы отмена всяких акцизов. В этой связи на меня произвело большое впечатление мнение г-на Гишара. Все признают, что подоходный налог был бы справедлив и отвечал бы истинным принципам. Ему мешают только трудности, сопряженные с его исполнением. Боятся за государство и, я думаю, боятся небезосновательно, потому что ему придется бесцеремонно и отнюдь не деликатно вмешиваться в дела людей, без чего такой налог невозможен. Нехорошо, когда республиканское правительство относится к налогоплательщику как алчный инквизитор. В коммуне все достояния в общем известны. Их можно определять и в семьях, если семье позволят самой определять свой подоходный налог при обязательном условии, что акциз будет отменен. Очень вероятно, что такая мера, основанная на справедливости, будет встречена с одобрением. Рано или поздно Франция подготовит кадастр состояний, состоящих из движимого имущества, и найдет способ поставить на верный путь свою систему налогообложения. Я не думаю, чтобы такая мера, которая, к тому же, имеет то преимущество, что начинает процесс децентрализации, была не по силам умелому и опытному государственному деятелю. Перед ней, конечно, не отступил бы и Наполеон.

Я вынужден сказать несколько слов о таможене. И чтобы уберечься от предубеждений, с которыми, как я чувствую, мне пришлось бы столкнуться, я ограничусь лишь фискальной точкой зрения на проблему, тем более что речь идет по-прежнему только о бюджете. Дело вовсе не в том, что я собираюсь лишний раз отстаивать свободу обмена, и пусть меня не

сравнивают с бравым генералом, который только тем и стал знаменитым, что хорошо лечил лошадей. Дело не в том, но отстаивать-то я буду. В какую бы сторону горизонта вы ни бросили ваш интеллектуальный взгляд, в сторону химии, физики, астрономии, музыки, флота, вы повсюду увидите генерала на коне и сами вскочите на коня позади него. У всех нас есть излюбленная идея, свой стиль, свой конек. Почему бы и мне не признаться в наличии у меня излюбленной идеи? Идея эта – свобода. И если я чаще всего защищаю ее особый вид – свободу обмена – то из всех свобод ее больше всего не признают и меньше всего понимают.

Итак, рассмотрим проблему таможи с фискальной точки зрения, и пусть читатель простит мне, если я попутно коснусь вопросов права, собственности, свободы.

Г-н Феррье, один из самых сокровенных и самых ловких протекционистов, признал, что если бы за таможней сохранили ее фискальный характер, из нее могли бы извлекать двойной доход для казначейства. Она дает примерно сто миллионов. Следовательно, независимо от груза налагаемого на нас протекцией как на потребителей, мы еще и теряем сто миллионов как налогоплательщики. Ведь ясно, что то, что казна отказывается покрывать за счет таможни, она покрывает за счет других налогов. Такой механизм заслуживает внимательного рассмотрения.

Предположим, что казначейству требуется 100. Предположим также, что если бы иностранное железо могло поступать к нам по разумной пошлине, оно давало бы казначейству в его доход 5. Но класс промышленников думает, что ему выгодно, чтобы иностранное железо к нам не ввозилось. Встав на его сторону, закон запрещает ввоз или, что то же самое, вводит запретительную пошлину. Следовательно, в данном случае всякое получение дохода становится невозможным, добровольно приносится в жертву. Эти 5 не поступают, и казна получает лишь 95. Но так как мы допустили, что казна нуждается в 100, мы должны согласиться с тем, что она берет недостающие 5 каким-то другим способом, облагая, скажем, соль, почтовые отправления, табак.

То, что происходит с железом, все это в точности воспроизводится по отношению ко всем предметам потребления, какие только можно себе представить.

Каково же при столь странном режиме положение потребителя-налогоплательщика?

А вот каково:

1. Он платит значительный налог для поддержания обширной армии, размещенной вдоль границы по инициативе и ради выгоды хозяев железоплавилен и прочих привилегированных хозяев, которым она служит.

2. Он платит за железо гораздо выше его естественной цены.

3. Ему запрещено производить вещи, в обмен на которые иностранцы поставляли бы ему железо, так как запретить ввоз одной ценности значит запретить вывоз другой ценности.

4. Он платит еще один налог, чтобы заполнить пустоту, образующуюся в казне, так как помешать ввозу значит помешать налоговому поступлению, и при тех или иных данных нуждах фиска, если поступлений недостает, надо получать их из других источников.

Странное положение получается у *потребителя-налогоплательщика* ! Чего здесь больше, печального или смешного? Ответить затруднительно.

Так почему же так происходит? Да ради того, чтобы железоплавиладельцы извлекали из своего труда и капитала не чрезвычайно высокую прибыль, а лишь такую, чтобы они могли справляться с какими-нибудь возросшими трудностями производства.

Когда же все-таки начнут во всех этих областях оперировать большими, а не малыми цифрами? Интерес, выгода, процент, когда имеешь дело с большим числом, – вот экономическое правило, которое никогда не обманывает и примыкает к справедливости.

Надо условиться об одной вещи: чтобы протекция была справедливой, не прекращая при этом быть пагубной, нужно, по меньшей мере, чтобы она в равной мере распространялась на всех. Но возможно ли такое, даже если говорить абстрактно?

Люди обмениваются между собой либо продукты на продукты, либо продукты на услуги, либо услуги на услуги. Поскольку продукты приобретают ценность только ввиду того, что они дали повод для оказания услуги, можно даже утверждать, что все сводится ко *взаимности услуг*.

А между тем очевидно, что таможня может протектировать только такой вид услуг, ценность которых включена в материальный продукт, могущий быть задержанным или захваченным на границе. Она никак не может протектировать прямые услуги, повышая их ценность, услуги, оказываемые медиком, адвокатом, священником, судьей, солдатом, торговцем, литератором, художником, ремесленником, а все они составляют значительную часть населения. Таможня не может также протектировать человека, отдающего, так сказать, займы свой труд, потому что такой человек не продает продукты, а оказывает услуги. Да и вообще от так называемых выгод протекции отстранены все рабочие и все поденные работники. Но если протекция не дает им выгоды, она им вредит, и здесь начинает ощущаться некий контрудар, который чувствуют на себе сами протектируемые.

У нас имеются только два протектируемых класса, да и то протектируемых далеко не равным образом. Это владельцы мануфактур и земельные собственники. Эти два класса смотрят на таможню как на Провидение, и все же мы очень часто наблюдаем, как они стонут и жалуются на разорение. Видимо, протекция не столь уж эффективна для них, как они того ждали. Кто решится утверждать, что сельское хозяйство и мануфактурное производство более преуспевают от протекции в таких странах, как Франция, Испания, Ватикан и прилегающие государства, чем у народов, имеющих больше свободы, таких как швейцарцы, англичане, бельгийцы, голландцы, тосканцы.

То, что происходит с протекцией, аналогично или даже идентично тому, что происходит с налогами, о чем мы говорили выше. Как в налогообложении существует предел, за которым оно перестает быть выгодным, так и в протекции существует такой же предел. Предел этот – уничтожение способности к потреблению, и именно к такому пределу направлены и протекция, и налог. А между тем благополучие казны напрямую зависит от благополучия налогоплательщиков. Таким же образом промышленность приобретает ценность лишь благодаря богатству своей клиентуры. Отсюда следует, что когда фиск или монополия пытаются развиваться ценой разорения потребителя, оба оказываются в одном и том же порочном круге. Наступает момент, когда, увеличивая цифру ставки, они уменьшают цифру выручки. Протектируемые не понимают, почему их отрасль оказалась в депрессии несмотря на милости запретительного режима. Как поступает и фиск, они ищут способ выправить положение посредством ужесточения этого режима. Так пусть же они зададутся вопросом, не эти ли самые милости угнетают их. Пусть они посмотрят на половину, на две трети нашего населения, которые из-за этих несправедливых милостей лишаются железа, мяса, сукна, хлеба, которые мастерят себе повозку из ивовых прутьев, питаются просом и ячменем, как птицы, или каштанами, как некие создания, менее поэтичные, чем птицы⁴.

Раз уж я пустился в такие рассуждения, позвольте мне закончить их своего рода притчей.

Когда-то в королевском парке было множество прудов, и все они соединялись подземными трубами, так что уровень воды в них всегда оставался одинаковым. Эти водоемы получали воду из большого канала. И вот один из водоемов, отличавшийся амбициозностью, пожелал получать значительно большую часть воды, предназначенную для всех водоемов. Дело не кончилось бы особой бедой, потому что уровень воды оставался бы одинаковым у всех, но

жадный и неосторожный водоем придумал хитрость, приведшую к потере воды в большом канале. О происшедшем все догадались. Уровень снизился повсюду, даже в хитром водоеме. Тогда он сказал самому себе (в притчах все разговаривают, даже водоемы): «Странно! Я стал получать воды больше, чем раньше, и на какой-то момент уровень ее был у меня выше, чем у моих собратьев. И вот теперь я с горечью наблюдаю, как все мы, и я тоже, приближаемся к полному высыханию». Этот водоем, столь же несведущий в гидравлике, как и чуждый всякой нравственности, закрывал глаза на два обстоятельства: первое – подземная связь между всеми водоемами, непреодолимая преграда для него, несправедливо захотевшего пользоваться исключительным и постоянным преимуществом; второе – общая потеря воды из-за его хитроумного изобретения, потеря, которая будет продолжаться и приведет к полному исчезновению воды.

Я утверждаю, что в нашем социальном порядке присутствуют оба эти обстоятельства, и не учитывать их значит рассуждать необоснованно и неумно. Прежде всего между всеми отраслями промышленности существуют невидимые связи и некие трансмиссии между трудом и капиталом, которые не позволяют никому и ничему поднять свой обычный уровень выше, чем у всего остального, и притом сделать это на постоянной основе. Далее, при всех воображимых способах реализовать несправедливость, то есть протекцию, сразу возникает радикальная порочность, ведущая в конечном счете к полной потере всех богатств. Из этих двух обстоятельств следует, что уровень благосостояния снижается повсеместно, даже в протектируемых промышленных отраслях, как снижается уровень воды в жадном и глупом водоеме.

Я так и знал, что идея свободы обмена отклонит меня с пути моей основной темы. Ну, ладно, ладно! Идея эта поистине неотразима. Но все-таки вернемся к проблеме фиска.

Я сказал бы протекционистам: не согласитесь ли вы, учитывая настоятельные нужды республики, несколько поумерить вашу жадность? Когда казна находится в отчаянном положении, когда банкротство грозит поглотить ваше достояние и уничтожить вашу безопасность, когда таможня готова бросить нам, утопающим, спасительную доску спасения, когда она может наполнить государственные кассы, не вредя массам, а напротив, облегчая их тяжелую ношу налогов, неужели вы так и останетесь негибкими в вашем эгоизме? Вы должны сами в этот торжественный и решающий момент возложить на алтарь отечества жертву, о которой вы знаете и которую чувствуете, – жертву в виде части ваших привилегий. Вы будете вознаграждены уважением со стороны общества, да еще, осмелюсь предсказать, собственным материальным процветанием.

Неужели это требовать слишком многого – просить вас заменить запреты, ставшие несовместимыми с нашим конституционным законом, пошлинами в 20–30 процентов, то есть сократить наполовину тариф на железо и сталь, эти мускулы труда; на каменный уголь, этот хлеб промышленности; на шерсть, лен, хлопок, эти материалы для рабочих рук; на хлеб и мясо, эти соки для всякой жизненной силы?

И вот я уже вижу, как вы становитесь разумными⁵; вы принимаете мою нижайшую просьбу, и теперь мы можем бросить взгляд, нравственный и финансовый взгляд, на наш по-настоящему исправленный бюджет.

Вот появляются вещи, ставшие, наконец, доступными рукам и губам людей: соль, письма, напитки, сахар, кофе, железо, сталь, горючее, шерсть, лен, хлопок, мясо и хлеб! Если еще отменить и акциз, то мы получим глубокое преобразование или даже полную отмену отвратительного закона о рекрутировании, этого ужаса и бича наших деревень. И я спрашиваю, разве не пустит тогда республика глубочайших корней во все фибры народной души? Будет ли тогда легко сбить народ с толку, поколебать его? Понадобятся ли пятьсот тысяч штыков, чтобы

запугать партии... или обнадежить их? Не обретем ли мы укрытие от этих жутких потрясений, которыми, кажется, перенасыщен сам воздух? Не сможем ли мы, наконец, обрести обоснованную надежду на благополучие, не пойдем ли, что власть решительно встала на путь справедливости, возрождения труда, доверия, безопасности, кредита? Неужели химерично думать, что все эти благотворные следствия будут воздействовать на наши финансы гораздо более надежно и положительно, чем при посредстве высоких налогов и всяческих помех.

Что же касается нашего нынешнего финансового положения, то давайте посмотрим, что получится с ним.

Вот сокращения, к которым приведет предлагаемая система:

	франков
2 млн, почта; 45 млн, соль; 50 млн, напитки; 33 млн, сахар и кофе	130 000 000
Не будет никаким преувеличением ожидать добавочные 30 млн в актив бюджета в результате общего роста потребления и придания фискального характера таможен, то есть	30 000 000
Итоговая потеря дохода от реформы	100 000 000

Добавлю к этому, что потеря, ввиду самой своей природы, должна уменьшаться из года в год.

Снизить налоги (что далеко не всегда означает уменьшение выручки) – вот, следовательно, первая половина республиканской финансовой программы. Вы скажете: при наличии дефицита это весьма рискованно. Я отвечу: нет, это не риск и не безрассудство, а простая осторожность. Рискованно, безрассудно и неразумно – это продолжать упорно двигаться по дороге, которая уже привела нас к пропасти. Посмотрите, в каком мы оказались положении! Да вы и сами видите: косвенный налог вызывает у вас беспокойство, а на сборы от прямого налога вы рассчитываете лишь при условии, что в нем будет применена подвижная шкала. Так что же, бродим мы среди призраков или рассуждаем рационально? Да и как могло получиться иначе? Возьмем сотню человек, которые создают и вкладчину оплачивают общую силу, нужную им для обеспечения своей безопасности. Постепенно эту силу отвлекают от ее прямых обязанностей и ставят перед ней множество новых и иррациональных задач. Ввиду этого число людей, живущих на оплату собственной силы, растет, сама оплата тоже растет, а число платящих уменьшается. Зато растет недовольство и разочарование. Так как же собираются поступить? Вернуть общую силу к ее первоначальному предназначению? Нет, это, мол, слишком простенько, да и рискованно. Наши государственные деятели более дальновидны; они намереваются уменьшить число людей, платящих налоги, и увеличить число людей, живущих за счет налоговых поступлений. Для этого нам нужны новые ставки налогов, чтобы поддерживать подвижные шкалы, а подвижные шкалы нужны нам для обеспечения сбора новых налогов. Неужели в этом не видят порочного круга? Не желают видеть! И мы получаем и будем получать чудесенький результат, когда половина граждан обирает и обкарнывает другую половину. И это называется мудрой и практичной политикой! Все остальное, дескать, утопия. Дайте нам еще несколько лет, говорят, финансисты, позвольте нам довести до конца систему, и вы увидите, что мы достигнем в конце концов знаменитого равновесия, к которому мы стремились так долго и которому мешали как раз те самые способы, которые мы сами применяли два десятка лет.

Так что не так уж парадоксально, как может показаться с первого взгляда, взять да и

пойти обратным путем, искать равновесия в облегчении налогового бремени. И разве равновесие потеряет свое имя, если вместо трудных поисков 1500 миллионов мы легко получим 1200 миллионов?

Но эта первая часть программы обязательно должна иметь дополнение: снижение расходов. Без такого дополнения система, и тут я согласен, превращается в утопию. А с этим дополнением пусть попробует кто-нибудь сказать – кроме лиц, прямо заинтересованных в обратном, – что система не приведет прямо к цели и притом самой безопасной дорогой.

Добавлю, что уровень снижения расходов должен быть выше уровня поступлений, иначе, после выравнивания, все дальнейшие попытки улучшить положение будут тщетными.

Наконец, приходится сказать, что вся совокупность предлагаемых мер не может дать все свои положительные результаты в течение всего-навсего одного финансового года, как этого, быть может, ожидают.

Мы уже видели, когда говорили о выручках, что для того, чтобы придать им силу роста, основанную на принципе всеобщего благополучия и процветания, нужно начать с уменьшения суммы выручек, ибо для развития только что названной силы требуется определенное время.

То же самое и с расходами. Их сокращение может быть лишь постепенным, но неуклонно нарастающим.

Когда правительство довело свои расходы до слишком большой, прямо-таки удручающей цифры, это означает, иными словами, что многие, так сказать, пристроились к такому расточительству, которое стало для них кормушкой. Так что идея перейти к экономности, не затрагивая никого, содержит в себе противоречие. Выступать против реформы ввиду того, что она, дескать, ущемляет некоторых, означает отказ от всяких радикальных мер по исправлению положения, означает сказать: «Раз уж в мире утвердилась несправедливость, пусть она в нем и остается». Вот вам вечный софизм обожателей злоупотреблений.

Определенные ущемления некоторых индивидов представляют собой неизбежное следствие всякой реформы, хотя законодатели и должны постараться как-то смягчить их участь. Что до меня, то я не из тех, кто полагает, будто член общества, привлеченный самим обществом к какой-либо карьере, сделавший эту карьеру и постаревший на ней, ставший неспособным заниматься чем-либо другим, чтобы обеспечить свое существование, может быть ни с того ни с сего выброшен на улицу все тем же обществом. Всякое лишение человека тех занятий, к которым он привык и потратил на них всю свою активную жизнь, налагает на общество груз обязанностей, продиктованных гуманностью и, добавлю, строгим исполнением принципа справедливости.

Отсюда следует, что изменения, вносимые как в доходную, так и в расходную части бюджета, не могут дать немедленных результатов. Они лишь зерна, требующие времени для произрастания, и вся система предполагает, что расходы будут снижаться из года в год при замедляющихся темпах снижения, а доходы будут расти тоже из года в год параллельно повышению общего благосостояния, притом весь процесс будет проходить так, что в конце концов мы получим равновесие или еще что-нибудь получше.

Что касается так называемого разочарования в многочисленном классе чиновников, то я утверждаю, что при той растяжке во времени, о которой я только что сказал, я этого не опасуюсь. К тому же скрупулезность здесь – довольно странная вещь. Насколько мне известно, она несколько не мешала массовым смещениям с должностей после каждой революции. Да и посмотрите, какая огромная получается разница! Прогнать служащего, чтобы отдать его место другому служащему, это больше, чем нарушить его интересы, это унижить его достоинство и попать его глубокое чувство справедливости и права. Но когда увольнение, сопровождаемое возмещением и вознаграждением, есть результат упразднения самой должности как таковой, то

это может, конечно, как-то повредить человеку, но не вызовет у него раздражения и обиды. Рана в данном случае менее тяжела, и тот, кому она будет нанесена, утешится приличным государственным вознаграждением.

Мне нужно было представить эти соображения и размышления на суд читателя, потому что речь шла и идет о глубоких реформах, неизбежно вовлекающих в свою орбиту очень и очень многих наших сограждан.

Я не буду давать обзор всех расходных статей бюджета, хотя мне представляется полезным и политичным произвести здесь сокращения. Сам бюджет содержит в себе всю политику. Он бывает раздутым или тощим в зависимости от требований, предъявляемых государству общественным мнением. Зачем показывать, что упразднение такой-то правительственной службы даст такую-то экономию, если сам налогоплательщик предпочитает экономии услугу? Бывают реформы, требующие предварительных долгих дебатов и кропотливой обработки общественного мнения, и я не вижу, чего ради мне вступать на путь, по которому общественность наверняка за мной не последует. Сегодня Национальное собрание решило, что оно примет первый республиканский бюджет. У него для этого крайне мало времени. И чтобы рассказать о реформе, которая немедленно оказалась бы практичной, я должен отвлечься от общих и философских соображений, которыми поначалу намеревался поделиться с читателем. Я ограничусь тем, что лишь укажу на эти соображения.

Всякую радикальную финансовую реформу отбрасывает в далекое будущее то обстоятельство, что во Франции не любят свободу. Не любят чувствовать ответственность за самого себя, не доверяют собственным силам и обретают некоторую уверенность лишь тогда, когда чувствуют повсюду руку правительства, а это обходится дорого.

Если бы, например, верили в свободу образования, то что оставалось бы делать, кроме как упразднить *бюджет народного образования* ?

Если бы действительно дорожили свободой совести, то как ее реализовать иначе, кроме как упразднить бюджет культов?⁷

Если бы понимали, что сельское хозяйство совершенствуется сельскими хозяевами, а торговля торговцами, то пришли бы к заключению: сельскохозяйственный и торговый бюджет представляет собой излишество, от которого давно свободны передовые и развитые народы.

Если и необходим какой-то надзор государства в области образования, культов, торговли, то для этого достаточно иметь небольшое специализированное подразделение в министерстве внутренних дел, а иметь целых три министерства совсем не нужно.

Таким образом, свобода – вот первый и самый обильный источник экономного, но вполне достойного существования.

Однако этот источник не создан для наших губ и ртов. Почему? Единственно потому, что общественное мнение его отвергает.

Следовательно, при сохранении университетской монополии наши дети тоже будут напичкиваться ложными и римскими идеями, им будут прививать воинственный и революционный дух латинских авторов, они будут зубрить наизусть непристойные стихи Горация и окажутся совершенно неприспособленными к жизни современного общества. Мы так и не будем свободными, а следовательно, нам придется оплачивать наше собственное порабощение, потому что народы могут держаться в порабощении лишь за счет больших расходов.

⁷ Соглашение, заключенное между нашими отцами и церковью, препятствует этой реформе, столь желанной и столь соответствующей принципу справедливости.

Мы по-прежнему видим, как наше сельское хозяйство и торговля изнывают и чахнут в тисках наших ограничительных законов. Больше того, мы платим за их оцепенение, так как помехи, регламентация, ненужные формальности – все это может проводиться в жизнь лишь сотрудниками государственной силы, а сотрудники государственной силы могут жить лишь на бюджетные средства.

Повторю, что нынешнее зло неизлечимо нынешними способами, потому что общественное мнение приписывает угнетению и порабощению все наше интеллектуальное и промышленное развитие, хотя на деле угнетение и порабощение просто не могут его остановить и задушить.

Умами овладела странная и зловещая идея. Когда речь идет о политике, то полагают, будто социальный мотор, если так можно выразиться, действует в интересах и согласно взглядам индивидов. Придерживаются аксиомы Руссо «Всеобщая воля не может ошибаться». И, исходя из этого принципа, с энтузиазмом принимают декрет о всеобщем голосовании.

Но, со всех иных точек зрения, исходят из прямо противоположного. Не допускают и мысли, что двигатель прогресса – это индивидуальность, естественно стремящаяся к собственному благополучию, жаждущая света интеллекта и ведомая опытом. Нет, исходят из того, что человечество разделено на две части. С одной стороны, существуют индивиды, инертные, лишённые всяких побудительных мотивов, всяких принципов, ведущих к прогрессу, или же руководствующиеся извращёнными мотивами, которые, если дать волю таким индивидам, неизбежно приведут всех к абсолютному злу. С другой стороны, есть некое коллективное существо, общая сила – одним словом, правительство, которому приписывают врожденную ученость, естественное стремление к благу и наделяют миссией менять направление индивидуальных тенденций. Думают, что если бы люди были свободны, они отказались бы от всякого образования, всякой религии, всякой промышленности или, что еще хуже, старались бы иметь образование, чтобы совершать ошибки, религию – чтобы прийти к атеизму, труд – чтобы пожрать остатки разрушенного. Так что нужно, чтобы индивиды подчинялись регламентации, установленной коллективным существом, которое, однако, есть не что иное как собрание все тех же индивидов. Каким таким образом естественные склонности всех фракций общества направлены ко злу, а естественные склонности всего общества направлены к добру? Если все врожденные способности человека нацелены в ничто, то где правительство, состоящее тоже из людей, найдет точку опоры, чтобы переменить это самоубийственное направление?⁷

Как бы там ни было, пока господствует столь странная теория, приходится отказываться от свободы и от сопряженной с ней экономности. Приходится оплачивать собственные цепи, которыми скованы люди, ведь они любят эти цепи, а государство никогда не дает ничего даром, даже цепи.

Бюджет – это не только вся политика, это еще, во многих отношениях, и нравственность народа. Это зеркало, в котором, наподобие Рено, мы видим отражение наших предрассудков, пороков, сумасшедших претензий и видим также наказание за них. Мы видим в бюджете целый поток напрасных и вредных затрат, который мы не в силах остановить, так как не можем отказаться от склонностей, питающих этот поток. А что может быть бесполезнее и тщетнее, чем желать устранить результат, когда причина не исчезла? Не могу не поддаться искушению процитировать то, что я назвал бы, хотя это звучит жестко, духом нищеты, который заполнил души и умы всех классов, богатых и бедных⁸.

Разумеется, в сфере личных отношений французский характер не боится сравнений ни с чем, ибо обличается независимостью и гордостью. Упаси меня, Боже, порочить мою страну, тем более клеветать на нее. Но я не понимаю, как так получилось, что те же самые люди,

которые, даже впад в крайнюю нищету, стесняются просить милости у себе подобных, теряют всякую щепетильность и стыдливость, прося всяческое вмешательство государства, и закрывают глаза на низость подобного поведения. Пока не будет твердо потребована индивидуальная свобода, пока государство будет выступать посредником во всех делах, о достоинстве, видимо, придется забыть, и попрошайничество не будет стыдом, как не будет несправедливостью кража или грабеж. Землевладельцы, хозяева мануфактур, купцы, судовладельцы, художники, певцы, танцоры, писатели, чиновники всякого рода и ранга, предприниматели, поставщики, банкиры – все у нас во Франции чего-нибудь просят и все обращаются к бюджету. И вот уже весь народ, во всей своей массе, занимается тем же самым. Один хочет места, другой пенсии, тот премий, этот субсидий, пятый невесть что за вознаграждения, шестой ограничений, седьмой кредитов, восьмой какой-нибудь работы. Все общество устремляется к бюджету, чтобы урвать себе, в той или иной форме, какую-то его часть. В своей лихорадке калифорнийского пошиба оно забывает, что бюджет – не Сакраменто, где природа держит золото, и что бюджет содержит лишь то, что само общество-проситель вложило в него. Оно забывает, что щедрость власти никогда не может сравниться с его жадностью, потому что из своего фонда она всегда удерживает средства, необходимые для оплаты своей двойной службы – собирания налогов и распределения налоговых поступлений.

Чтобы придать всем этим неприглядным вещам какой-то авторитет и видимость системы, охотно обращаются к словечку «солидарность», которое в данном контексте означает не что иное как усилие всех граждан опустошить карманы друг друга, причем сделать это через дорогостоящее посредничество государства. Вполне понятно, что как только дух нищеты становится системой и почти наукой, как только создаются разорительные институции, тут уж нет никаких пределов воображению и фантазиям.

Однако, и мне приходится признать это, сейчас, прямо сей час, невозможно что-либо исправить, и я завершаю разбор этой проблемы вопросом: не думаете ли вы, что дух попрошайничества, доведенный до такой степени, когда вся нация грабит или пытается грабить бюджет, подорвет безопасность и достояние самого государства?

По тем же самым причинам нам плотно закрыт путь к другому и весьма значительному источнику обеспечения экономности. Я имею в виду Алжир. Надо смириться и платить, пока нация не поймет, что отправить в колонию сотню человек и вдобавок вдесятеро больше капитала, на который они могли бы жить во Франции, это не облегчить ничью участь, а обделить всех.

Поэтому продолжим поиски спасения где-нибудь еще.

Читатель должен согласиться, что я не утопист, ибо у меня хорошая коллекция и еще есть что урезать. Лично я – один из готовых к этому, даже лучше других. Но все ограничения наших самых ценных свобод, мания попрошайничества, самодовольство мнимыми завоеваниями – все это я уступаю общественному мнению. А взамен пусть оно позволит мне взять реванш и быть несколько радикальным в сфере внешней политики.

Ибо в конце концов, если общество хочет закрыть доступ к любой реформе, если оно заранее решило сохранить все как есть и ни в чем не допускать никаких перемен, когда речь заходит о наших расходах, тогда вся моя система рухнет, и реализация всех финансовых планов оказывается невозможной; нам не остается ничего, кроме как оставить народ под гнетом налогов и идти со склоненной головой к банкротству, к революции, к дезорганизации и к социальной войне.

Переходя к нашей внешней политике, я начну с двух постулатов, без принятия которых, смею сказать, спасения нет.

1. Развитие грубой силы отнюдь не необходимо, а, напротив, вредно для влияния Франции на другие страны.

2. Развитие грубой силы не необходимо, а вредно для нашей внешней и внутренней безопасности.

Из этих двух положений следует третье, а именно:

Надо разоружиться на суше и на море и сделать это как можно скорее.

Вы, ложные патриоты! Чем вы себя тешите? Однажды вы назвали меня предателем, потому что я требовал свободы. Как вы назовете меня сегодня, когда я требую мира?⁹

Здесь тоже первой преградой оказывается общественное мнение. Общественность сыта по горло всякими словами и понятиями: национальное величие, могущество, влияние, господство, готовность. Ей вдалбливают, что нация не должна терять своего ранга среди других наций. Поговорив о национальной гордости, начинают говорить о национальном интересе. Народу твердят, что надо демонстрировать признаки силы, чтобы обеспечить успех полезных переговоров, и что надо прогуливать по всем морям французский флаг, чтобы защитить нашу торговлю и быть хозяевами на отдаленных рынках.

Что все это такое? Надутый шар, который лопнет от простого укола булавкой.

Где сегодня наше влияние? В жерлах пушек или на остриях штыков? Нет, оно в идеях, в институциях и в демонстрации их успеха.

Народы воздействуют друг на друга искусством, литературой, философией, публицистикой, торговыми сделками, а особенно – собственным примером. Если же они прибегают к принуждению и угрозам, то я не думаю, что такого рода влияние способно развить принципы, благоприятствующие прогрессу человечества.

Возрождение литературы и искусств в Италии, революция 1688 г. в Англии, Декларация независимости Соединенных Штатов, конечно, содействовали тому благородному взлету, который помог нашим отцам совершить в 89-м году великие дела. Но где во всем этом видна рука грубой силы, где лишь она видна?

Нам говорят: триумф французского оружия в начале нашего века повсюду распространил наши идеи и поставил глубокую печать нашей политики на всей Европе.

Но знаем ли мы, можем ли знать, что было бы при ином развитии событий? Если бы на Францию не напали извне, если бы, доведенная до своего собственного завершения, не соскользнула в поток крови, если бы она не пришла к военному деспотизму, если бы, вместо того чтобы запугивать Европу, обрушиваться на нее и вызывать ее противодействие, Франция показала бы ей возвышенное зрелище того, как великий народ мирно творит свою собственную судьбу, создает разумные и благотворные институции, дает благополучие и счастье своим гражданам, то разве нашелся бы кто-нибудь, кто утверждал бы, что подобный пример не вызвал за нашими рубежами восторга угнетенных и не ослабил ненависть угнетателей? Разве сказал бы кто-нибудь, что при таком ходе вещей триумф демократии в Европе был бы полным, а не таким, каков он есть сегодня? Так пусть подсчитают, сколько было потеряно времени, сколько было утрачено справедливых и правомерных идей, сколько было впустую потрачено богатств, сколько иссякло реальных сил, и все из-за великих войн, которые дорого обошлись демократии; пусть учтут сомнения в ненадежности, которые целую четверть века отравляли народное право и политическую истину!

И потом, почему ушла куда-то из глубин нашего национального сознания беспристрастность, чем и объясняется, что наши попытки навязать ту или иную идею силой ранят в самое сердце наших братьев за рубежом? Мы, самый восприимчивый, да и самый обидчивый народ Европы, мы, которые с полным основанием не потерпели бы интервенции

какого-нибудь английского полка, пусть даже этот полк вернул бы на нашу родину статую Свободы и стал бы учить нас социальному совершенству, мы, согласные все и во всей стране, согласные вплоть до эмигрантов в Кобленце, что нам всегда необходимо единение, чтобы отбивать иностранные атаки и не давать чужим армиям вмешиваться в наши, пусть печальные, дела, мы со всеми этими качествами почему-то оказываемся такими, что у нас с губ постоянно слетает раздражающее всех слово «преобладание», и почему-то мы способны показать нашим братьям свободу лишь в виде обнаженной шпаги, приставленной к их груди! Как же мы дошли до жизни такой, что воображаем, будто человеческое сердце не везде одинаково и будто не везде у людей тоже есть гордость и отвращение к любой зависимости?

В конце-то концов, это пресловутое преобладание, чуждое всякой либеральности, к которому мы стремимся с такой слепотой и, по-моему, с такой несправедливостью, где оно, и обладали ли мы им когда-нибудь? Я вижу потуги, но не вижу результатов. Я вижу, что мы уже очень долго содержим огромную армию, огромный флот, которые буквально раздавливают наш народ, разоряют труженика, подталкивают нас к банкротству, грозят нам такими потрясающими бедствиями, которые мы даже не решаемся вообразить себе. Все это я вижу, но нигде не вижу преобладания, и если мы играем какую-то роль в судьбах Европы, то не благодаря грубой силе, а вопреки ей. Гордые нашим мнимым военным превосходством, мы рассорились с Соединенными Штатами, и нам пришлось уступить им. Мы устроили распрю по поводу Египта и тоже уступили. Мы из года в год давали множество обещаний Польше, Италии, но никто не отнесся к ним серьезно. Почему? Потому что развертывание наших сил вызвало такое же развертывание сил во всей Европе, и мы не могли сомневаться, что малейшая вспышка по малейшему поводу вызовет всеобщую войну, и лишь гуманные чувства и осторожность дальновидных государственных деятелей позволяли и позволяют не допустить такой перспективы.

Примечательно и поучительно, что есть такой народ, который очень далеко завел такую же претенциозную и беспокоившую всех политику, и мы реагировали на эту политику – быть может, ввиду жестокой необходимости. Но этот народ, а я говорю об английском народе, испытал такое же разочарование, что и мы. Этот народ претендовал быть единственным регулятором европейского равновесия, это равновесие нарушать потом десятком раз, но он и пальцем не пошевелил. Он решил быть монополистом в колониях, а мы захватили Алжир и Маркизские острова, но и тут пальцем не пошевелил. Правда, он, видимо, относился к нашим действиям с подозрительностью и явным неодобрением и охотно привязал бы пару пушечных ядер к нашим прытким ногам. Он считал себя собственником Орегона и хозяином Техаса, а Соединенные Штаты забрали себе Орегон, Техас, да еще прихватили часть Мексики, но он и пальцем не пошевелил. Все это доказывает нам, что если правители пропитаны духом войны, то управляемые пропитаны духом мира. Что до меня, то я не понимаю, зачем мы устроили демократическую революцию, если не ради того, чтобы возобладали дух демократии, той самой трудовой демократии, которая согласна оплачивать расходы на военный аппарат. Однако получается так, что военный аппарат разоряет демократию, подвергает ее опасностям и просто угнетает ее.

Я убежден, что настало время, когда весь гений французской революции должен быть сконцентрирован, проявлен и прославлен в таком акте величия, добропорядочности, прогресса, веры в себя – в таком акте, который еще никогда не совершался под солнцем. Я убежден, что настало время, когда Франция должна решительно провозгласить, что она видит солидарность народов во взаимосвязи их интересов и идей, а не во вмешательстве грубой силы. А чтобы придать беспспорный вес такого рода заявлению – ибо что такое пустой, хотя и яркий манифест? – я убежден, что настало время для Франции самой распустить и упразднить свою

грубую силу.

И если наше дорогое нам и славное отечество возьмет на себя инициативу такой революции, будучи страной европейской, то каких последствий и результатов следует ожидать?

Прежде всего – я и здесь я возвращаюсь к моей главной теме, – сразу выровняются наши финансы. Тем самым окажется вполне выполнимой первая часть моей реформы: будут смягчены налоги, расширится сфера приложения труда, будет доверие, благополучие, кредит, удовлетворительное потребление самых широких масс. И вот вам республика, любимая, вызывающая восхищение, скрепленная всем тем, что придает силу институциям, пользующимся народной симпатией; вот вам исчезновение даже воображаемого призрака банкротства; вот вам политическая смута, навсегда ушедшая в историю; вот вам, наконец, счастливая и исполненная славы Франция среди других наций, излучающая неодолимую власть примера.

И тогда воплощение в жизнь дела демократии не только зажжет сердца вне страны, но и свершится более легко внутри нее. И там, и у нас все труднее заставить полюбить революции, которые несут с собой новые налоги. И там, и у нас люди хотят выйти из этого злосчастного круга. Наша политика угроз служит иностранным правительствам причиной или поводом изымать у народов деньги и солдат. Каким же более простым и легким оказалось бы возрождение Европы, если бы под влиянием наших налоговых реформ, которые по существу являются предметом и проблемой симпатии или антипатии, она решила вслед за нами жизненно важные вопросы новых институций!

Кто и что может возразить на это?

Национальное достоинство. Я уже говорил, что оно должно означать. Разве Франция и Англия укрепили свое достоинство, когда, истощив свои народы налогами, чтобы создать крупные вооруженные силы, так и не выполнили своих прежних посулов и обещаний? В таком понимании национального достоинства виден четкий след нашего римского воспитания и образования. В ту эпоху, когда народы жили грабежом, им важно было как можно дальше распространить террор с помощью устрашения огромной военной силой. Так неужто все в том же положении находятся те, кто основывает свой прогресс на труде? Американский народ упрекают в том, что у него, мол, недостает достоинства. Если даже с этим согласиться, то это никак не относится к его внешней политике. Традиционное стремление американцев к миру и невмешательству придает их внешней политике внушающий уважение характер справедливости и величия.

«Каждый у себя, каждый за себя», – вот политика эгоизма и вот о чем все твердят. Ужасная вещь, если понимать ее, так сказать, всеохватывающе. Да, «каждый у себя», но ввиду наличия грубой силы. Однако лучи силы нравственной, интеллектуальной, промышленной, исходящей из каждого национального центра, свободно пересекаются друг с другом и создают свет братства во благо всего рода человеческого. Довольно странно, что нас обвиняют в эгоизме, ведь мы же всегда предлагаем экспансию (в положительном смысле слова) и выступаем против политики и системы ограничений. Наш принцип таков: «Как можно меньше контактов между правительствами, как можно больше контактов между людьми и народами». Почему? Потому что контакт правительств чреват нарушением мира, а контакт людей гарантирует мир.

Внешняя безопасность. Да, согласен, действительно существует этот сложный и неприятный вопрос, требующий решения. Грозит или не грозит нам вторжение? Некоторые искренне верят в такую опасность. Монархи, говорят они, слишком заинтересованы в том, чтобы окончательно погасить во Франции революционный очаг, и не преминут заполнить нашу страну своими солдатами, если она разоружится. Думающие так вправе требовать

сохранения и поддержания наших вооруженных сил. Но пусть они подумают и о последствиях. Если мы будем поддерживать наши вооруженные силы, мы не сможем серьезным образом снизить наши расходы, мы должны будем их увеличивать, и дефицит ежегодных бюджетов будет только расти. А если мы будем продолжать увеличивать налоги, то рост доходов от налоговых поступлений – вещь весьма и весьма ненадежная. Однако вещь вполне, так сказать, надежной будет разочарование, ненависть, сопротивление, так что мы, быть может, обеспечим безопасность внешнюю, но за счет резкого снижения безопасности внутренней.

Что касается меня, я не колеблясь проголосую за разоружение, потому что я не верю во вторжение. Откуда к нам нагрянут? Из Испании, Италии, Пруссии, Австрии? Это невозможно. Остаются Англия и Россия. Англия! Но она уже провела такой опыт, и двадцать два миллиарда долгов, по процентам за которые до сих пор расплачиваются трудящиеся этой страны, такой урок не может быть забыт. Россия! Но это химера. Россия не ищет контакта с Францией, а наоборот, избегает его. Если же император Николай вознамерится направить к нам тысячу двести москвитов, то самое лучшее, что мы тогда сделаем, это хорошо принять их, дать испробовать наших вин, показать улицы, магазины, благополучие людей, мягкость и принцип равенства нашего уголовного права, после чего мы скажем им: возвращайтесь восвояси в ваши степи и расскажите вашим братьям обо всем, что видели.

Защита торговли. Разве не нужно, говорят нам, иметь мощный флот, чтобы открывать новые пути для нашей торговли и господствовать на далеких рынках. Поистине странно мыслит и действует правительство по отношению к торговле. Оно начинает с учинения всяких преград, стесняет торговлю, ограничивает ее, душит, и все это за счет огромных средств. Потом, вспоминая, что оно где-то что-то сделало не так, оно милостиво разрешает некоторым крохам пробираться сквозь таможенное сито. Я хочу протезировать торговцев, говорит оно, а для этого я изыму у народа 150 миллионов, чтобы наши корабли, оснащенные пушками, бороздили моря и океаны. Но сначала девяносто девять процентов французской торговли будет вестись со странами, где наш флаг не развевался никогда, да и не будет развеваться. Разве у нас имеются базы в Англии, Соединенных Штатах, Бельгии, Испании, Германском таможенном союзе, России? Так что речь идет лишь о Майотте и Носсибе, островах Коморского архипелага. И получается, что у нас берут в виде налога больше франков, чем возвращают сантимов от торговли.

И потом, кто командует рынками сбыта? Рынком командует только и единственно сам хороший рынок, командует дешевизна. Посылайте куда угодно товары, которые стоят на пять су дороже, чем такие же английские или швейцарские товары, и никакие корабли с пушками не заставят их продать. А вот пошлите товары, стоящие на пять су дешевле, и они тотчас будут проданы без всяких пушек и кораблей. Разве вы не знаете, что Швейцария, не имеющая даже лодок, разве что на каких-нибудь из своих озер, выдавила из Гибралтара многое, вплоть до некоторых английских тканей, хотя гибралтарский порт сильно охраняется? И если дешевизна есть истинный защитник и покровитель торговли, то что делает наше правительство? Прежде всего оно поднимает своими тарифами цены на сырье, на все орудия и инструменты труда, на все предметы потребления. Затем, компенсируя себя, оно отягощает нас налогами под предлогом необходимости отправлять флот для завоевания рынков. Получается варварство, самое, так сказать, варварское варварство, и пройдет не так уж много времени, когда про нас скажут: «У этих французов XIX века были странные торговые системы, но тогда они, по меньшей мере, должны были бы воздержаться называть свой век веком просвещения».

Европейское равновесие. Нам еще нужна армия, чтобы поддерживать европейское равновесие и следить за ним. То же самое говорят англичане. В результате равновесие превращается в нечто колеблемое ветрами революций. Тема эта слишком обширна, чтобы

разбирать ее здесь. Но скажу несколько слов. Давайте остерегаться метафор, говорил Поль-Луи, и он был прав. И вот нам предлагают метафору, предлагают трижды, называя ее равновесием. Сначала у нас было равновесие европейских держав, потом равновесие сил и наконец равновесие торговли. Чтобы только перечислить все виды зла, порожденные этими так называемыми равновесиями, понадобились бы целые тома, а я пишу лишь брошюру.

Внутренняя безопасность. Худший враг логики, после метафоры, это порочный круг. В данном же случае мы имеем дело с порочным кругом в превосходной степени. «Будем давить на налогоплательщика, чтобы иметь большую армию, потом еще одну большую армию, чтобы держать в повиновении налогоплательщика». Разве не так? Какой внутренней безопасности можно ждать от финансовой системы, которая имеет своим следствием всеобщее разочарование и банкротство с политическими последствиями, вытекающими уже из него? Я полагаю, что если трудящимся дадут вздохнуть свободно, если они поверят, что для них делается все возможное, то возмутителям общественного спокойствия останется очень мало средств, способов и объектов для своих действий. Конечно, чтобы их сдерживать, достаточно было бы национальной гвардии, полиции и жандармерии. Но приходится учитывать и страхи людей в наше тревожное время. Страхи эти естественны и вполне оправданны. Так пойдем навстречу людям и выделим ради их спокойствия двести тысяч человек, пока не наступят лучшие времена. Как видите, дух моей системы, вообще пристрастие к систематизированию не захватывает меня ни абсолютно, ни полностью.

Теперь резюмируем все сказанное.

Мы сформулировали нашу программу так:

Снизить налоги и в большей степени уменьшить расходы.

Такая программа непременно приведет к равновесию, причем не путем разрухи и нищеты, а путем всеобщего благополучия и процветания.

В первой части этой моей статьи я предложил уменьшить самые разные налоги так, чтобы представленный ныне кабинетом бюджет потерял из своей доходной части сто миллионов.

Следовательно, моя программа будет выполнена, если, сообразуясь с моими предыдущими рассуждениями и соображениями, мы уменьшим расходы более чем на сто миллионов.

Между тем, хотя сокращения возможны и легки по многим службам, если люди хоть немного поверят в свободу, я могу отказаться от предлагаемых мною сокращений, учитывая заблудшее общественное мнение, и все-таки мы можем получить следующие результаты:

1. Издержки налогообложения. Как только косвенные налоги будут смягчены, стимулы для обмана и мошенничества сильно ослабеют. Надо, чтобы было меньше всяких помех, меньше стесняющих формальностей, меньше надзора инквизиторского толка – одним словом, меньше служащих и чиновников, занятых всем этим. То, что может дать в этом отношении одна лишь таможенная служба, уже очень велико. Допустим, что это будет 10 миллионов.

2. Издержки служб по борьбе с преступностью. Во всем мире не найдется вещей, которые были бы связаны между собой теснее, чем нищета и преступность. И если осуществление нашего плана будет иметь непреложным эффектом рост благосостояния и обеспеченность трудом людей, то это непременно приведет к снижению расходов на преследование, осуждение и наказание уменьшившегося числа преступников.

3. Помощь со стороны государства. То же самое надо сказать и о помощи, уровень которой должен снижаться по мере роста благосостояния.

4. Дела с иностранцами. Политика невмешательства, которую провозгласили и приветствовали наши отцы в 89-м году, которую начал проводить Ламартин под давлением

обстоятельств, оказавшихся сильнее его самого, которую Кавеньяк продолжал проводить с гордостью, эта политика ведет к упразднению всех посольств. Пусть это мало с финансовой точки зрения, но это много с точки зрения политической и нравственной.

5. Армия. Мы определили ее в двести тысяч людей в соответствии с требованиями момента. В деньгах это получается двести миллионов. Добавим еще пятьдесят для всякого рода особых случаев, отставок, увольнений, отпусков и т. п. Для нынешнего официального бюджета получается экономия в сто миллионов.

6. Военный флот. Требуют 130 миллионов. Дадим 80, а 50 вернем налогоплательщикам. Торговля от этого будет только чувствовать себя лучше.

7. Общественные работы. Должен признаться, что я далеко рьяный сторонник, которая ведет к обездвижению или потере задействованных капиталов. Тем не менее приходится склоняться перед необходимостью. От нас требуют 194 миллиона. Дадим 30.

Таким образом, мы без особых усилий получаем округленно 200 миллионов экономии на расходах; доход, напомним, составляет 100 миллионов. Так что мы находимся на пути к равновесию, и я считаю мою задачу выполненной.

Но задача кабинета министров и Национального собрания только начинается. И здесь, в заключение, я выскажу мою мысль всю целиком.

Я убежден, что только план, предложенный мною, или любой другой план, основанный на тех же принципах, может спасти республику, страну, общество. Все части этого плана взаимосвязаны. Если вы возьмете из него только первую часть – уменьшить налоги, – вы придете к революциям через банкротство; если возьмете только вторую часть – снизить расходы, – вы придете к революциям через нищету. А приняв план во всей его целостности, вы избежите банкротства, нищеты, революций, а сверх того обеспечите благополучие народа. Таким образом, план представляет собой законченную систему, которая, тоже вся целиком, либо восторжествует, либо провалится.

И все же я опасюсь, что такой единый и методически выдержанный план может быть плодом работы девятисот мозгов. Непременно появятся девятьсот проектов, которые будут сталкиваться друг с другом, и ни один не одержит победы.

Так что при всей доброй воле Национального собрания случай будет упущен и страна будет потеряна, если инициативу решительно не возьмет на себя кабинет министров.

Однако кабинет отвергает эту инициативу. Он представил свой бюджет, который не делает ничего во благо налогоплательщика и ведет к устрашающему дефициту. Затем он выступил с заявлением: «Я не буду излагать общие соображения, а поставлю на обсуждение детали, когда наступит подходящее время». Иными словами: я все предоставляю воле случая, вернее буду ждать шансов, которые столь же кошмарны, сколь и неминуемы, я ставлю на карту саму судьбу Франции, зная, что проиграю.

Зачем же так? Ведь кабинет состоит из людей умелых и опытных, из патриотов, из финансистов. Вряд ли какое-либо другое правительство лучше справилось бы с задачей всеобщего спасения.

Но оно и не пытается никого спасать. Почему? Потому что оно пришло к власти и стало заниматься делами, уже имея предвзятую идею. О ты, предвзятая идея! Я должен был бы показать тебя напрямую и воочию как бич всякой рассудительности и всякого нормального поведения, а не изображать тебя через метафоры и порочные круги!

Правительство сказало самому себе: «Мне нечего делать с этим Собранием, я не получу там большинства».

Я не буду рассматривать здесь все злосчастные последствия этой предвзятой идеи.

Когда полагают, что Собрание есть препятствие, значит готовы его распустить.

Когда готовы его распустить, значит собираются работать или маневрировать в заданном направлении.

Вот так прилагаются огромные усилия, чтобы сотворить зло, и это в момент, когда необходимо прилагать их для творения добра.

Время и силы потрачены на конфликт, достойный глубокого сожаления. И, положив руку на сердце, я утверждаю, что в этом конфликте не прав был кабинет.

В конце концов, чтобы как-то отрегулировать свою деятельность или, вернее, выйти из своего инертного состояния, кабинет должен был бы сказать: «У меня не будет большинства; поэтому я, по крайней мере, должен предложить что-нибудь полезное и ждать отказа, но в виде конкурирующего предложения».

Президент республики поступил гораздо более мудро, когда сказал в день своего вступления в должность: «У меня нет никакого основания думать, что я не буду согласен с Национальным собранием».

На чем же основывался кабинет, когда, заранее определив для себя прямо противоположную идею, начал проводить свою политику? Он основывался на том, что Национальное собрание с симпатией отнеслось к кандидатуре генерала Кавиньяка.

Однако кабинет не понял, что есть вещь, которую Собрание ставит в сто, в тысячу раз выше генерала Кавиньяка. Вещь эта – воля народа, выраженная во всеобщем голосовании в соответствии с Конституцией, разработанной им же, Собранием.

И вот я говорю, чтобы засвидетельствовать мое уважение к воле народа и к Конституции, этим двум якорям спасения, что дело, быть может, пошло бы лучше с Бонапартом, чем с самим Кавиньяком.

Да, было бы гораздо лучше, если бы правительство не раздувало конфликт, а сказало: «Выборы 20 декабря закрывают бурный период нашей революции. Теперь давайте вместе займемся обеспечением блага народа, административными и финансовыми реформами». Я уверен, что тогда Собрание охотно поддержало бы правительство, ибо оно, Собрание, страстно стремится к благу всех и ни к чему другому.

Теперь шанс упущен, и если мы не создадим новый шанс и не воспользуемся им, то на целые века ничего хорошего не будет с нашими финансами и со страной.

И тем не менее я верю, что если каждый не будет злопамятным и забудет свои обиды, Франция еще может быть спасена.

Министры республики! Не говорите, что вы сделаете что-нибудь позже. Иначе мы постараемся провести реформы с другим Собранием. Не говорите этого, потому что Франция уже подведена к самому краю пропасти. У нее нет времени ждать вас.

Бездеятельное правительство по причине существующей системы! Такого еще никогда не видывали. И долго вы будете являть нам такое зрелище? Правда, страна, разоренная, раненная, истерзанная, пока что не набрасывается на вас с кулаками, чтобы отомстить и наказать вас за свои страдания. Все ее недовольство направлено сегодня против Национального собрания. Это, конечно, редкостное обстоятельство для кабинета, которое его вполне устраивает. Но известно ли вам, что всякое ошибочное недовольство эфемерно и быстро проходит? Если бы вы сейчас, проявив сильную волю, поставили бы ультиматум перед Собранием, а оно отвергло бы его, страна почувствовала бы, что она права. Но вы не сделали и не сделаете этого. Рано или поздно страна прозреет, и если вы упрямо ничего не предлагаете, ничего не пытаетесь сделать, ничем не управляете, если, вследствие этого, положение с нашими финансами становится непоправимым, то предубеждение момента может вас простить, но история не простит вас никогда.

Сейчас решено, что бюджет будет принимать Национальное собрание. Но разве Собрание из девятисот членов, предоставленных самим себе, может выполнить столь сложную задачу, требующую увязки и согласования всех многочисленных статей бюджета? Их парламентской суматохи и неразберихи может получиться блуждание наощупь, слабые попытки сделать незнамо что, пустые желания и устремления, но никак не финансовый план.

Таково, по меньшей мере, мое убеждение. Если кабинет намерен выпустить из рук бразды правления, которые были вложены ему в руки вовсе не для того, чтобы пустить дело на самотек, если он решил оставаться невозмутимым и безразличным зрителем тщетных потуг Собрания, то пусть Собрание поостережется браться за дело, которое ему одному не по силам, пусть оно снимет с себя ответственность за ситуацию, за возникновение которой оно не несет никакой вины.

Но все-таки, я надеюсь, что так не будет. Я верю в это. Франции не придется переживать еще одно бедствие. Кабинет энергично, без задней мысли и с преданностью делу проявит инициативу, которую ему надлежит проявить. Он представит план финансовой реформы, основанной на двояком принципе: уменьшить налоги и в еще большей степени уменьшить расходы. И Собрание проголосует за него с энтузиазмом, не запутываясь до бесконечности в разного рода деталях.

Облегчить участь народа, убедить его полюбить республику, обеспечить безопасность при поддержке и добром расположении народа, устранить дефицит, поднять доверие, оживить труд, восстановить кредит, заставить отступить нищету, успокоить Европу, воплотить в жизнь справедливость, свободу, мир, явить всему миру зрелище великого народа, которым никогда не управляли лучше, чем когда он сам стал управлять собой, – разве все это благородное честолюбие правительства, разве не согреет сердце каждого, кто несет в своем сердце как наследие имя: Наполеон! Но это наследие, каким бы славным оно ни было, блистает отсутствием, если так позволительно выразиться, – отсутствием мира и свободы.

Речь о налоге на напитки¹

Граждане представители,

Я хотел поговорить о налоге на напитки в том духе, в каком, как мне казалось, он был задуман всеми вами, то есть в аспекте финансовой и политической необходимости. Я думал, что эта необходимость есть единственный мотив в поддержку и поддержание такого налога. Я думал, что в ваших глазах такой налог сосредоточивает в себе все черты, которыми наука характеризует плохие налоги. Я думал, что вы допускаете, что сам по себе этот налог несправедлив, создает неравенство, а выплата его сопряжена с оскорбительными формальностями. Но поскольку такие упреки к этому налогу, раздававшиеся из уст всех государственных деятелей со времени его введения, теперь подвергаются сомнению и оспариваются, и выскажу по этому поводу и свои несколько слов.

Прежде всего мы утверждаем, что налог этот несправедлив, и основываемся на следующем: возьмем земельные участки, находящиеся рядом друг с другом; с каждого из них платят поземельный налог, прямой налог; эти земли оценены, зарегистрированы и облагаются налогом по их ценности; далее, каждый может выращивать на своей земле что хочет; одни отводят ее под зерно, другие под пастбища, иные под гвоздики и розы и, наконец, под виноградники.

Так вот: из всех этих продуктов имеется один, один-единственный, который, поступив в товарное обращение, облагается налогом, дающим казне 106 миллионов. Все остальные

сельскохозяйственные продукты свободны от этого налога.

Могут сказать, что налог этот полезен, необходим, но я веду речь об ином: никто не может сказать, что он несправедлив по отношению к земельному собственнику.

Утверждается также, что налог не затрагивает непосредственного производителя. Вот это-то мы сейчас и разберем.

Мы говорим, помимо прочего, что налог плохо распределен между его плательщиками.

И в самом деле, я был очень удивлен, что против этого спорят, так как в конце концов... (Шум в зале.)

Голос слева: Говорите громче!

Председательствующий: Призываю Собрание к тишине.

Г-н Бастиа: Что ж, я могу оставить аргумент, который собирался высказать, и пойду дальше.

Голоса из зала: Говорите, говорите!

Г-н Бастиа: И все-таки мне кажется, что дело настолько ясно и что налог плохо распределен со всей очевидностью, что мне действительно как-то неловко еще и доказывать это.

Когда мы видим, например, что какой-нибудь человек устроит себе большую попойку, выпивает шампанского на 6 франков и платит такой же налог, что и рабочий, который нуждается в восстановлении своих сил для завтрашнего труда и выпивает на 6 су самого простого вина, никак нельзя утверждать, что нет тут никакого неравенства; оно есть, чудовищное неравенство в распределении налога на напитки. (Возгласы «Верно, очень верно!»)

Произвели, видите ли, расчет и решили, что налог этот – ерунда, он измеряется какими-то сотыми долями, и его можно не принимать во внимание. На целый класс граждан взваливают груз в 106 миллионов и приговаривают: ничего, мол, особенного, вы должны чувствовать себя счастливыми! Люди, выдвигающие такой аргумент, должны были бы прийти сюда и сказать: мы занимаемся таким-то и таким-то видом деятельности, и мы настолько убеждены в том, что этот налог, разделенный между всеми, почти ничтожно мал для потребителя, что мы охотно платили бы такой же налог с отрасли, которой мы занимаемся. Вот если бы они так выступили этой трибуны, я сказал бы: эти люди искренни в защите налога на напитки.

Но вот вам цифры. В департаменте Н средняя оптовая цена вин составляет 11 фр.; средняя розничная цена 41 фр. Разница существенна, и ясно, что тот, кто может позволить себе оптовую закупку вина, платит 11 фр., а кто вынужден покупать вино в розницу, платит 41 фр. Разность между 11 и 41 фр. составляет 30 фр. (Шум в зале.)

Голос справа: Эта разница зависит не от налога; то же самое происходит со всеми товарами.

Председательствующий: Г-н де Шаранси сделал свои расчеты. Позвольте же оратору сделать свои.

Г-н Бастиа: Я мог бы сказать то же самое о других департаментах, но просто взял первый в их списке. Конечно, розничный получает прибыль, но названная мною разность между оптовой и розничной ценой примерно везде одинакова.

Вот уже два дня тут занимались поисками весьма необычных вещей, и я не удивлюсь, если опять начнут доказывать, что обсуждаемый нами налог не вредит никому, ни производителю, ни потребителю. Так давай обложим налогами все на свете, не только вина, а все продукты!

Далее. Дорого обходится само изымание этого налога. Я не стану приводить цифры, чтобы доказать это. Цифрами можно доказать что угодно. Когда с этой трибуны сыплют цифрами, им верят потому, дескать, что это официальные цифры. Но официальные цифры

вводят в заблуждение с таким же успехом, как и цифры неофициальные; все зависит от способов их подачи.

А чистый факт состоит в том, что когда мы видим территорию Франции, сплошь покрытую агентами по сбору этого налога, то позволительно думать, что такая процедура стоит очень дорого.

Наконец, мы утверждаем, что само соби́рание этого налога сопровождается оскорбительными формальностями. Этому пункта не коснулся ни один из ораторов, вышедших передо мной на эту трибуну. Меня это не удивляет, так как все они или почти все избраны департаментами, где нет виноградников. А вот если бы они жили в наших департаментах, они знали бы, что собственники виноградников настроены не столько против самого налога на напитки и даже не столько против его цифры, сколько против стеснительных, унижительных и просто опасных формальностей, против всяких ловушек и капканов, расставленных вокруг них. (Возгласы одобрения слева.)

Все прекрасно знают, что когда еще только задумывалась столь экстраординарная идея и великая утопия, а тогда она действительно была великой утопией, ввести налог на обращающиеся вина, не проведя никакой инвентаризации в этой области, это привело к тому, что для обеспечения сбора налога пришлось изобрести некий кодекс, притом самый оскорбительный, иначе как соберешь налог? И вот чуть ли не к каждой бутылке вина приставляется служащий, чтобы проверить, подпадает бутылка под правило или нет. Для этого нужна огромнейшая армия служащих, и появляется куча обид, недоразумений, оскорблений, против чего, повторяю, и протестуют налогоплательщики, протестуют больше и горячее, чем против самого налога как такового.

Налог на напитки ведет к еще одному очень серьезному последствию, о котором тоже никто и ничего не сказал с этой трибуны.

Налог на напитки внес сумятицу и неразбериху в экономический феномен огромной важности, который именуется разделением труда. Раньше виноградники разводили на землях, пригодных для этой культуры, – на склонах холмов, на каменистых почвах; хлеб выращивали на равнинах или на невысоких плоскогорьях, на наносных землях. Поначалу хотели было инвентаризировать земли, но против такого способа взимания налога восстали все земельные собственники. Они тут же указывали на свое право собственности, и поскольку их было три миллиона, к ним прислушались. И вот тогда всю тяжесть налога взвалили на кабатчиков; и так как их насчитывалось триста тысяч, было решено, что собственность трехсот тысяч не столь хороша, как собственность трех миллионов, хотя, по моему убеждению, собственность есть собственность, и подход тут должен быть единым.

Как же это сказилось на собственниках? Думаю, что собственники сами виноваты в том, что допустили такой промах и несправедливость. При этом получилось так, что поскольку эти собственники могли потреблять свой продукт сами, для собственных нужд, и тогда не платили бы никакого налога, то для того, чтобы тоже не платить налога, а особенно избежать формальностей и риска, связанных с этим налогом, собственники равнинных и наносных земель вдруг все пожелали разводить виноградники и производить вино для собственного потребления. Я со всей достоверностью заявляю, что в департаменте, чьим представителем я являюсь, либо на всей его территории, либо на очень значительной ее части вы не найдете ни одной фермы, где не было бы виноградников, чтобы делать вино для семейного потребления. Вино получается плохое, но зато люди получают большое преимущество, избавляясь от косвенных налогов и от всякого риска, связанного с визитами сборщиков налогов.

Это обстоятельство в некоторой степени объясняет рост числа виноградников. Во многом этот рост выражает недовольство земельных собственников, которые считают себя жертвами

несправедливости. А им отвечают: такая жертва – не в счет, она ничто, потому что вообще во Франции разводят виноградники.

Прежде всего я хотел бы, чтобы мне привели в пример хотя бы одну промышленную отрасль, которая с 1788 до 1850 г., то есть за шестьдесят два года, не развивалась бы такими же темпами. Я хотел бы знать, разве не росли с той же самой быстротой добыча каменного угля, выплавка железа, производство сукна. Я хотел бы знать, существует ли в промышленности отрасль, которая не выросла бы как минимум на четверть за эти шесть десятков лет. Так разве удивительно, что такими же темпами естественно выросла самая древняя отрасль нашего земледелия, отрасль, которая может снабдить своими продуктами весь мир? Однако этот рост, господа, вызван самим законом. Из-за закона виноградники перекочевывают со склонов холмов на равнины, и все ради того, чтобы избежать унижений и оскорблений, сопряженных с изыманием косвенных налогов. Отсюда и пертурбация, неразбериха.

Позвольте мне обратить ваше внимание на один факт почти местного значения, поскольку он касается только одного избирательного округа, но, по-моему, факт этот имеет немалое значение, потому что он сопряжен с общим законом.

Этот факт, господа, позволит также ответить на аргумент, с которым выступали с этой трибуны, когда, ссылаясь на авторитет Адама Смита, утверждали, что всякий налог всегда падает на потребителя. Отсюда делают вывод, что вот уже сорок лет все собственники виноградников во Франции неправы, выдвигая свои жалобы, и вообще не знают сути того, о чем говорят. Да, я тоже принадлежу к тем, кто считает, что налог падает на потребителя. Но я утверждаю: такой результат, такое следствие сложилось за долгое время, когда обладатели собственности менялись, когда собственность переходила из рук в руки, и все это было связано с изменениями, тоже медленными, экономических условий и порядков. И в течение всего этого времени, пока длилась и длится такая революция, страдания были и остаются великими, огромными.

Мой округ, где развито виноградарство, когда-то процветал. Все жили благополучно, люди культивировали виноград, вина потреблялись либо на месте, либо на соседних равнинах, где не было виноградников, либо продавались за границу, в северную часть Европы.

И вдруг, нежданно-негаданно, разразилась таможенная и пошлинная война, которая повысила все налоги и обесценила вино.

Страна, о которой я говорю, вся страна культивировалась, особенно в том, что касается виноделия, фермерами-арендаторами. Фермер получал половину, земельный собственник – другую половину продукта. Земля ферм культивировалась таким образом, что фермер с семьей вполне мог неплохо жить за счет получаемой им половины вина. Но ценность вина резко упала, и эта половина уже не давала фермеру средств существования. Тогда он обратился к собственнику земли и сказал ему: я уже не могу выращивать ваш виноград, если вы не будете кормить меня. Собственник дал ему кукурузы, чтобы тот мог как-то жить, а в конце года забрал себе весь урожай винограда, чтобы компенсировать свой кукурузный аванс. Урожая, однако, не хватило для покрытия всех его авансов, и контракт был изменен, притом не через нотариуса, а фактически: собственник нанял поденщиков, которых за всю их работу лишь кормил кукурузой.

Надо было тем не менее как-то выходить из положения, и вот как произошла соответствующая революция. Фермы были укрупнены, то есть вместо трех ферм стало две, вместо двух – одна. Затем на некоторых землях были выкорчеваны виноградники и посажена кукуруза, и стали говорить: на эту кукурузу фермер может жить, и землевладельцу не придется ничего давать ему на пропитание.

И получилось так, что на всей территории ломали дома и упраздняли фермы. Следствием

этого было то, что разорилось столько же семей, сколько было уничтожено ферм. Наступило ужасное обезлюдение, и вот уже двадцать пять лет подряд смертность превышает рождаемость.

Разумеется, когда революция, о которой я говорю, будет завершена полностью, когда земельные собственники будут покупать за 10 тысяч фр. то, за что они раньше платили 30 тысяч фр., когда число фермеров будет сведено до уровня средств существования, которыми может снабдить их страна, вот тогда, как я думаю, население не сможет больше выступать против налога на напитки; революция будет сделана, налог будет взвален на потребителя; но эта революция будет совершена за счет страданий, которые продлятся целый век или целых два века.

Я спрашиваю, ради этого ли мы создаем законы? Я спрашиваю, неужели мы собираем налоги, чтобы баламутить население и заставлять его работать то на холмах, то на равнинах, или наоборот? Я спрашиваю, не в этом ли заключается цель законодательства: Лично я так не думаю.

Но, господа, тщетно мы будем атаковать налоги, говорить, что они неравны, оскорбительны, несправедливы и что сбор их обходится недешево. Есть некий резон, перед которым все склоняют головы. Резон этот – необходимость. На эту необходимость непрестанно ссылаются, она заставляет вас произносить с этой трибуны слова, оправдывающие налоги. Необходимость и только необходимость движет вами. Боятся финансовых затруднений, боятся результатов реформы (а я вполне могу назвать предлагаемой мной реформой), которая будет иметь немедленным последствием изъятие из государственной казны ста миллионов. Вот об этой необходимости я и хочу поговорить.

Господа, я согласен, что необходимость существует и что она настоятельна и не терпит отлагательств. Да, баланс, не баланс Франции, а баланс французского правительства, можно подвести всего несколькими словами. Вот уже двадцать или двадцать пять лет налогоплательщики поставляют в казначейство сумму, которая, как я думаю, выросла вдвое за это время. Сменявшие друг друга правительства нашли способ пожирать и начальную сумму и все излишки, получаемые от налогоплательщиков. Добавим к этому государственный долг в один или два миллиарда. Далее, к началу года мы приходим с дефицитом в 500–600 миллионов. Наконец, мы начинаем предстоящий год с негарантированными поступлениями в бюджет на сумму в 300 миллионов.

Вот таково положение. Думаю, уместно задаться вопросом, в чем же причина этого состояния и будет ли разумным и осторожным прийти к умозаключению, что самое лучшее – точь-в-точь как раньше. Это значит ничего или почти ничего не менять, отделяваясь мелкими поправками, в нашей финансовой системе, идет ли речь о доходной или расходной части бюджета. Мне кажется, что такая манера подобна поведению инженера, который пустил по рельсам свой паровоз, потерпел крушение, обнаружил его причину, выявил все недостатки и недоделки, ничего не исправил и пустил тот же паровоз по тем же рельсам. (Возгласы одобрения слева.)

Да, необходимость существует, но она двойственна. Фактически имеются две необходимости.

Вы говорите только об одной необходимости, г-н министр финансов. Но я скажу вам о другой, очень серьезной и важной. Я даже считаю ее важнее, чем та, о которой говорите вы. Эта необходимость заключена в двух словах: Февральская революция.

Вмешался, ввиду злоупотребления (а я могу назвать злоупотреблениями все то, что привело наши финансы к их нынешнему состоянию), да, говорю я, вмешался один факт. Этот факт называют иногда неожиданностью. Я не считаю его неожиданностью. Вполне возможно, и так бывает, что какое-нибудь внешнее обстоятельство могло быть результатом случая, которого

можно было бы избежать...

Г-н Бартелеми Сент-Илер: Только оттянуть во времени.

Несколько голосов слева: Да, да, только оттянуть!

Г-н Бастиа: Но общие причины не быстротечны. Это как если бы вы мне сказали, когда легкий бриз заставил упасть с дерева плод, как если бы вы сказали, что если бы можно было остановить бриз, плод не упал бы. Да, не упал бы, но при условии, что плод не сгнил и не источен червями. (Возгласы одобрения слева.) Так вот, факт, о котором я говорю, все-таки произошел и дал мощный политический толчок всей массе населения. Это был серьезный факт.

Г-н Фулд, министр финансов: Почему временное правительство не отменило налог на напитки?

Г-н Бастиа: Оно не проконсультировалось со мной, не показало мне законопроект, не пригласило меня дать консультацию. Но вот у нас есть сейчас проект, и, отклоняя ваш проект, я позволю себе сказать вам, на чем я основываюсь. А основываюсь я вот на чем: на вашу голову давит не одна необходимость, а две, причем вторая необходимость столь же настоятельна, что и первая: соблюдать справедливость по отношению ко всем гражданам. (Возгласы согласия и одобрения слева.)

Я продолжаю. После свершившейся революции вам следует заниматься политическим положением во Франции, которое, скажу я вам плачевно. Я не возлагаю вину за это на сегодняшнее правительство, так как дело восходит из более далекого времени.

Разве вы не видите, что во Франции образовалась бюрократия, ставшая аристократией, пожирающей страну? Промышленность чахнет, народ мучается. Мне хорошо известно, что он ищет способа излечиться в безумных утопиях. Но это не есть основание, чтобы распахнуть двери перед такими утопиями и сохранить в неприкосновенности все те вопиющие несправедливости, о которых я говорю с этой трибуны.

Я полагаю, что на страдания страны и на причины, их вызвавшие, обращается совершенно недостаточно внимания. А причины эти кроются в полутора миллиардах, которые хотят отнять у страны, но она не в состоянии их выплатить.

Прошу вас, умоляю вас поразмыслить очень просто, как сам я это нередко делаю. Я задаюсь вопросом, что случилось с моими друзьями детства и товарищами по колледжу. И, знаете ли, из двадцати человек пятнадцать стали чиновниками, и я убежден, что если вы произведете подобный расчет, вы придете к такому же результату. (Одобрительный смех слева.)

Г-н Берар: В этом-то и заключена причина революций.

Г-н Бастиа: Я задаю себе еще один вопрос, вот какой:

Если перебрать в уме всех моих товарищей одного за другим, то оказывают ли они стране реальные услуги, которые были бы эквивалентны тому, что платит им страна? И почти всегда я вынужден отвечать сам себе: нет, дело обстоит совсем не так.

Ну, разве не достойно глубокого сожаления такое положение, что огромная масса труда и интеллекта отнимается у реального производства и идет на кормление бесполезных и почти всегда вредоносных чиновников? Ибо в том, что касается государственных чиновников, не бывает чего-то среднего и нейтрального: если они не полезны, притом очень полезны, то они вредны; если они не обеспечивают и не поддерживают свободу граждан, они их угнетают. (Возгласы одобрения слева.)

Я говорю, что это ставит правительство перед колоссальной необходимостью. Какой же план нам предлагают? Скажу откровенно, если бы министр заявил: надо сохранить налог на некоторое время, но вот финансовая реформа, которую я предлагаю, вот она во всей своей полноте; нужен лишь какой-то период, чтобы она преуспела, требуется четыре-пять лет, потому что все сразу мы сделать не сможем, – я бы понял эти оговорки, эту необходимость, и мог бы

уступить.

Но ничего такого не происходит, и нам говорят: давайте восстановим налог на напитки. Я даже не знаю, намекают ли тем самым на восстановление налогов на соль и на почтовые отправления.

А ваше снижение расходов смехотворно: ну, будет на 3–4 тысячи солдат меньше, зато остается все та же финансовая система, которая, по-моему, не может больше держаться в стране, не разрушая ее. (Снова возгласы одобрения слева.)

Господа, невозможно рассуждать на эту тему с какой-то иной точки зрения. Погибнет ли Франция за столь короткое время? Я осмелюсь спросить г-на министра финансов, сколько времени, по его мнению, продлится существование этой системы. Дотянуть до конца года с более или менее приемлемым соотношением доходов и расходов – это еще не все; надо знать, будет ли такая обстановка продолжена.

Однако с такой точки зрения я обязан рассмотреть вопрос о налогообложении вообще. (Возгласы о желании поскорее услышать, что скажет оратор дальше, в правой части зала.)

Многочисленные голоса: Говорите, говорите!

Председательствующий: Вы поставили вопрос. Объяснитесь!

Г-н Бастиа: Я полагаю, господа, что я вправе высказать с этой трибуны, под мою ответственность, даже абсурдные идеи. Другие ораторы высказывали здесь свои соображения, и смею думать, что они не более ясны и понятны, чем мои. Вы терпеливо выслушали их. Вы отвергли план всеобщей ликвидации, предложенный г-ном Прудоном, и фаланстеры г-на Консидерана, но вы выслушали их. Больше того, устами г-н Тьера вы заявили, что если кто-нибудь думает, что у него есть полезная мысль, он обязан донести ее до всех с этой трибуны. Так что когда из зала кричат: «Говорите, говорите!», да еще с оттенком вызова, меня нужно выслушать. (Голоса: «Правильно, очень хорошо!»)

Господа, в последнее время много занимались вопросом о налогообложении. Должен ли налог быть прямым или косвенным?

Только что, передо мной, мы выслушали хвалу косвенному налогу.

Так вот, я выступаю категорически против всяких косвенных налогов вообще.

Я думаю, что существует некий объективный закон налога, который определяющим образом воздействует на весь этот вопрос и который я формулирую так: неравенство налога находится в прямой зависимости от его объема. Я хочу этим сказать, что чем меньше налог, тем легче распределить его между всеми и справедливо. И наоборот, чем он больше, тем труднее это сделать. Больше того, несмотря даже на добрую волю законодателя, такой налог имеет тенденцию распределяться неравномерно; он становится, так сказать, прогрессивным навыворот, то есть бьет по гражданам в обратной пропорции к их возможностям и способностям. Я расцениваю этот закон как очень серьезный и неизбежный, а его последствия настолько важны, что я прошу вас позволить мне разъяснить его обстоятельно.

Допустим, что Франция давно управляется по моей системе, которая заключается в том, что правительство поддерживает каждого гражданина в пределах его прав и в рамках справедливости, а во всем остальном каждый полагается на самого себя. Я так предполагаю. Легко увидеть, что в таком случае Францией можно было бы управлять, имея государственный бюджет в 200–300 миллионов. И ясно, что если бы Франция управлялась с помощью 200 миллионов, было бы легко установить единый и пропорциональный налог. (Шум в зале.)

Мое предположение будет воплощено в жизнь. Вопрос только в том, реализуется ли оно благодаря прозорливости законодателей или по причине вечных политических конвульсий. (Возгласы одобрения слева.)

Эта идея принадлежит не мне. Если бы она была моя, я отнесся бы к ней с величайшей

осторожностью. Но мы видим, что все народы мира близки к своему счастью или далеки от него в зависимости от того, приближаются ли они к реализации этой идеи или отдаляются от нее. Она, например, осуществлена почти полностью в Соединенных Штатах.

В Массачусетсе не знают иного налога, кроме прямого, единого и прогрессивного. Следовательно, если бы и у нас было так, то, как вполне можно понять, ибо я излагаю лишь сам принцип, не было бы ничего более легкого, чем изымать у граждан небольшую и пропорциональную долю от всех реализованных ими ценностей. Это была бы такая мелочь, что никто не стал бы скрывать – по меньшей мере сильно скрывать – свое достояние, чтобы уклониться от столь мизерного налога.

Такова первая часть моей аксиомы.

Но если вы потребуете от граждан не 200 миллионов, а 500, 600, 800 миллионов, тогда, по мере того как вы будете увеличивать налоги, прямой налог будет от вас ускользать, и совершенно ясно, что вы достигнете момента, когда гражданин скорее возьмет в руки ружье, чем отдаст государству, скажем, половину своего достояния.

Голос из зала: Как в департаменте Ардеш.

Г-н Бастиа: И вот тогда вам не будут платить. Что же придется делать? Придется прибегнуть к косвенным налогам. Так поступают везде, где хотят много расходовать. И везде, где только государство вознамерится дать гражданам всякого рода блага, образование, религию, одарить их высокой нравственностью, оно должно увеличивать и увеличивать эти самые косвенные налоги.

Так что я утверждаю, что, вступив на такой путь, неизбежно придут к неравенству налогов. Неравенство всегда порождается самими косвенными налогами. Причина тут проста. Если средств на расходы не хватает, всегда можно прибегнуть к некоторым косвенным налогам, дополнительным косвенным налогам, которые нарушают равенство, но не коробят чувства справедливости, потому что ими чаще всего облагаются предметы роскоши. Однако, когда хотят раздобыть много денег, выдвигают уже откровенный принцип и в обстановке, которую я сейчас обрисовываю, заявляют, что лучший налог – это налог, который затрагивает предметы самого широкого потребления. Этот принцип признается всеми нашими финансистами и всеми нашими государственными деятелями. И это вполне логично для правительств, стремящихся забрать как можно больше денег у народа. Однако тогда вы приходите к вопиющему неравенству.

Что же представляет собой этот предмет самого широкого потребления? Это предмет, который бедняк потребляет примерно в той же пропорции, что и богач, но рабочий тратит на него весь свой заработок. Так, агент по обмену валюты зарабатывает 500 фр. в день, а рабочий зарабатывает 500 фр. в год. Формальная справедливость требует, чтобы казна получала 500 фр. от агента по обмену и 500 фр. от рабочего. Но агент по обмену купит себе дорогую драпировку, бронзовые изделия и другие вещицы такого же рода, то есть предметы ограниченного потребления, не облагаемые налогом, а рабочий покупает вино, соль, табак, то есть предметы широкого потребления, буквально перегруженные налогами. (Шум в зале и попытки прервать оратора.)

Г-н Лаказ: Если бы агент по обмену не покупал этих вещей, рабочему не на что было бы жить.

Г-н Бастиа: Но разве отмена налога на напитки помешает агенту по обмену покупать бронзу и драпировку? Меня не опровергнет никакой финансист. В системе косвенных налогов нет ничего рационального и подлинно разумного, в этой самой системе, которую я совершенно не одобряю и которая облагает налогами предметы широчайшего потребления. Вы начинаете с обложения налогом самого воздуха, пригодного для дыхания, ибо устанавливаете налог на

двери и окна, потом вы облагаете соль, потом напитки, потом табак и, в конце концов, все на свете.

Я утверждаю, что эта система долго не продержится, потому, хотя бы, что у нас существует право всеобщего голосования. Добавлю, что слеп и неосторожен тот человек, который не видит необходимости также и с этой стороны, а видит лишь необходимость, о которой я говорил чуть ранее. (Горячее одобрение слева.)

У меня есть и другой упрек по поводу косвенного налога. Как раз он-то и создает необходимости, о которых у нас идет речь, – финансовые необходимости. Неужели вы думаете, что если от каждого гражданина потребуют платить налоги в прямой форме, если ему будут присылать письменное уведомление с указанием не только общей суммы годовой уплаты с указанием, из каких конкретных налогов складывается общий налог, а это нетрудно сделать, и это будет способствовать справедливости, поможет полиции, Алжиру, экспедиционному корпусу в Риме и т. д.; неужели вы думаете, что из-за всего этого страна будет плохо управляться? Г-н Шаранси пытался убедить нас здесь, что при косвенном налогообложении страна будет управляться превосходно. Я же убежден в обратном. При всех этих, так сказать, вывороченных налогах, взимание которых связано с хитростью и всякими уловками, народ страдает, выражает недовольство и готов посягнуть на все – на капитал, на собственность, на монархию, на республику, и во всем этом виновен такой налог. (Голоса: «Верно, очень верно!»)

Правительство, изыскивая всяческие способы, сильно увеличило свои расходы. Когда же оно остановилось? Ведь оно говорит: у нас образовался излишек доходов, и мы снизим налоги. Никогда оно этого не сделало. Когда есть излишек, всегда найдут, куда его деть. Вот почему, кстати сказать, число чиновников выросло до огромной цифры.

Нас обвиняют в том, что мы мальтузианцы. Да, я мальтузианец касательно государственных чиновников. Я хорошо знаю, что они тоже подчиняются великому закону, согласно которому численность народонаселения в конце концов уравнивается с возможностями имеющихся средств существования. Вы дали государственным чиновникам 800 миллионов, и они пожрали 800 миллионов. Вы дадите им два миллиарда, их численность вырастет, и они пожрут два миллиарда. (Возгласы согласия с оратором со многих скамей.)

Изменение финансовой системы неизбежно влечет за собой изменение политической системы, ибо страна не может проводить одну и ту же политику, когда население дает властям два миллиарда или когда оно дает им 200–300 миллионов. И в этом, наверное, вы сочтете, что я сильно расхожусь во мнениях с большим числом членов, сидящих по эту сторону (слева). Для всякого серьезного человека неперемutable и непреложное следствие той финансовой теории, которую я здесь излагаю, таково: раз государству не хотят давать много, то надо научиться и не требовать от него много. (Возгласы одобрения.)

Вполне очевидно, что если вы вбили себе в голову великую иллюзию, будто общество характеризуется двумя его составляющими: с одной стороны, просто людьми, а с другой, неким фиктивным существом, которое именуется государством, правительством, и при этом вы приписываете государству, правительству высокую нравственность, способную противостоять любым испытаниям, религиозность, кредитоспособность, способность распространять повсюду всяческие блага и самую разнообразную помощь, если вы во все это верите, то вы оказываетесь в смешном положении людей, заявляющих: давайте нам все, а у нас не берите ничего, – что, по сути, равносильно утверждению: оставьте в покое нынешнюю пагубную систему, при которой мы живем.

Надо уметь отказаться от подобных идей, надо уметь быть людьми и сказать самим себе: мы сами ответственны за наше существование, и мы справимся со всеми испытаниями. (Возгласы «Хорошо, правильно!»)

Прямо сегодня я получил петицию от жителей моего округа, где виноградары пишут: мы не требуем ничего особого от правительства, пусть оно только оставит нас свободными, пусть позволит нам действовать, трудиться; вот и все, чего нам от него надо, лишь бы оно защищало нашу свободу и нашу безопасность.

Так вот, я думаю, что это нам урок, преподанный бедными виноградарями, урок, о котором должны знать все наши большие города. (Возгласы «Очень хорошо, правильно!»)

Система внутренней политики, начать которую нас побуждает и понуждает новая система финансовая, – это, со всей очевидностью, система свободы, потому что, заметьте, свобода несовместима с высокими налогами, что бы там ни говорили.

Я прочитал фразу, которую нашел у знаменитейшего государственного деятеля г-на Гизо: «Свобода – слишком дорогое благо, чтобы народ мог им торговать».

Когда я прочитал этот афоризм, а прочитал я его давно, я сказал себе: «Если этот человек будет когда-нибудь управлять страной, он потеряет не только финансы, но и свободу Франции».

Ведь и в самом деле, как я только что говорил – и прошу на это обратить внимание, – государственные функции никогда не бывают нейтральными, и если они не необходимы, то они вредны.

Я утверждаю и повторяю, что между раздутыми налогами и свободой существует радикальная несовместимость.

Максимум налога – это рабство, потому что рабство – это человек, у которого отнимают все, даже свободу распорядиться трудом своих рук и своими способностями. (Возгласы «Верно, это так!»)

Если государство, к примеру, не оплачивает нам расходы, связанные с тем или иным вероисповеданием, то разве мы не приобретаем тем самым свободу вероисповедания, свободу совести? Если государство не платит нам за образование, разве не следует отсюда свобода народного образования? Если оно не возмещает нам расходы на бесчисленную бюрократию, разве не приобретаем мы свободы в коммунах и департаментах? Если государство не оплачивает нам таможенные расходы, не появляется ли у нас свобода торговли? (Долго не смолкающие возгласы одобрения.)

Чего больше всего не хватает людям нашей страны? Совсем немногого: веры в самих себя, чувства собственной ответственности. Ничего удивительного нет в том, что они утратили эти качества; управляя ими, их приучили забыть о них. Наша страна слишком управляема и слишком управляется – вот в чем зло.

Чтобы излечить эту болезнь, нужно, чтобы она научилась сама управлять собой, чтобы она научилась проводить четкое различие между основными и неотъемлемыми полномочиями государства и теми его полномочиями, которые оно узурпировало у частной деятельности и притом узурпировало на наш счет.

В этом и состоит вся проблема.

Что до меня, то я говорю: перечень главных полномочий правительства весьма ограничен: обеспечивать порядок и безопасность, поддерживать каждого в деле справедливости, то есть наказывать за правонарушения и преступления, а также выполнять некоторые крупные работы, нужные для всего государства, всей нации. Вот, как я полагаю, и все. И у нас появится отдых, появятся финансы, и мы убьем гидру революций лишь тогда, когда мы встанем на прогрессивный путь к системе, к которой мы и должны двигаться. (Возгласы «Правильно, очень хорошо!»)

Второе условие предлагаемой системы – нужно искренне стремиться к миру, так как ясно, что не только война, но и самый дух войны, воинственные настроения противопоказаны этой

системе. Я хорошо знаю, что само слово «мир» вызывает ироническую улыбку у немалого числа сидящих на этих скамьях. Но, положив руку на сердце, я не верю, чтобы серьезные люди могли воспринимать это слово с иронией. Да и как же иначе? Ведь чему-то учит нас собственный опыт.

К примеру, с 1815 г. мы держим многочисленные и огромные армии. Я могу утверждать, что именно эти слишком крупные вооруженные силы вовлекли нас, против нашей же воли, во всякие неприглядные дела и в войны, которых мы наверняка могли бы избежать, не будь у нас этих крупных вооруженных сил. У нас не было бы испанской войны в 1823 г., у нас не было бы в прошлом году римской экспедиции, мы предоставили бы папе и римлянам возможность самим решать свои проблемы, если бы наш военный аппарат был сведен к более скромным пропорциям. (Движение и ропот в зале.)

Голос справа: Но ведь в июне вы не были раздосадованы тем, что у нас есть армия!

Г-н Бастиа: Вы отвечаете мне тем, что был июнь. А я говорю вам, что если бы у вас не было бы этих больших и громоздких армий, у вас не было бы и июня. (Взрыв смеха справа, многочисленные восклицания и реплики.)

Голос справа: Это то же самое, как если бы вы сказали, что не было бы воров, если бы не было жандармов.

Г-н Берар: Но ведь июнь сделали государственные служащие национальных мастерских.

Г-н Бастиа: Я исхожу из предположения, что хорошо управляют, почти идеально управляют, и в таком случае мне позволительно полагать, что у нас не было бы злосчастных июньских дней, не было бы 24 февраля 1848 г., не было бы 1830 г., ни, быть может, года 1814-го.

Как бы там ни было, свобода и мир – вот две опорные колонны здания системы, о которой я здесь рассказываю. И заметьте, что рассматриваю не как хорошую и добротную саму по себе, а как продиктованную настоятельнейшей необходимостью.

Теперь вот о чем: есть немало людей, которых заботит, и обоснованно заботит, проблема безопасности. Меня она тоже заботит, как и любого другого. Безопасность не менее ценна, чем мир и свобода. Но мы живем в стране, которая настолько, так сказать, плотно управляется, что никто не может и вообразить, что в ней наладится хоть какой-то порядок и безопасность в условиях смягчения слишком жесткой регламентации. Я думаю, что как раз в этой излишней подчиненности правлению и правительству кроется причина почти всех волнений, сумятиц, агитаций, революций, грустными свидетелями, а зачастую и жертвами которых все мы являемся.

Посмотрим, с чем все это сопряжено.

Общество делится на две части: эксплуататоров и эксплуатируемых. (Возгласы «Ну-ну!», шум в зале, попытки прервать оратора.)

Г-н Бастиа: Господа, не надо экивоков. Я совершенно не имею в виду ни собственности, ни капитала. Я говорю лишь о 1800 миллионах, которые платит одна сторона, а получает другая. Быть, я неудачно употребил слово «эксплуатируемые», так как из этих 1800 миллионов значительная часть идет людям, которые оказывают вполне реальные услуги. Поэтому я беру обратно это выражение. (Ропот рядом с трибуной.)

Председательствующий: Господа, прошу соблюдать тишину. Вы находитесь здесь лишь при условии, что ведете себя спокойнее, чем все другие.

Г-н Бастиа: Хочу заметить, что такое положение вещей, такой образ бытия, такие огромные расходы правительства всегда должны быть как-то оправданы или объяснены. Следовательно, намерение правительства делать все, направлять все, управлять всем должно было породить, притом естественным образом, опасные умонастроения в стране. Наше

население, которое там, внизу, ждет от правительства всего, ждет от него даже невозможного. (Возгласы «Верно, именно так!»)

Мы говорили о виноградарях. Я видел, как их виноградники побивались градом, и эти люди разорялись, плакали, но не жаловались правительству. Они-то знают, что между градом и правительством нет никакой связи. Но когда вы наводите население на мысль, что все беды – правда, не такие резкие и очевидные, как град, – исходят от правительства, когда само правительство склонно этому верить, поскольку оно получает от народа огромную контрибуцию в виде налогов лишь при условии или под предлогом, что оно сделает что-нибудь благое для народа, вот тогда становится абсолютно ясно, что если таково положение дел и вещей, то вы будете иметь вечные революции в стране, потому что при существовании той финансовой системы, о которой я только что сказал, любое благо, которое может сотворить правительство, оборачивается многократно большим злом, творимым все тем же правительством, собирающим свою контрибуцию.

Народу от этого становится не лучше, а хуже, он страдает и сетует на правительство, ругает его. И тут же появляются люди из оппозиции, которые говорят народу: Вот видите, ваше правительство обещало вам то да се, собиралось снизить налоги, завалить вас благами; видите, как правительство выполняет свои обещания! Прогоните его, дайте власть нам, и вы увидите, что все будет иначе! (Общий смех, возгласы одобрения слов оратора.) И вот правительство опрокидывают. Тем не менее люди, пришедшие к власти, оказываются в точно таком же положении, что и их предшественники. Они тоже вынуждены мало-помалу брать назад свои обещания и говорят тем, кто их торопит: время еще не настало, но надейтесь на улучшение положения, надейтесь на вывоз товаров, надейтесь на будущее процветание. Однако фактически они делают не больше своих предшественников, народ ополчается против них, свергает, так и шагает страна от революции к революции. Я не думаю, чтобы та или иная революция была возможна там, где дело правительства по отношению к гражданам заключается единственно в том, чтобы гарантировать каждому безопасность и свободу. (Возгласы «Очень хорошо, правильно!») Почему люди восстают против правительства? Потому что оно не выполняет своих обещаний. Видели ли вы, чтобы люди когда-нибудь восставали, к примеру, против суда? Суд имеет своей задачей защищать справедливость, эту задачу он выполняет, и никто и не помышляет требовать от него большего. (Возгласы «Да, верно!»)

Прошу вас твердо убедить самих себя в том, что любовь к порядку, безопасности, спокойствию не есть чья-то монополия. Она существует у всех и для всех, она неотъемлема от самой природы человека. Спросите всех недовольных людей, среди которых, правда, найдутся и возмутители спокойствия. Что ж, всегда бывают исключения. Но все-таки спросите людей всех классов, и все они скажут вам, как в наше время они утрачены отсутствием порядка. Они любят порядок, очень любят и готовы пожертвовать ради него разными ходячими мнениями и убеждениями, даже пожертвовать свободой. Мы видим это повседневно. И такая тяга к порядку настолько сильна, что вполне позволяет наладить и поддерживать безопасность людей, особенно когда и если противоположные взгляды и мнения не будут подпитываться плохим правительством и находить себе почву в его действиях.

Добавлю еще совсем немного касательно безопасности.

Я не профессиональный юрисконсульт, но я твердо верю, что если правительство ограничит свою деятельность рамками, о которых я говорю, и если все силы интеллекта, все способности его членов будут направлены на улучшение условий безопасности людей, то тогда оно совершит колоссальный прогресс. Я не говорю, что весь прогресс заключается лишь в том, чтобы наказывать за преступления и за вредящие обществу пороки, морализировать и перевоспитывать тех, кто посажен в тюрьму. Я говорю и повторяю, что если правительство не

будет ревностно следить за тем, за чем следить не надо, если оно избавится от укоренившихся предрассудков и направит все свои силы на улучшение положения людей как граждан и на наказание преступников, то общество от этого только выиграет.

Я заканчиваю. Я глубоко убежден, что идеи, высказанные мною с этой трибуны, идеи, будучи воплощены в жизнь, обеспечат все условия для выполнения соответствующей правительственной программы, что они, эти идеи, примиряют и согласуют между собой свободу, справедливость, финансовые нужды, требования порядка и все те великие принципы, которыми должны руководствоваться народы и человечество в целом. Я настолько убежден во всем этом, что мой проект никак нельзя назвать утопией. Совсем напротив, я искренне верю, что если бы, например, Наполеон вернулся в этот мир (восклицания справа) и если бы ему сказали: вот две системы; по одной полномочия правительства ограничиваются и, следовательно, снижаются налоги; по другой полномочия правительства расширяются до бесконечности и, следовательно, налоги растут, и Франция стонет и обессиливает под их гнетом, – я уверен, что Наполеон сказал бы, что самая настоящая утопия – вот эта последняя система, так как гораздо труднее установить и поддерживать высокие и сверхвысокие налоги, чем принять систему, с описанием которой я выступил с этой трибуны.

Наверное, меня спросят, почему сегодня и так как-то вдруг я выступаю против налога на напитки. Сейчас отвечу. Я изложил систему, теорию, согласно которой, как я хотел бы, должно действовать правительство. Но поскольку я еще ни разу не встречал и не видел правительство, которое взяло бы на себя задачу, полагаемую им как своего рода полусамоубийство, и которое сняло бы с себя излишние и ненужные полномочия, я чувствую себя обязанным как-то заставить его переменить свое поведение, а сделать это я могу, только лишив его средств и возможностей продолжать следовать губительным путем. Поэтому, именно поэтому, я голосовал за снижение налога на соль; поэтому я голосовал за реформу почтового ведомства; поэтому я буду голосовать против налога на напитки. (Возгласы одобрения слева.)

Я глубочайше, искренне и всячески убежден в том, что если Франция верит в себя, если она твердо знает, что на нее никто не вознамерится нападать, как только она сама откажется нападать на других, вот тогда будет совершенно легко очень существенно – можно сказать, в громадных масштабах – сократить государственные расходы, и это, вместе, в частности, с отменой налога на напитки, будет достаточным не только для того, чтобы выровнять доходную и расходную части бюджета, но и для того, чтобы резко уменьшить государственный долг. (Многочисленные возгласы одобрения.)

Последствия снижения налога на соль¹

Немедленное снижение налога на соль дезориентировало кабинет министров, притом в совершенно определенном смысле. Мы изыскиваем, говорят там, возможность новых налогов, чтобы заполнить бюджетную пустоту. Разве не этого хотело и само Собрание? Снижать, потом повышать – это же игра, грустная игра, в которой все игроки проигрывают. Каково же значение голосования Собрания? А вот каково: расходы постоянно растут, и есть только одно средство заставить государство сократить их – поставить его перед абсолютной невозможностью поступить иначе.

Способ, надо сказать, героический. Дело еще усугубляется и тем, что снижению налога на соль предшествовало снижение налога на почтовые услуги, а впереди, по всей вероятности, снижение налога на напитки.

Итак, правительство дезориентировано. Но я утверждаю, что Собрание поставило его в превосходное положение. Оно дало ему великолепный – можно сказать, провиденциальный –

повод встать на новый путь, покончить с фальшивой филантропией и с воинственными страстями и, преобразуя свой провал в свой триумф, породить из голосования, которое, как ему представляется, подрывает его положение, – породить безопасность, доверие, кредит, процветание и в конце концов проводить истинно республиканскую политику, основанную на двух великих принципах мира и свободы.

Должен признаться, что после резолюции Собрания я ожидал, что председатель Совета министров поднимется на трибуну и произнесет примерно такую речь:

«Граждане представители,

Ваше вчерашнее голосование показывает нам новый путь; больше того, оно заставляет нас идти по нему.

Вы знаете, сколько химерических надежд и опасных систем породила Февральская революция. Эти надежды и системы, окрашенные, ради привлекательности, в тона филантропии и проникающие к нам сюда в форме законопроектов, способны лишь уничтожить свободу и исчерпать государственное достояние. Мы не знали, на чью сторону встать. Отвергнуть все эти проекты значит противопоставить себя общественному мнению, которое тотчас будет возбуждено; принять их значит подорвать будущее, нарушить все права и извратить полномочия государства. Что нам оставалось делать? Нам оставалось тянуть дело и выжидать, перемешивать между собой разные ошибки, удовлетворять наполовину утопистов, просвещать народ на тяжелом опыте, создавать административные структуры с задней мыслью упразднить их через некоторое время, а это не так-то легко. Теперь, благодаря Собранию, мы наконец пришли в чувство. Больше не просите нас монополизировать образование, монополизировать кредит, финансировать сельское хозяйство, давать привилегии некоторым отраслям промышленности, систематизировать подачки нищим. Мы покончили со всеми такими вещами, из которых торчит хвост социализма. Ваше голосование нанесло смертельный удар его грезам. Нам об этом не нужно даже дискутировать, ибо к чему приведет дискуссия, если вы лишили нас средств проводить эти опасные эксперименты? Если кто-нибудь знает секрет безденежной официальной филантропии, пусть выйдет сюда. Мы с радостью отдадим ему наши министерские портфели. А пока портфели остаются у нас, нам в нашем новом положении остается провозгласить во внутренней политике свободу – свободу искусства, наука, сельского хозяйства, промышленности, труда, обмена, печати, образования, так как свобода есть единственная система, совместимая с сокращенным бюджетом. Государству нужны деньги, чтобы регламентировать и подавлять. Нет денег, нет и регламентации. Отныне наша весьма недорогостоящая роль будет ограничена пресечением злоупотреблений, то есть мы будем следить за тем, чтобы свобода одного гражданина не осуществлялась за счет свободы другого гражданина.

Наша внешняя политика тоже нам указана, и мы тоже вынуждены проводить ее. Раньше мы прибегали к разным уверткам и ходам, брели ощупью, теперь все определено, четко и необратимо, притом не столько по нашему выбору, сколько по необходимости. Я счастлив, тысячу раз счастлив, что эта необходимость заставляет нас делать как раз то, что мы и сами делали бы по нашему выбору. Мы полны решимости сократить наши вооруженные силы. Заметьте, что на этот счет нечего рассуждать, надо действовать, ибо нам надо сделать выбор между разоружением и банкротством. Из двух зол, как говорится, выбирают меньшее. В данном же случае, как нам представляется, надо выбирать между огромным благом и ужасным злом. Тем не менее вчера еще такой выбор не был для нас легким: нам мешали ложная филантропия и воинственные настроения, с которыми приходилось считаться.

Сегодня ни того, ни другого нет. Что бы ни говорили насчет того, что страсть безрассудна, но она не может дойти до такой степени, чтобы потребовать от нас вести войну без денег. Поэтому мы заявляем с этой трибуны, что мы разоружаемся, и следствием и принципом нашей внешней политики отныне становится невмешательство. Пусть нам больше не говорят о преобладании и об упреждающем наращивании сил, пусть больше не показывают на карте Венгрию, Италию, Польшу как на поля славы и бойни. Если у нас есть выбор, мы хорошо знаем все «за» и «против» в том, что касается пропаганды войны. А вы, вы тоже хорошо знаете, что когда и выбора-то никакого больше нет, и всякий конфликт, спор, распря становятся ненужными. Армия будет сокращена до численности, необходимой, чтобы гарантировать независимость страны, и тем самым все остальные страны могут быть уверены в своей собственной независимости, если ее наличие зависит от нас. Так пусть они проводят свои реформы, притом такие, какие хотят; пожелаем лишь, чтобы они не предпринимали того, чего не в состоянии выполнить. Мы торжественно и твердо заявляем им с этой трибуны, никакие партии, раскидывающие их, не получают поддержки наших штыков. Да что я говорю? Им даже нет нужды и слышать подобное, потому что мы зачехлим наши штыки, а вернее, ради большей надежности, перекуем, как говорится, мечи на орала. Я слышу возгласы из зала, и, насколько я понимаю, вы утверждаете, что это, мол, и есть политика по принципу «Каждый у себя и каждый за себя». Еще вчера мы могли бы поспорить с вами о ценности такой политики, поскольку мы могли выбрать либо эту, либо всякую иную политику. Вчера у меня нашлись бы доводы и резоны, я сказал бы: да, каждый у себя и каждый за себя, но лишь в той степени, в какой дело имеет отношение к грубой силе. Но сегодня я скажу, что политика, проводимая по вышеназванной формуле, вовсе не означает разрыва связей между народами. Давайте поддерживать со всеми отношения, добрые отношения, в области философии, науки, искусства, литературы, торговли. Именно так человечество просвещается и прогрессирует. Но отношения, устанавливаемые посредством сабли и ружья – нет, я их не хочу. Превосходное единые семьи не ходят друг к другу в гости с оружием. Сказать, что они живут по правилу «каждый у себя», было бы странно и неуместно. Кстати, что сказали бы мы, если бы, чтобы покончить с нашими разногласиями, лорд Пальмерстон высадил на наше побережье английский полк? Разве лицо у нас не запыхало бы гневом? Как нам отказать верить, что и другие народы стремятся соблюсти свое достоинство и обеспечить свою независимость? Так я сказал бы вчера, ибо если есть выбор между двумя манерами политики, надо выбрать и оправдать ту, которой отдается предпочтение. Сегодня я такого не говорю, потому что выбор принадлежит не нам. Большинство, отказавшее нам в доходах, чтобы заставить нас сократить расходы, не будет столь непоследовательным, чтобы навязать нам разорительную политику. Если кто-нибудь, зная, что налог на почту, соль и напитки сокращается, зная, что наш бюджет имеет дефицит в 500 миллионов, если он все-таки имеет смелость провозгласить принцип подстрекательства к войне, который, угрожая Европе, заставляет нас даже в мирное время прилагать разорительные военные усилия, пусть он выйдет сюда и возьмет наши портфели. Мы не возьмем на себя стыла за такое ребячество. А мы уже сегодня начнем проводить политику невмешательства. Уже сегодня мы приняли меры по увольнению определенной части личного состава вооруженных сил. Уже сегодня принимаются решения об упразднении бесполезных посольств.

Мир и свобода! Вот политика, которую мы приняли по убеждению. Мы благодарны Собранию за то, что оно сделало такую политику неизбежной и абсолютно необходимой. Она будет спасением, славой и процветанием республики. Она запечатлеет наши имена в истории».

Вот, как мне думается, должен был бы сказать председатель нынешнего кабинета. Его слова встретили бы единодушно одобрение Собрания, Франции и Европы.

Речь о наказании за промышленные коалиции¹

Граждане представители!

Я хочу поддержать запрос моего уважаемого друга г-на Морена, но я не могу этого сделать, не изучив предварительно проекта комиссии. Невозможно обсуждать запрос г-на Морена, если не провести – невольно, так сказать, провести – общей дискуссии; того же требует и само предложение комиссии.

В самом деле, запрос г-на Морена не только предлагает видоизменить главное предложение комиссии, он еще и противопоставляет одну систему другой системе, и чтобы решить что-то, надо сравнить между собой две системы.

Граждане, я не привношу в эту дискуссию никакого партийного духа, никакого классового предрассудка и не собираюсь поддаваться страстям. Собрание видит, что у меня такие легкие, что я просто не способен перекричать разбушевавшихся парламентариев, и я просто прошу у Собрания доброжелательного внимания.

Чтобы оценить систему, предложенную комиссией, позвольте мне напомнить некоторые слова уважаемого докладчика г-на де Ватимениля. Он говорил: «В статьях 44 и последующих Уголовного кодекса изложен общий принцип, а именно: коалиция, будь то между хозяевами или рабочими, есть правонарушение, преступление, но при одном условии: была преднамеренная попытка создать коалицию и было положено ей практическое начало». Так написано в законе, и именно это сразу же дает ответ на замечания, представленные уважаемым г-ном Мореном. Он вам сказал: «Таким образом, рабочие не могут собраться, чтобы пойти к хозяину и уважительно (это его выражение) обсудить с ним вопросы зарплат!»

«Извините, они могут собраться, – возразил г-н де Ватимениль, – вполне могут. Они вообще могут приходить к хозяевам все или направлять делегации и разговаривать с хозяевами обо всем, чего хотят. Никаких преград тут нет. Преступление же, согласно Кодексу, начинается тогда, когда налицо попытка создать коалицию и первые шаги по ее созданию, то есть когда после обсуждения тех или иных условий и вопреки духу примирения, который хозяева всегда стараются поддерживать в своих же интересах, им заявляют: «Но в конце концов, поскольку вы нам не даете всего, чего мы требуем, и – пользуясь нашим влиянием ввиду общности интересов всех рабочих и духа товарищества между ними – мы сейчас уйдем и склоним всех других рабочих во всех мастерских и фабриках добровольно стать безработными»».

Прочитав все это, я спрашиваю: где же преступление? Мне кажется, что такой вопрос не может решаться Собранием с его большинством или меньшинством голосов. Мы все хотим, чтобы преступления наказывались, и стремимся к тому, чтобы в Уголовном кодексе не фигурировали преступления фиктивные и воображаемые ради удовольствия наказывать за них.

Да, я спрашиваю: где преступление? В коалиции, в безработице, в чьем-то влиянии, на которое уже здесь намекали? Нам говорят: сама коалиция уже есть преступление. Должен признаться, что я не приемлю такой доктрины, потому что слово «коалиция» – синоним слова «ассоциация». Одни и те же этимология и смысл. Коалиция, независимо от целей и способов ее деятельности, сама по себе не может рассматриваться как некое правонарушение, и г-н докладчик это чувствует, так как, отвечая г-ну Морену, спросившему, могут ли рабочие спорить с хозяевами по поводу своих зарплат, уважаемый г-н де Ватимениль сказал: «Конечно могут; они могут ходить к хозяину поодиночке или явиться все вместе, могут выделять делегации или назначать комиссии». А между тем, чтобы назначить комиссию, надо

сначала договориться, согласовать, ассоциироваться, то есть нужна коалиция. Так что, строго говоря, правонарушение и преступление еще не заключаются в самом факте образования коалиции.

Тем не менее именно здесь хотят усмотреть преступление и утверждают, что противоправным является уже само начало практических действий в направлении к коалиции. Но разве начало совершенно невинных действий превращает их в вину? Не думаю. Если какое-то действие действительно неблагоприятно, то все равно закон начинает применяться лишь тогда, когда начинает воплощаться в практику само это действие. Я бы сказал даже, что наличие действия – это его начало. А вы утверждаете обратное: дескать, взглянул человек не так – уже преступление, причем взгляд становится преступлением, как только человек начинает взглядывать. Но сам г-н де Ватимениль признает, что не надо доходить до стадии замысла предосудительного действия. Когда же само действие непредосудительно и результаты его тоже непредосудительны, то совершенно очевидно, что такое действие ни на какой стадии не содержит правонарушения.

Что вообще означает словосочетание «начало действия»?

Коалиция может проявиться и начаться тысячью способов. Но нет, этой тысячью никто не интересуется, а все сосредоточили внимание на добровольной безработице. Но если безработица считается началом коалиции, тогда сделайте вывод, что безработица сама по себе есть преступление, наказывайте за безработицу и предостерегите, что будете наказывать и впредь, в том числе и в случае отказа работать за низкий заработок. Тогда ваш закон будет ясен и откровенен.

Но решится ли кто-нибудь с чистой совестью утверждать, что сама безработица, независимо от ее способов и форм, есть преступление? Разве человек не вправе отказаться продать свой труд за цену, которая его не устраивает?

Мне могут возразить, что все это верно, когда речь идет об отдельном человеке, но становится неверным, когда дело касается людей, ассоциировавшихся между собой.

Однако, господа, невинное действие не становится преступным от того, что действует не один человек, а какое-то число людей. Дурное же действие действительно усугубляется, я тут согласен с вами, если оно совершается той или иной группой людей. Но, повторяю, когда само действие невинно, оно не может стать предметом обвинения, если его совершает группа людей. Я никак не могу постичь, почему и как можно утверждать, что безработица есть преступление. Если один человек имеет право сказать другому: «Я не хочу работать на таких-то и таких-то условиях», – то две или три тысячи человек имеют то же самое право, могут отказаться от работы. Таково их естественное право, которое должно быть также и правом юридическим.

Тем не менее стараются окрасить безработицу краской виновности. И как же это делается? Да просто как бы вскользь вкладывают в уста не желающих работать следующие слова: «Раз вы не дадите нам того, чего мы требуем, мы не будем работать, не будем ввиду хорошо известных воздействий, которые связаны с однородностью труда в промышленности, с чувством товарищества...».

Вот уже и преступление; оно заключается в «хорошо известных воздействиях», то есть в насилии, устрашении, по которым надо ударить. И запрос уважаемого г-на Морена ударяет. Так разве не отдадите вы ему свои голоса?

Но мы слышим и еще одно рассуждение: «Коалиция несет в себе две характеристики, ставящие ее в ряд правонарушений: коалиция предосудительна как таковая, а кроме того она ведет к пагубным последствиям для рабочего, хозяина и всего общества».

Прежде всего предосудительность каждой коалиции надо еще доказать, и тут нет единого мнения. Коалиция может быть предосудительной или нет в зависимости от ее целей и,

особенно, способов достижения целей. Если коалиция ограничивается инертностью, пассивностью, если рабочие согласуют между собой свое поведение и говорят: «Мы не хотим продавать наш товар, то есть наш труд, по такой-то цене, а хотим другую цену и в случае вашего отказа уйдем домой или подыщем другую работу», – то, как я полагаю, невозможно утверждать, будто они совершают предосудительное действие.

Но вы упорствуете в том, что оно пагубно. Несмотря на все мое уважение к таланту г-на докладчика, я думаю, что он вступил в весьма путаную и туманную полосу рассуждений. Он говорит: «Безработица вредна хозяину, ему вреден и досаден уход одного или нескольких рабочих; это вредит всей его промышленной отрасли, так что рабочий покушается на свободу хозяина, а следовательно, нарушает статью 13 Конституции».

В действительности же получается, что он перевертывает проблему, ставит вещи с ног на голову.

Ведь как тут обстоит дело? Я встречаюсь с хозяином, мы обсуждаем цену, предлагаемая им цена меня не устраивает, я не совершаю никакого насилия, а просто ухожу, а вы говорите, что именно я ущемляю свободу хозяина потому, дескать, что я причиняю ущерб всей его отрасли! Полноте! То, что вы провозглашаете, есть не что иное как рабство, ибо что есть раб как не человек, принужденный законом трудиться на условиях, которые он не приемлет? (Возгласы слева «Очень правильно!»)

Вы требуете вмешательства закона, потому что я, мол, посягаю на собственность хозяина. Но разве вы не видите, что, совсем наоборот, хозяин посягает на мою собственность? И если он обращается к закону, чтобы навязать мне свою волю, то где тут свобода, где равенство? (Возгласы слева «Совершенно верно!»)

Пойдем дальше. Вы утверждаете, что рабочие, организуемые в коалицию, наносят ущерб самим себе, и, исходя из этого, ратуете за то, чтобы закон воспрепятствовал безработице. Я согласен с вами, что в большинстве случаев рабочие действительно причиняют урон самим себе. Но именно поэтому я хочу, чтобы они были свободными, потому что как раз свобода и научит их видеть, как и почему они вредят себе. А вы делаете совсем иное умозаключение: нужно, чтобы вмешался закон и привязал их к своим рабочим местам.

Но вы открываете перед законом слишком широкую и слишком опасную дорогу.

Вы чуть ли не каждый день обвиняете социалистов в том, что те хотят вмешательства закона во все и вся, хотят стереть всякую личную инициативу и ответственность.

Вы чуть ли не каждый день жалуетсяе на то, что всюду, где царит зло, страдание, боль, там человек беспрерывно взывает о помощи со стороны закона и государства.

Что до меня, то я не хочу, чтобы закон говорил безработному, съедающему часть своих сбережений: «Ты будешь работать вот на этой фабрике, хотя тебе не дают цену, которую ты запрашиваешь». Я отвергаю такую теорию.

Наконец, вы утверждаете, что обсуждаемое нами поведение рабочего вредит всему обществу.

Да, вредит, но рассуждать здесь надо все тем же самым образом. Человек полагает, что, уйдя с одной работы, он найдет себе через неделю-полторы другую. Конечно, это определенная потеря труда для общества, но чего вы хотите? Не хотите ли вы, чтобы закон исправил все на свете? Это невозможно, ибо иначе пришлось бы утверждать, что торговец, ждущий лучших времен, чтобы выгоднее продать свой кофе или сахар, тоже вредит обществу. И снова и снова придется взывать к закону и государству!

Против проекта комиссии было выдвинуто возражение, к которому отнеслись с чрезвычайной легкостью, а оно серьезно. Говорили так: «О чем речь? С одной стороны выступают хозяева, с другой рабочие. Они обсуждают вопрос об урегулировании заработков.

Вполне очевидно, что лучше всего – это когда заработки регулируются естественной игрой предложения и спроса, то есть спрос и предложение равным образом свободны или, если угодно, равным образом несвободны. Для достижения такого положения есть только два способа: либо предоставить коалициям полную свободу, либо упразднить их совсем».

Вам говорят, и вы соглашаетесь с этим, что ваш закон не в состоянии обеспечить справедливый баланс и что коалиции рабочих, всегда создающиеся в широком масштабе и среди бела дня, более податливы для их, так сказать, «улавливания», чем коалиции хозяев.

Вы признаете эту трудность, но тотчас добавляете, что закон не занимается такими мелочами. Отвечаю: он должен ими заниматься. Если закон может пресечь мнимое правонарушение, либо проявляя вопиющую несправедливость по отношению к целому классу граждан, такой закон надо отменить. Существует тысяча аналогичных случаев, когда закон отменялся.

Вы сами признаете, что при вашем законодательстве предложение и спрос перестали быть делом двух сторон, поскольку коалиция хозяев не поддается выявлению. Да, это так, два-три хозяина встречаются, скажем, на завтраке и организуют коалицию, о которой никто ничего не знает. А коалиция рабочих всем видна сразу.

И вот, поскольку одни не попадают в поле зрения закона, а другие попадают, неизбежным результатом оказывается давление на предложение и отсутствие давления на спрос, снижение, если закон действует реально, ставок заработков, и это совершается систематически и постоянно. Я никак не могу одобрить такое положение. Я говорю: так как вы не можете принять закон, равным образом удовлетворяющий интересы всех, не можете обеспечить равенство, так оставьте в покое свободу, которая заключает в себе также и равенство.

Но хотя равенство никак не может быть результатом проведения в жизнь проекта комиссии, записано ли оно, равенство, как минимум, на бумаге? Да, записано. Я думаю, что комиссия приложила огромные усилия, чтобы соблюсти видимость равенства. Тем не менее она и тут не преуспела. Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить статью 414 со статьей 415, то есть статью, касающуюся хозяев, со статьей, касающейся рабочих. Первая весьма проста и не допускает экивоков: справедливость защищается, правонарушение наказывается. Яснее не скажешь.

«Подлежит наказанию... 1) всякая коалиция между теми, кто заставляет рабочих работать, намереваясь принудительно снизить им заработок, если имеется попытка этого и начало соответствующих действий».

Обращаю ваше внимание на слово «принудительно», фактически открывающее широкое поле для защиты хозяев. Да, скажут они, мы собирались вместе два или три раза и предприняли шаги по снижению заработков, но мы никого не принуждали. И вот это важное словечко, оказывается, отсутствует в следующей статье.

Эта следующая статья чрезвычайно, так сказать, эластична. Она трактует не один какой-нибудь случай, а множество случаев.

«Всякая коалиция рабочих, направленная на одновременное прекращение работы, на запрет работать на фабриках, в цехах, мастерских, на запрет являться на рабочие места до или после определенного количества часов и вообще на прекращение труда, на преграды ему с целью, в конечном счете, повысить цену труда (нигде не сказано «принудительно»), если появляется подобная попытка или начинаются соответствующие действия и т. д.»

Если кто-нибудь скажет, что я слишком злоупотребляю словом «принудительно», «принуждать», тогда я обращаю внимание комиссии на то, что она сама придает большое значение этому слову. (Шум в зале.)

Один левый депутат: Это правые не дают вам говорить. Когда говорят о хороших и правдивых вещах, они всегда прерывают. Продолжайте, пожалуйста, мы вас слушаем.

Г-н Фредерик Бастиа: Желая привести дело к некоторой свободе, по крайней мере на бумаге, ибо в действительности это невозможно, точнее – желая привести к некоторому равенству, комиссия могла бы выбрать один из двух путей в том, что касается понятий «несправедливо» и «противозаконно», фигурирующих в статье 414.

Вполне ясно, что эти выражения надо было либо убрать из статьи 414, так как тут они открывают широкую дорогу в защите хозяев, либо ввести их в статью 415, чтобы открыть такую же дорогу для рабочих. Комиссия предпочла их убрать. На чем она основывалась? А на том, что непосредственно за этими словами следует глагол «принуждать», и он, встречаясь пять раз на одной странице ее доклада, доказывает, что комиссия придает ему огромное значение. Комиссия высказывается весьма категорично. Мы читаем:

«Когда принимается целая серия мер, противоречащих закону, чтобы принудить рабочих согласиться на снижение зарплаток, это нельзя оправдать. Такого рода поступок безусловно несправедлив и противозаконен, так как принуждать к снижению зарплаток означает устанавливать посредством недозволенного и бесчеловечного сговора такие зарплатки, которые логически не следуют из промышленной конъюнктуры и свободной конкуренции; а следует отсюда то, что слова «несправедливо» и «противозаконно» противоречат здравому смыслу».

Как же оправдывают выброс слов «несправедливо» и «противозаконно»? А вот как: они просто лишние, глагол «принуждать» вполне заменяет их.

Однако, господа, когда речь заходит о рабочих, этот глагол отсутствует, и рабочие лишаются шанса быть защищенными. Сказано лишь, что рабочие не могут «требовать» повышения зарплаток, не «принуждать несправедливо и противозаконно» к их повышению, а лишь просто «требовать», то есть даже просить, повышения. Здесь заключена, по меньшей мере в смысле редакции текста, порочность, неравенство, составная часть еще более серьезного неравенства, о котором я говорил.

Такова, господа, система, предложенная комиссией, система непригодная во всех отношениях, теоретическом и практическом, система, оставляющая нас в полной неопределенности насчет того, что же такое в конце концов правонарушение, преступление. Коалиция, безработица, злоупотребление, сила? Ничего не известно. Я думаю, что любой, пусть даже с избытком наделенный логическим мышлением, не обнаружит, где же начинается и где кончается безнаказанность. Вы скажете мне: «Коалиция есть преступление, но вы можете создать комиссию, чтобы разобраться в этом». Однако я не уверен, что я вправе создавать комиссию или делегацию, ибо ваш доклад изобилует соображениями, из которых следует, что всякая коалиция – это самое настоящее преступление. Далее, я утверждаю, что практически ваш закон несет в себе много, очень много неравенства; применение его не предусмотрено в точности и пропорционально для каждой из сторон, которые вы хотите примирить. Странная манера покончить с антагонизмом сторон, рассматривая их как стороны далеко не равноправные!

Что касается системы г-на Морена, то я не буду говорить о ней много. Она и без того совершенно ясна и прозрачна. Она основывается на незыблемом принципе, признаваемом

всеми: свобода употребления и кара за злоупотребление. Никакой разумный человек не отвергнет такого принципа.

Спросите любого встречного, несправедлив ли, пристрастен ли закон, предусматривающий наказание за запугивание, за насилие. Всякий вам ответит: да нет же, ведь речь идет о самых настоящих преступлениях. А между тем одни и те же законы пишутся и для несведущих людей, и для людей, хорошо разбирающихся в них. Надо, чтобы определение преступления дошло до всех умов; надо, чтобы сама совесть согласилась с таким определением; надо, чтобы, читая закон, все были единогласны: да, речь идет о преступлении и ни о чем больше. Вы твердите, что надо уважать законы. Я говорю о неотъемлемой части уважения законов. Но как же вы хотите, чтобы уважался закон нечленораздельный и просто непонятный? Такого не бывает. (Возгласы одобрения слева.)

То, что происходит здесь, господа, заставляет меня провести прекрасную аналогию с тем, что происходило в другой стране, о которой говорил вчера г-н де Ватимениль. Он говорил об Англии, которая имеет богатейший опыт в области коалиций и связанных с ними борьбы и всяческих трудностей. Мне кажется, что этот опыт полезно знать, и надо донести его до этой трибуны.

Вам уже рассказывали о многочисленных и могучих коалициях, которые возникли после отмены соответствующего закона, или законов. Но вам ничего не сказали о коалициях, существовавших до этого. А о них тоже надо сказать, потому что, чтобы судить о двух системах, надо иметь возможность сравнить их между собой.

До 1824 г. Англия буквально стонала от множества коалиций, ужасных, активнейших, с помощью которых там решили противостоять законодательному бичу, известному как тридцать семь статутов, и это в стране, где, как вам известно, древность, так сказать, составляет часть свода законов, где соблюдают даже абсурдные законы единственно потому, что они древние. Много мучений пришлось испытать этой стране, чтобы она решилась наконец, притом за короткое время, выработать и принять тридцать семь статутов, один строже другого. Ну, и что же произошло? Проблема не была решена, и зло продолжало господствовать и даже усиливаться. И вот в один прекрасный день англичане сказали самим себе: мы испробовали немало систем, ввели тридцать семь статутов; попробуем добиться успеха простейшим способом – справедливостью и свободой. Я хотел бы, чтобы и у нас был такой же подход к решению наших проблем, и тогда мы увидим, что решать их не так уж трудно, как думалось. Ведь именно так поступили и добились успеха в Англии.

В 1824 г. был принят закон, предложенный г-ном Юмом, и предложение его было очень похоже на то, что предлагалось господами Дутром, Греппо, Бенуа и Фондом: полное упразднение всего, что существовало ранее. В то время дело справедливости в Англии было и оставалось безоружным, ничего не могли противопоставить устрашениям, угрозам, даже прямому насилию, но такая обстановка все-таки усложнила положение коалиций. Тем не менее всем этим прямым правонарушениям могли воспрепятствовать только законы, непосредственно предусматривающие наказание за угрозы, за уличные драки и т. п. В 1825 году министр юстиции провел специальный закон, дающий полную свободу коалициям, но ужесточающий наказание за обычное – так сказать, бытовое – насилие. И вот какая получилась система:

Статья 3: «Будет наказан заключением в тюрьму и штрафом, и т. д... всякий, кто будет уличен в устрашении, угрозах, насилии...»

Слова «устрашение», «угрозы», «насилие» встречаются на каждом шагу. Слово «коалиция» не попадает ни разу.

Затем следуют две другие весьма примечательные статьи, которые, вероятно, окажутся неприемлемыми для Франции, потому что в них косвенно содержится известная мудрость:

разрешено все, что не запрещено законом.

Там сказано так: «Не подвергаются наказанию те, кто собирается в группы и объединения и стремится повлиять на уровень заработков, те, кто примет участие в устных или письменных соглашениях, и т. д...»

Так что там предоставляется в этом отношении широчайшая и полнейшая свобода.

Я утверждаю, что налицо – аналогия в ситуациях, так как то, что предлагает вам комиссия, представляет собой старую английскую систему, систему статутов. Предложение г-на Дутра и его коллег – это предложение г-на Юма, которое отменяет все и вся и не усиливает наказания даже за некоторые формы принуждения, насилия, если оно явилось плодом заранее согласованных открытых действий, хотя и нельзя не признать, что предумышленное насилие, совершенное группой людей, более опасно, чем индивидуальное насилие, совершенное, скажем, на улице. Наконец, предложение уважаемого г-на Морена находится в полном соответствии с тем, что привело Англию к закону 1825 г.

Теперь вам говорят: с 1825 г. Англия не очень-то хорошо себя чувствует в результате действия этой системы. Не очень-то хорошо себя чувствует! Я думаю, что вы высказываетесь по вопросу, который изучили недостаточно глубоко. Я немало раз бывал в Англии, ездил по ней, спрашивал мнение очень многих хозяев мануфактур. И я могу засвидетельствовать, что ни разу мне не попадался человек, недовольный действиями Англии, которая решилась прямо взглянуть в глаза свободе. Быть может, позднее, успешно решая множество других вопросов, она по-прежнему смотрела ей в глаза.

Вы ссылаетесь на коалицию 1832 г., которая и в самом деле была чудовищной. Но нужно остерегаться изображать вещи изолированно друг от друга. В тот год был неурожай, хлеб стоил 95 шиллингов за квартал, был голод, продолжавшийся несколько лет...

Г-н де Ватимениль, докладчик: Я ссылаюсь на коалицию 1842 г.

Г-н Бастиа: Был голод в 1832 г. и другой голод, еще более жестокий, в 1842 г.

Г-н докладчик: Все-таки хочу повторить: я говорил о коалиции 1842 г.

Г-н Бастиа: Моя аргументация еще более применима к 1842 г. А что произошло именно в этот год, что вообще случается в голодное время? Доходы почти всего населения тратятся на покупку только самого необходимого, на еду. Промышленные изделия не покупаются, фабрики и мастерские закрываются, множество рабочих становятся безработными, рабочие руки вступают во взаимную конкуренцию, заработки падают.

Ну, да ладно. Ведь все знают, что когда заработки сильно снижаются и это снижение сочетается с ужасающим голодом, совсем не удивительно, что в стране, где господствует полная свобода, образуются коалиции.

Так было и в Англии. Но разве из-за этого там был изменен закон? Отнюдь нет.

Там видели причины появления коалиций, но не поддались страху. Стали наказывать за угрозы, за насилие повсюду, где такие проявления случались, но не более того.

Никто там не скрывал пугающей картины деятельности подобных ассоциаций, но утверждали, что они имеют тенденцию стать политическими образованиями.

Господа, в те времена, о которых я рассказываю, обсуждаемая нами проблема стояла очень остро, да еще и усугублялась обстоятельствами, в числе которых голод. Шла борьба между людьми, занятыми в промышленности, и крупными земельными собственниками, аристократией, которая хотела продавать хлеб как можно дороже и ради этого запрещала ввоз иностранного хлеба. И что получилось? Эти союзы, которые воспользовались свободой создания коалиций и получили название тред-юнионов, видя, что все их усилия не ведут к повышению заработков...

Голос из зала: И это очень плохо.

Г-н Бастиа: Вы говорите, что это плохо. А я, наоборот, говорю, что это очень хорошо. Рабочие заметили, что уровень заработков зависит не от их непосредственных хозяев, а от других социальных законов, и они сказали самим себе: «Почему наши заработки не растут? Причина проста: потому что нам запрещают работать на за границу или, по меньшей мере, получать в качества платежа иностранный хлеб. Так что мы напрасно злимся на наших собственных хозяев, нам надо приняться за класс аристократов, которые не только владеют землей, но еще и творят законы, и мы сможем повлиять на наши заработки только тогда, когда отвоюем наши политические права».

Голос слева: Очень, очень хорошо!

Г-н Бастиа: По правде говоря, господа, находить что-либо экстраординарное в таком поведении английских рабочих, простом и естественном, это почти все равно что вдруг выступить с этой трибуны против всеобщего голосования во Франции. (Новые возгласы одобрения слева.)

Отсюда следует, что английские рабочие извлекли большой урок из свободы. Они узнали, что рост или падение заработков зависит не от их хозяев. За последнее время Англия пережила два или три очень трудных года вследствие порчи и гниения картофеля, плохого урожая зерна, неувязок и плохой работы железнодорожников, а также революций, опустошивших Европу и закрывших для Англии рынки сбыта ее продукции. Никогда еще эта страна не переживала подобных кризисов. И все же не было ни одного противопоставленного коалиционного действия, ни одного случая насилия со стороны рабочих; они отказались от всего этого, исходя из собственного опыта. Вот вам пример, над которым стоит поразмышлять и в нашей стране. (Одобрение слева.)

Наконец, имеется еще одно соображение, которое буквально меня потрясает и которое важнее всего вышесказанного мною. Вы хотите уважать и соблюдать законы, и в этом вы правы. Но не надо, никогда не надо притуплять у людей чувство справедливости.

Таковые представленные нам две системы – система комиссии и система г-на Морена.

А теперь представьте себе, что в силу как той, так и другой системы рабочих привлекают к судебной ответственности. Вот рабочих тянут в суд, ибо так велит нынешний закон о коалициях. Они даже не знают, чего от них требуют. Они-то думали, что имеют право – до определенной точки, конечно, – организовываться в коалицию, согласовывать между собой свои действия, да вы и сами признаете это в какой-то степени. Они рассуждают так: мы съели наши крохотные сбережения, вконец обнищали, и это не наша вина, а вина общества, которое мучает нас, вина хозяев, которые всячески унижают нас, вина юстиции, которая тянет нас в суд. И вот они предстают перед судом с горечью в сердцах, считают себя жертвами, и не только они сопротивляются всему этому, но и те, кого не преследуют, солидарны с ними. Пылкая молодежь и публицисты встают на их стороны. Неужели вы думаете, что такая ситуация прекрасна и что она благоприятствует правосудию и справедливости в стране?

И, напротив, представьте себе судебное преследование рабочих по системе г-на Морена. Они являются в суд, и прокурор Республики говорит им: мы преследуем вас не потому, что вы создали коалицию, ибо вы свободны в этом отношении. Вы потребовали повысить заработки, и мы не сказали ничего; вы стали согласовывать между собой ваши действия, и мы не сказали ничего; вы решились на добровольную безработицу, и мы не сказали ничего; вы уговаривали ваших товарищей последовать вашему примеру, и мы не сказали ничего; но когда вы применили оружие, насилие, угрозу, мы привели вас в суд.

Преследуемый рабочий опустит голову, потому что у него возникнет чувство вины, и он поймет, что правосудие в его стране беспристрастно и справедливо. (Возгласы «Хорошо, прекрасно!»)

Я заканчиваю, господа, еще одним соображением.

Я думаю, что у рабочих классов накопилась целая куча вопросов, которые ими активно обсуждаются и насчет которых – я в этом глубоко убежден – рабочие сильно заблуждаются. Поэтому я обращаю ваше внимание на одно важное обстоятельство. Всегда, когда в какой-либо стране, где существует много разных классов, выстроенных, так сказать, по ранжиру, и где первый класс присваивает себе определенные привилегии, совершается революция, то на смену первому классу приходит второй. Поначалу этот второй класс, естественно, взывает к праву и справедливости, чтобы его поддержали другие классы. Но вот революция завершилась, и власть – в руках второго класса. Тогда он незамедлительно тоже обрастает привилегиями. Потом на смену ему приходит третий класс, за ним четвертый. Отвратительная картина, но такое всегда возможно, пока в самом низу находится класс, несущий издержки всех этих привилегий и оплачивающий их.

Однако случилось так, что в результате Февральской революции вся страна, весь народ, до самых своих глубин, либо фактически стал управлять самим собой, либо получил такую возможность благодаря всеобщему голосованию. И тогда, руководствуясь достойным сожаления, но довольно-таки естественным инстинктом подражания, он решил, что может избавиться от своих страданий, тоже обеспечив себя привилегиями. Тем не менее я полагаю, что право на кредит, право на труд и некоторые другие права представляют собой самые настоящие, истинные привилегии. (Движение в зале.)

Да, господа, они могли бы быть ему предоставлены, если бы под ним находился еще один класс, более многочисленный, чем весь наш народ, например триста миллионов китайцев, которые несли бы на себе издержки привилегий нашего народа. (Смех и возгласы согласия с оратором.) Но этого нет, и каждый из так называемых привилегированных, то есть люди из народа, оплачивают эти привилегии друг другу посредством некоего сложного механизма, и общей прибыли не получается, а наоборот, все страдают, тратясь на содержание этого механизма.

Вот так-то! Законодательное собрание может бороться против подобных претензий на привилегии, к которым, однако, нельзя относиться слишком поверхностно и легкомысленно, ибо так или иначе претензии эти искренни и чистосердечны. Больше того, вы просто обязаны бороться. Но как вы будете бороться с привилегиями и неправомерными выгодами, если вы отталкиваете целый рабочий класс, требующий для себя лишь разумного и вполне понятного, требующего просто-напросто справедливости и свободы? Я думаю, что вы сами же приобретете огромную силу и авторитет, выказав свою объективность и беспристрастие. К вам станут прислушиваться, относиться как к покровителям и защитникам всех классов, особенно рабочего класса, если вы проявите полное беспристрастие и справедливость по отношению к нему. (Горячее одобрение слева.)

Подвожу итог. Я отвергаю проект комиссии, потому что он представляет собой уловку, которая, как всякая уловка, отличается слабостью и несправедливостью. Я поддерживаю предложение г-на Морена, потому что оно основывается не на уловке, а на принципе. Лишь принципы способны удовлетворить умы, увлечь сердца и быть в унисоне с совестью. Нам говорят: неужто вы хотите провозгласить свободу просто из некоей платонической любви к свободе? Что касается меня, то я отвечаю: да, именно так, но я знаю, что свобода, хотя она и готовит народам немалые испытания, все-таки есть единственная вещь, которая просвещает людей, воспитывает, повышает уровень их нравственности. Без свободы есть лишь угнетение, и знайте, знайте хорошенько, вы, друзья порядка, что миновало время, если когда-либо вообще существовало, время, в которое можно основывать на угнетении союз классов, уважение законов, защиту интересов и спокойствие людей.

Комментарии

Прим. ред. – комментарии редактора французского Полного собрания сочинений Бастиа, изданного в XIX в.

Прим. амер. перев. – комментарии переводчика в американском издании.

Прим. перев. – примечания переводчика на русский язык.

Прим. изд. – комментарии издательства «Социум».

Протекционизм и коммунизм

1 Когда появилась эта работа, т. е. в январе 1849 г., г-н Тьер пользовался большим авторитетом в Елисейском дворце. – Прим. ред.

2 Объединение промышленников, возглавляемое текстильным фабрикантом Мимерелем де Рубо (P. A. R. Mimerel de Roubaix, 1786–1871). – Прим. амер. перев.

3 См. в томе I письма, адресованные г-ну де Ламартину в январе 1845 г. и в октябре 1846 г., а также в томе II статью «Коммунизм», датированную 27 июня 1847 г. – Прим. ред. [Здесь и далее ссылки на том обозначают тома Полного собрания сочинений Ф. Бастиа в 7-ми томах, выходявшего в 1862–1864 гг.]

4 См. в томе II статью «Свободный обмен», датированную 20 декабря 1846 г. – Прим. ред.

5 Огюст Адольф Мари Бийо (Auguste Adolphe Marie Billault, 1805–1863) – французский юрист и политический деятель. Красноречивый, честолюбивый и не имеющий четких политических взглядов, он пользовался влиянием и в февральскую революцию 1848 г., и при Второй империи. Этой последней он служил в качестве министра внутренних дел, сенатора и министра без портфеля. – Прим. амер. перев.

6 Эту мысль, с помощью которой, по мнению автора, г-н Бийо мог бы усилить свою аргументацию, вскоре подхватил другой протекционист. Она была развернута г-ном Мимерелем 27 апреля 1850 г. в его речи в Генеральном совете сельского хозяйства, мануфактур и торговли. См. отрывок из этой речи, приведенный в томе V в работе «Грабеж и закон» [Бастиа Ф. Грабеж по закону. Челябинск, Социум, 2006. С. 192–213]. – Прим. ред.

7 См. в настоящем [IV] томе с. 94 (глава XVIII «Софизмов») [Бастиа Ф. Экономические софизмы. Челябинск, Социум, 2010. С. 159–163]. См. также с. 101–102 [Там же. С. 137–139]. – Прим. ред.

8 Икария – от имени Икар, один из персонажей древнегреческой мифологии, погибший, подлетев к Солнцу на крыльях из перьев, скрепленных воском. – Прим. перев.

9 Шарль Жильбер Турре (Charles Gilbert Tourret, 1795–1857), инженер и политический деятель. Депутат парламента (1837), министр сельского хозяйства и торговли в правительстве Кавеньяка. – Прим. амер. перев.

10 Река, служащая границей между Францией и Испанией. – Прим. амер. перев.

11 См. в томе II статьи «Одна прибыль против двух потерь» и «Две потери против одной прибыли». – Прим. ред.

12 См. в настоящем [IV] томе письмо третье работы «Собственность и грабеж», с. 407 и последующие [Бастиа Ф. Грабеж по закону. Челябинск, Социум, 2006. С. 137 и сл.]. – Прим. ред.

13 См. в томе V последние страницы памфлета «Грабеж и закон» [Бастиа Ф. Грабеж по закону. Челябинск, Социум, 2006]. – Прим. ред.

14 См. в томе II большинство статей, включенных в рубрику «Полемика против газет»,

особенно статью «Демократическая партия и свободный обмен». – Прим. ред.

15 Эти два небольших тома, которые автор действительно послал г-ну Тьеру, содержат первую и вторую серии «Софизмов». – Прим. ред.

16 См. в томе III, введение [Бастиа Ф. Кобден и Лига: Движение за свободу торговли в Англии. Челябинск, Социум, 2003. С. 5–66]. – Прим. ред.

Парламентские несовместимости

1 Эта небольшая работа, опубликованная в марте 1849 г., была переиздана в 1850 г., за несколько месяцев до смерти автора. Развиваемая им мысль глубоко укоренилась в его сознании и прослеживается в более ранних работах; см., например, в томе I его «Письмо г-ну Ларнаку», датированное 1846 г., а также написанное в 1830 г. обращение «К избирателям департамента Ланды». – Прим. ред.

2 Один из персонажей гомеровской «Илиады», отличавшийся громовым голосом. – Прим. перев.

3 См. в томе IV с. 10–11 [Бастиа Ф. Экономические софизмы. Челябинск, Социум, 2010. С. 13–15], в томе VI главу XVII [Бастиа Ф. Экономические гармонии // Бастиа Ф. Экономические гармонии. Избранное. М.: Эксмо, 2007. С. 405–412] и в настоящем [V] томе с. 443 и последующие [наст. изд., с. 432 сл.]. – Прим. ред.

4 Джордж Притчард был в 1824 г. британским миссионером на Гаити и вступил в конфликт с властями и церковью Франции. – Прим. перев.

Справедливость и братство

1 Статья напечатана в «Журналь дез экономист» от 15 июня 1848 г. – Прим. ред.

2 В статье, написанной в домарксову эпоху, Бастиа применяет этот термин для обозначения общественно-политических мыслителей, подобных тем, которые отстаивают коллективизм как средство продвижения равенства и чьи имена названы далее. – Прим. амер. перев.

3 Пьер Леру (Pierre Leroux, 1797–1871) – французский философ, издатель и энциклопедист, последователь Сен-Симона. Редактор журнала «Le Globe». – Прим. амер. перев.

4 Деци, отец и сын – римские императоры 350–275 гг. до н. э., известные самоотверженностью, с которой они бросились в гущу врагов, когда возглавляемые ими римские колонны были разбиты. – Прим. амер. перев.

5 «даже до смерти, и смерти крестной» (Флп 2, 8). – Прим. амер. перев.

6 См. в томе V работу «Капитал и рента» [Бастиа Ф. Экономические гармонии. Избранное. М.: Эксмо, 2007. С. 423–446] и в томе VI главу VII работы «Экономические гармонии» [Там же. С. 178–188]. – Прим. ред.

7 В реальной жизни люди всегда видят различие между сделкой и бескорыстным актом. Нередко я с радостью наблюдал, как ведет себя добродетельный и сердечный человек, у которого чувство братства переполняет душу. В моей деревне кюре беззаветно любит каждого ближнего, особенно если тот беден. Любовь его настолько велика, что если нельзя помочь бедному иначе, как раздобыть денег у богатого, этот священник любыми средствами добивается, чтобы богатый раскошелился.

Он взял к себе жить семидесятилетнюю старуху, одну из тех, которых революция рассеяла по всей стране да и по всему свету. Чтобы как-то развлечь свою пансионерку, он, никогда не бравший в руки карт, научился играть в пикет и делал вид, что очень увлечен игрой, и все для

того, чтобы старуха поверила, что она полезна своему благодетелю. И это длилось пятнадцать лет. К концу ее жизни акт простого участия в судьбе ближнего превратился в подлинный героизм. Старуха умирала от рака. Болезнь распространяла ужасное зловоние, но кюре никогда не курил табака, играя с ней в карты, хотя мог бы уберечь себя от дурного запаха. Он не хотел, чтобы старуха догадалась о своей болезни. А сколько людей не в состоянии провести в такой обстановке хотя бы один день, но вот кюре посвятил старухе свои целых пятнадцать лет!

С другой стороны, наблюдая жизнь этого священника, я видел, что когда он совершал какую-нибудь торговую сделку, он был столь же точен и бдителен, что и какой-нибудь уважаемый торговец из парижского квартала Маре. Он торговался, внимательно взвешивал, отмерял, оценивал, проверял качество и совершенно не примешивал сюда благотворительность и братство.

Так что давайте очистим слово «братство» от всего ложного, наивного, резонерского, что налипло на него в последнее время. (Неизданный текст автора, написанный ближе к концу 1847 г.) – Прим. ред.

8 Арман Барбес (Armand Barbès, 1809–1870) – последователь Бабефа и организатор в 1838 г. (вместе с Луи Бланки и Мартеном Бернаром) «Société des Saisons», которое предприняло неудачную попытку мятежа. Смертный приговор, который он получил за это, был заменен пожизненным заключением, но Барбеса освободила Революция 1848 г. Он умер в добровольном изгнании. – Прим. амер. перев.

9 Мари-Жозеф Собрие (Marie Joseph Sobrier, 1825–1854) – совместно с Жорж Санд, Эженом Сю и другими редактор ежедневной газеты «La Commune de Paris, journal du citoyen Sobrier, moniteur des clubs, des corporations, d'ouvriers et de l'armée», выходившей с мая 1848 г. до сентября 1849 г. – Прим. амер. перев.

10 См. ниже статью «Собственность и грабеж» и заключительное примечание к ней [Бастиа Ф. Грабеж по закону. Челябинск, Социум, 2006. С. 118–191]; см. также в томе II ответ на письмо г-на Консидерана. – Прим. ред.

11 Многие главы «Экономических гармоний» уже были к этому времени опубликованы в «Журналь дез экономист», и автору не следовало медлить с продолжением и завершением этого труда. – Прим. ред.

12 Когда в августе 1847 г. в Марселе готовилось публичное собрание в защиту свободы торгового обмена, Бастиа встретился в этом городе с г-ном де Ламартином и долго беседовал с ним о торговой свободе, потом о свободе во всем остальном, то есть о фундаментальном тезисе политической экономии. См. в томе III примечание после текста речи в Марселе; см. также в томе I два письма г-ну Ламартину. – Прим. ред.

13 «Есть три сферы, в которых живет человечество: нижняя – сфера кражи, верхняя – сфера благотворительности и милосердия, и средняя, или промежуточная, – сфера справедливости».

«Все правительства никогда не совершают иного действия, кроме как действия, подкрепленного силой. А между тем можно принудить кого-либо быть справедливым, но нельзя принудить его быть милосердным. Когда закон хочет силой сделать то, что мораль делает убеждением, то он не поднимается в сферу милосердия, а опускается в сферу кражи и грабежа».

«Нормальная область действия закона и всех правительств – справедливость».

Эти мысли записаны рукой автора в одном альбоме автографов, который общество литераторов прислало в 1850 г. на лондонскую выставку. Мы воспроизводим их здесь, потому что, как нам представляется, они могут служить концовкой всей статьи. – Прим. ред.

Высшее образование и социализм

1 Важно отличать американскую систему независимых колледжей и университетов, которые вправе устанавливать собственные требования к академическим степеням в очень широких пределах, от французской системы, против которой протестует Бастиа, основанной при Первой империи. Во Франции все типы высшего образования полностью объединены в университетский корпус, «Университет» (l'Université), возглавляемый министром народного просвещения (le grand maître) и Высшим советом (le Conseil Supérieur). Корпус полностью управляет учебными планами, методами и требованиями к различным академическим степеням во всех школах и университетах страны. Бастиа вовсе не преувеличивает монопольной власти «Университета». До десятилетия 1875–1885 гг. (при Третьей республике) реформ не проводилось. – Прим. амер. перев.

2 За двадцать лет до этого автор в своем первом письменном произведении уже считал, что свобода образования – то одна из реформ, проведение которых необходимо стране. См. в томе I небольшую работу, озаглавленную «К избирателям департамента Ланды». – Прим. ред.

3 Жители Нижней (Западной) Бретани. – Прим. перев.

4 Французский Вест-Пойнт. – Прим. амер. перев.

5 Французская степень бакалавра, примерно соответствующая (по времени) первым двум годам американского колледжа, присваивается в средней школе (коллеж или лицей). Стандарты, однако, весьма высоки, а программа насыщена, в силу чего предполагается, что с получением степени бакалавра учащийся завершил свое общее образование и подготовлен к получению более углубленной подготовки в университетах. – Прим. амер. перев.

6 O liberté! que tes orages

Ont de charme pour les grands coeurs! – Прим. перев.

7 См. с. 365–380 наст. [IV] тома [Бастиа Ф. Закон // Бастиа Ф. Грабеж по закону. Челябинск, Социум, 2006. С. 37–62]. – Прим. ред.

8 Отдаленность во времени лишь придает величие античным фигурам. Когда нам говорят о римском гражданине, мы не представляем его себе как разбойника, грабящего мирные народы, отнимающего у них имущество и людей, превращаемых в рабов; мы не видим его бродящим в лохмотьях по грязным улицам; мы не застаем его с плетью в руке, избивающим до крови и до смерти раба, который показался ему строптивым и слишком гордым. Нет, мы предпочитаем лицезреть прекрасную голову и величественную осанку, белоснежные одежды – в общем, все как у античных статуй. Мы с удовольствием созерцаем такую фигуру и думаем, что человек этот всегда размышляет лишь о высоком предназначении своего отечества. Мы видим семью его вокруг очага, и в жилище его как бы присутствуют сами боги; супруга готовит нехитрую трапезу воина и время от времени бросает на супруга взгляд, исполненный доверия и восхищения; дети внимательно слушают старца, часами рассказывающего о подвигах и доблестях их отца...

О, сколько бы рассеялось иллюзий, если бы могли вызвать к жизни прошлое, прогуляться по улицам Рима и близко соприкоснуться с людьми, которыми издавна мы чистосердечно восхищаемся!.. (Неизданный отрывок, написанный автором незадолго до 1830 г.). – Прим. ред.

9 Жюль Бартелеми де Сент-Илер (Jules Barthélemy de Saint-Hilaire, 1805–1887) – французский ученый и писатель, профессор латинского и греческого языков Коллеж де Франс, министр образования при [Викторе] Кузене 1840 г. Он занялся политической деятельностью в 1848 г., став первым главой секретариата Временного правительства, а затем депутатом парламента. Все это время он в связи с «законом 1850 г.» публично защищал существующую систему «Университета» от нападок Бастиа и прочих. На позднейших ступенях своей

политической карьеры де Сент-Илер, известный своим крайним консерватизмом и даже реакционностью, занял более либеральные позиции. В знак протеста против Наполеона III он оставил пост профессора и отказался от административных обязанностей в Коллеж де Франс. После 1870 г. он как сторонник Тьера был избран в Национальную Ассамблею, стал членом кабинета Тьера, в 1875 г. был пожизненно избран сенатором, а в 1880 г. стал министром иностранных дел. – Прим. амер. перев.

10 Мишель де Монтень (Michel de Montaigne, 1533–1592) – знаменитый гуманист и эссеист эпохи Ренессанса. – Прим. амер. перев.

11 Пьер Корнель, «Гораций». Действие II, явление III. – Прим. амер. перев.

12 Один из трех братьев, убитый римлянином, после того как погибли оба его брата от рук того же римлянина. – Прим. перев.

13 Жители Салента – идеального города, придуманного Фенелоном. – Прим. перев.

14 Шарль Роллен (Charles Rollin, 1661–1741) – педагог, защитник привилегий Университета и поборник классического образования, автор «Traité des Études» (1726). – Прим. амер. перев.

15 Оноре Гибриель Рикети, граф Мирабо (Honoré Gabriel Riqueti, Comte de Mirabeau, 1749–1791) – один из величайших деятелей Французской революции, чей план по установлению конституционной монархии провалился из-за сопротивления короля и королевы, а также из-за радикальной смены политической ситуации после 1789 г. Он был председателем Клуба якобинцев, в котором состояли его ярые противники, и президентом Национальной Ассамблеи, а также докладчиком ее дипломатического комитета. – Прим. амер. перев.

16 Корнелия – мать братьев Гракхов. – Прим. перев.

17 Жак-Пьер Бриссо (Jacques Pierre Brissot, 1754–1793) – автор памфлетов, журналист, общественный реформатор и революционер. В первые годы Первой французской республики он был влиятельным депутатом-якобинцем и редактором газеты «Patriote français». Будучи деятелем французского движения за штурм работорговли, он возглавлял жирондистов (умеренную группу республиканцев), которых вначале называли «бриссотенами». Вместе с ними он был изгнан из Конвента и в 1793 г. казнен на гильотине. – Прим. амер. перев.

18 Эмерих де Ваттель (Emerich de Vattel, 1714–1767) – швейцарский юрист, который в своем «Трактате о праве людей» попытался применить естественное право к международным отношениям. Будучи либералом и филантропом, он отстаивал права нейтральных государств в военное время. Его труд оказал влияние на последующее развитие международного права. – Прим. амер. перев.

19 Дон Феликс де Азара (Don Felix de Azara, 1746–1811) – в течение двадцати лет был испанским уполномоченным по разграничению испанской и португальской территорий Южной Америки, автор книги «Путешествия в Центральную Америку в 1781–1801 гг.» (Voyage dans l'Amérique méridionale depuis 1781 jusqu'en 1801. Paris, 1809), включающей заметки о естественной истории Южной Америки и рассказ об истории и открытии Парагвая. – Прим. амер. перев.

20 Луи Антуан де Бугенвиль (Louis Antoine de Bougainville, 1729–1811) – французский мореплаватель и исследователь. Описал кругосветное плавание (1767–1769) в своей книге «Voyage autour du monde» (1771). Именем Бугенвиля назван самый большой из Соломоновых островов, который он посетил во время этого плавания. – Прим. амер. перев.

21 Теодор Роз Леон Альфред Сюдр (Théodore Rose Lion Alfred Sudre, род 1820) – публицист и экономист, автор «Histoire du communisme, ou Réfutation historique des utopies socialistes» (1848). – Прим. амер. перев.

22 Пьер Антуан, маркиз д'Антонель (Pierre Antoine, Marquis d'Antonelle, 1747–1817) –

журналист и политический деятель, автор «Катехизиса третьего сословия» (Catéchisme du tiers état, 1789). Был председателем на судебных процессах над Марией-Антуанеттой и жирондистами. – Прим. амер. перев.

23 Жан-Батист Карье (Jean Baptiste Carrier, 1756–1794) – печально известный руководитель террора. Чтобы обезопасить Нант от вандейского мятежа, он учредил революционный трибунал, приговоривший к гильотине огромное число заключенных, расстрельную команду и – его самое оригинальное и эффективное изобретение – баржи с люками в днище, с помощью которых он топил заключенных в Луаре. Сам Карье закончил жизнь на гильотине в декабре 1794 г. – Прим. амер. перев.

24 Жан-Поль Рабо Сент-Этьен (Jean Paul Rabaut Saint-Ëtienne, 1743–1793) – политический лидер, чья деятельность была направлена на уничтожение правового неравенства некатоликов. Он был жирондистом и с гибелью своей партии был казнен на гильотине. – Прим. амер. перев.

25 Приют «Пятнадцати-на-двадцать», первоначально богадельня для трехсот слепых бедняков. Позднее была подведомственна особой администрации того же имени и стала мастерской, где трудились ее пациенты. – Прим. амер. перев.

26 Публий Валерий Публикола – римский военачальник, сыгравший основную роль в изгнании Тарквиния в 510 г. до н. э. и с успехом защищавший Рим от вольсков, этрусков и сабинян. – Прим. амер. перев.

27 Цитата из пьесы Ж. Б. Мольера «Тартюф», сцена I, явление VI. (Пер. М. Лозинского):

Мой шурин, ваш ответ проникнут вольнодумством;
Оно и вообще в душе сидит у вас;
И, как я вам уже предсказывал не раз,
Вы на себя еще накличете напасти.

– Прим. изд.

28 Одно из подразделений «фаланги» Фурье. – Прим. амер. перев.

29 Анри Леон Камюза де Рианси (Henri Lion Camusat de Riansey, 1816–1870) – французский публицист и политический деятель, редактор основанного им в 1850 г. журнала «L'Union». Избранный в Ассамблею в 1845 г., он открыто противостоял республиканскому правительству и переменам в системе образования. – Прим. амер. перев.

30 Дени де Фрейсину (Denis de Fraÿssinous, 1765–1841) – ревностный служитель Церкви и глава Университета. – Прим. амер. перев.

31 Франсуа Виллемен (Franzоis Villemain, 1773–1854) – профессор Сорбонны, литературный критик и министр народного образования в 1839–1844 гг. – Прим. амер. перев.

32 Франсуа Пьер Гийом Гизо (Franzоis Pierre Guillaume Guizot, 1787–1874) – французский государственный деятель и историк, профессор истории в Сорбонне. Политическую карьеру начал с должности генерального секретаря министерства внутренних дел при правительстве Реставрации, в 1832 г. стал министром народного образования в правительстве Луи-Филиппа и, наконец, возглавил правительство в 1840–1848 гг. В юности Гизо был либералом, но его нарастающий консерватизм сделал его нежелательным для вождей революции 1848 г. и, начиная с этого времени, его политическое влияние быстро слабело. Как историк и организатор исторических исследований, он был в числе выдающихся личностей своего времени. – Прим. амер. перев.

33 Бартеlemi Проспер Анфантен (BarthËlemy Prosper Enfantin, 1796–1864) – инженер, один из основателей сен-симонизма. – Прим. амер. перев.

34 В отрывке, который мы частично воспроизвели в предыдущем примечании ([т. IV] с. 454 [наст. изд., с. 420–421, прим. 8]), автор рассматривает два вопроса:

1. Является ли самоотречение тем политическим стимулом, который предпочтительнее личного интереса?

2. Лучше ли практиковали такое самоотречение древние народы, в частности римляне, чем это делают народы современные?

Вполне понятно, что он дает отрицательные ответы на оба вопроса. Вот одно из его соображений на этот счет:

«Когда я жертвую частью моего достояния, чтобы возвести стены и поставить крышу с целью уберечь себя от воров и от непогоды, нельзя сказать, что тут я руководствуюсь идеей самоотречения; напротив, я хочу обезопасить себя и создать себе удобства.

Таким же образом, когда римляне жертвовали своими армиями ради собственного спасения, когда они рисковали жизнью в битвах, когда подчинялись почти невыносимой дисциплине, они не самоотрекались; совсем наоборот, они усматривали в этом единственный способ сберечь самих себя и не быть уничтоженными теми народами, которые непрерывно восставали против их насилия.

Я знаю, что многие римляне выказывали величайшее самоотречение и были беззаветно преданы делу спасения Рима. Но это легко объяснить. Интерес, определявший их политическую организацию, не был их единственным мотивом. Люди, привыкшие побеждать вместе, питавшие отвращение ко всему чуждому их объединению, должны были испытывать национальную гордость и экзальтированный патриотизм. Все воинственные народы, начиная с диких орд и кончая народами цивилизованными, ведущими войны лишь от случая к случаю, впадают в патриотическую экзальтацию. Тем более это относится к римлянам, само существование которых было постоянной войной. Такая национальная гордость, экзальтированная, соединенная с отвагой как следствием воинственных привычек, соединенная с вытекающим отсюда презрением к смерти, с любовью к славе, с желанием увековечить себя в грядущих поколениях, такая гордость должна была порождать и порождала блистательные деяния.

Поэтому я вовсе не говорю, что в столь военизированном обществе не могло появиться никакой добродетели и подлинной доблести. Меня тут же опровергли бы факты. Даже банды разбойников являют нам примеры храбрости, энергии, преданности, браваживания смертью, определенного великодушия и т. п. Но я утверждаю, что, как и банды грабителей, народы-грабители не стоят выше, с точки зрения самоотречения, народов-тружеников и народов-изобретателей. И я добавлю еще, что колоссальные пороки и злонамеренность народов первого типа никак не могут быть стерты отдельными впечатляющими актами благородства, которые даже лишаются своего благородства, потому что совершаются в ущерб человечеству». (Неизданный отрывок, написанный автором незадолго до 1830 г.) – Прим. ред.

35 Пьер Луи Паризи (Pierre Louis Parisis, 1795–1866) – французский священник и политический деятель, епископ Лангра (1835–1851) и Арраса (1851–1866). Будучи избран делегатом Конституционного Конвента 1848 г., проявил себя откровенным монархистом и поборником реакции; также с 1848 г. он был членом Высшего Совета «Университета», хотя во всем прочем с его политической карьерой покончил наполеоновский государственный переворот 1852 г. – Прим. амер. перев.

36 Лактанций. – Прим. амер. перев.

37 Боссюэ предлагал всем диссидентским сектам попросту вернуться в лоно римской католической церкви. – Прим. амер. перев.

38 См. в статье «Справедливость и братство», с. 316–317 [наст. изд. с. 130–167]. – Прим.

ред.

39 Подобных революции 1848 г. – Прим. амер. перев.

40 Велиар, или Велиал, – одно из имен дьявола в Священном писании. – Прим. перев.

Свобода, равенство

1 В первые месяцы 1850 г. автор, работавший тогда над вторым томом «Гармоний», начал для этого тома главу, названную «Свобода, равенство». Однако он вскоре отказался от такого названия и главу не закончил. Мы воспроизводим фрагмент из этой главы, который согласуется с замыслом и идеей только что прочитанного читателем труда. – Прим. ред.

Размышления о поправке г-на Мортимера-Терно

1 На заседании Законодательного собрания 1 апреля 1850 г., при обсуждении бюджета народного образования, представитель народа г-н Мортимер-Терно предложил, в форме запроса, снизить на 300 тысяч франков расходы на лицеи и колледжи – учреждения, посещаемые детьми из среднего класса.

По этому вопросу представители крайних левых голосовали вместе с крайними правыми. Поставленное на голосование предложение было отклонено незначительным большинством.

Бастиа сразу же опубликовал в одной ежедневной газете свое мнение об этом голосовании, которое мы и воспроизводим. – Прим. ред.

2 Луи-Мортимер Терно (Louis Mortimer-Ternaux, 1808–1871) – французский политический деятель и историк. Политический реакционер, он в период 1830–1871 гг. занимал различные государственные должности и как член Ассамблеи, и как депутат. Его взгляды наилучшим образом выражены в его труде «Histoire de la Terreur» (8 Vols. Paris, 1862–1881). – Прим. амер. перев.

Война кафедрам политической экономии

1 Тремя годами ранее своего рода манифестации, побудившей автора написать предыдущий памфлет, члены комитета Мимереля официально потребовали уволить профессоров и ликвидировать кафедры политической экономии; вскоре они одумались и ограничились требованием, чтобы теория протекционизма преподавалась одновременно и параллельно с теорией свободы торговли.

Вооружившись иронией, Бастиа выступил на страницах газеты «Либр эшанж», в номере от 13 июня 1847 г., с критикой такой претензии, которая тогда проявила себя еще впервые. – Прим. ред.

2 Здесь мы видим зародыш работы «Высшее образование и социализм». Особенно явно это прослеживается на последующих страницах настоящей статьи, а упомянутую работу см. в томе IV [см. наст. изд., с. 168–245]. – Прим. ред.

3 Жером Адольф Бланки (Jérôme Adolphe Blanqui, 1798–1854) – французский экономист и глава парижской École de Commerce. – Прим. амер. перев.

4 Пеллегрини Луиджи Росси (Pellegrino Luigi Rossi, 1787–1848) – политический деятель, юрист и выдающийся специалист в области политической экономии. Росси боролся за объединение Италии и за это был изгнан с родины. Он стал профессором права Женевской академии, а также депутатом федерального парламента от Женевы. В 1833 г. он стал профессором политической экономии в Collège de France, а в 1834 г. профессором

конституционного права в Сорбонне. Росси погиб в 1848 г. Как и Ж.-Б. Сэй, он был представителем практического идеализма, в котором, по мнению Бастиа, и заключалась суть политической экономии. – Прим. амер. перев.

5 Мишель Шевалье (Michel Chevalier, 1806–1879) – французский экономист и публицист. После раннего увлечения сен-симонизмом и редактирования «Le Globe» он стал поборником просвещенного индустриализма как способа обеспечить и социальный прогресс, и свободу индивида. В этом отношении, а также по своему отношению к свободе торговли он был соратником Бастиа. Шевалье (как и Кобден) участвовал в переговорах по знаменитому англо-французскому торговому соглашению 1860 г. – Прим. амер. перев.

6 Клеман Жозеф Гарнье (Clement Joseph Garnier, 1813–1881) – автор комментариев к Адаму Смиту, признанный как один из самых талантливых французских экономистов. Профессор парижской *École de Commerce*. – Прим. амер. перев.

7 Дугалд Стюарт (Dugald Stewart, 1753–1828) – шотландский философ основанной Томасом Рейдом школы «здравомыслия», политэконом классической школы. – Прим. амер. перев.

8 Г-н Вейтли, архиепископ Дублина, основавший в этом городе кафедру политической экономии, был одно время профессором в Оксфорде. – Прим. ред.

9 Антонио Дженовези (Antonio Genovesi, 1712–1769) – итальянский философ и экономист, профессор университета Неаполя. Он, как либерал и последователь Локка, отражал дух французского Просвещения. – Прим. амер. перев.

10 Чезаре Бонезана де Беккариа (Cesare Bonesana de Beccaria, 1738–1794) – итальянский философ, криминолог и экономист. Он был пламенным последователем французского Просвещения, а у себя на родине – красноречивым и пылким поборником справедливости и гуманизации уголовных процедур. Его труд «Преступления и наказания» – классический трактат по уголовному праву. – Прим. амер. перев.

11 Антонио Сциалоджа (Antonio Scialoja, 1817–1877) – итальянский экономист и государственный деятель, профессор политической экономии Туринского университета и поборник свободы торговли. После 1860 г. он состоял на службе итальянскому правительству как депутат и как министр кабинета. – Прим. амер. перев.

12 Рамон де Ла Сагра (Ramun de La Sagra, 1798–1871) – ботаник и экономист, член Кортесов. Его важнейшие труды в области экономики включают «Лекции по социальной экономике» (*Lecciones de economia social*, 1840), «Организация труда» (*Organizaciyn de trabajo*, 1848) и «Народный банк» (*Banco del pueblo*, 1849). – Прим. амер. перев.

13 Альваро Флорес Эстрада (Alvaro Florez Estrada, 1765–1833) – наиболее выдающийся испанский экономист первой половины XIX в. – Прим. амер. перев.

14 Хассе де Саламанка-и-Майоль (Josy de Salamanca y Mayo, 1811–1883) – испанский банкир и политический деятель. Помимо службы в министерстве финансов, он позднее был и депутатом, и сенатором. Он также занимался строительством железных дорог в Испании. – Прим. амер. перев.

15 См. в томе II декларацию о принципах Общества свободного обмена. – Прим. ред.

Торговый баланс

1 В дискуссии по общему бюджету расходов на 1850-й финансовый год г-н Моген довольно наивно излагал с трибуны старую и ложную теорию торгового баланса («Монитор» от 27 марта). Бастиа, который уже отверг ее в своих «Софизмах», счел нужным снова обрушиться на нее. Здоровье больше не позволяло ему подниматься на трибуну, и 29 марта 1850 г. он

послал в одну из ежедневных газет текст с изложением своих взглядов, который мы и воспроизводим. Следует заметить, что он упрощает гипотетические расчеты, с помощью которых иллюстрирует свой тезис, исключив некоторые показатели и моменты, использованные им в 1845 г. (См. том IV, с. 52 [Бастиа Ф. Экономические софизмы. Челябинск, Социум, 2010. С. 68–74].) – Прим. ред.

2 Франсуа Моген (Franzоis Mauguin, 1785–1854) – французский юрист и оратор. Будучи по убеждениям либералом, он завоевал славу как защитник множества тех, в ком видел жертв преследований правительства. Впервые был избран депутатом в 1827 г., а ко времени Луи-Филиппа его репутация выросла до невиданных высот. – Прим. амер. перев.

3 Огюст Адольф Дарбле (Auguste Adolphe Darblay, 1784–1873) – промышленник и депутат с 1840 по 1848 г.

4 Луи Лебеф Louis Lebeuf (1792–1854) – финансист и регент Банка Франции в 1835 г. Один из лидеров, наряду с Одье и Мимерелем, протекционистского Комитета защиты отечественной промышленности, избирался депутатом в 1837 г. и сенатором в 1852 г. – Прим. амер. перев.

Изобилие

1 Статья предназначалась для «Словаря политической экономии». Она была написана за несколько дней до отъезда автора в Италию, откуда он, увы, уже не вернулся. – Прим. ред.

2 См. в томе IV с. 5 и 163 (главы «Обилие, недостаток» и «Высокие и низкие цены») [Бастиа Ф. Экономические софизмы. Челябинск, Социум, 2010. С. 7 сл., 225 сл.]. – Прим. ред.

Мир и свобода, или Республиканский бюджет

1 Этот памфлет был опубликован в феврале 1849 г. Месяцем ранее автор поместил в «Журналь де деба» статью на ту же тему, которую мы воспроизводим сразу после «Мира и свободы» [см. ниже «Речь о налоге на напитки»]. – Прим. ред.

2 О политических взглядах автора см в томе V его публикации, относящиеся к выборам. – Прим. ред.

3 См. в томе IV статью «Государство», с. 327 [см. наст. изд., с. 1–16]. – Прим. ред.

4 См. в томе IV, с. 163 (из главы «Высокие и низкие цены») [Бастиа Ф. Экономические софизмы. Челябинск, Социум, 2010. С. 225 сл.]. – Прим. ред.

5 В памфлете «Грабеж и закон», открывающем настоящий том [Бастиа Ф. Грабеж по закону. Челябинск, Социум, 2006. С. 192–213], читатель видел, что автор не замедлил признать, насколько он ошибался, полагая, что протекционисты стали разумными. Правда, в начале 1849 г. они были гораздо более сговорчивыми, чем позднее. – Прим. ред.

6 Такая слепота общественности давно печалила автора, и как только ему стало известно об одной попытке укрепить повязку на глазах наших соотечественников, он почувствовал необходимость дать такой попытке бой. Однако, находясь в приюте Мюгрона, он не имел возможности опубликовать что-либо. Поэтому нижеследующее письмо, написанное его рукой несколько лет тому назад, так и оставалось неизданным.

Г-н Сольнье,

Издателю «Ревю британник»

Сударь,

Вы доставили большую радость всем тем, кто считает слово «экономность» абсурдным, смешным, невыносимым, буржуазным, мелочным. «Журналь де деба» хвалит вас, председатель

Совета министров цитирует вас, милости властей ждут вас. Так что же вы сделали, сударь, чтобы заслужить такое признание и одобрение? Вы показали на цифрах (а цифры, как известно, никогда не обманывают), что государственное управление обходится гражданам Соединенных Штатов дороже, чем французским подданным. Отсюда – строгий вывод (строгий для народа, разумеется), что во Франции абсурдно желать возведения каких-то пределов действиям да и самим масштабам властных структур.

Однако, сударь, – и прошу извинить меня вас, а также учреждения, занимающиеся статистикой, – ваши цифры, если считать их точными и достоверными, отнюдь не представляются мне неблагоприятными для американского правительства.

Прежде всего то обстоятельство, что одно правительство тратит больше другого, еще никак не свидетельствует о его доброте. Если, например, одно из правительств управляет молодой нацией, которой еще предстоит проложить дороги, прорыть каналы, замостить улицы городов, построить общественные здания, то вполне естественно, что оно тратит больше, чем правительство, которое лишь поддерживает в надлежащем состоянии уже сделанное. Вы не хуже меня знаете, сударь, что большие расходы в первом случае – это, собственно говоря, не расходы, а сбережения, это капитализация. Если бы речь шла, скажем, о земледелии, то разве вы смешивали бы между собой первоначальные вложения с ежегодными расходами?

При всем при том столь существенная разница в положении обеих стран ведет, согласно вашим же цифрам, всего-навсего к превышению на три франка в расчете на каждого гражданина Союза. Да и реально ли оно, это превышение? Нет, если опять-таки исходить из ваших данных. Вас это должно удивить, так как вы определили вклад каждого американца в 36 фр., а каждого француза в 33 фр. $36 = 33 + 3$. Безупречная арифметика! Да, но в политической экономии 33 часто стоят дороже, чем 36. Судите сами. Применительно к рабочей силе и товарам деньги имеют в Соединенных Штатах меньшую ценность, чем во Франции. Ведь вы сами определяете цену рабочего дня в 4 фр. 50 с. в Соединенных Штатах и в 1 фр. 50 с. во Франции. Отсюда следует, как я полагаю, что американец платит 36 фр., проработав восемь дней, а французу для уплаты 33 фр. надо трудиться двадцать два дня. Правда, вы утверждаете, что в Соединенных Штатах дневной труд сельского работника выкупается за 3 фр. и что, следовательно, цена рабочего дня должна быть там определена в 3 фр. На это у меня есть два ответа. Во Франции один день труда сельского работника выкупается за 1 фр. (у нас, видите ли, тоже есть сельские поденщики, о которых вы ничего не говорите). Далее, если рабочий день в Соединенных Штатах стоит лишь 3 фр., то американцы не будут платить 36 фр., и чтобы дотянуть до цифры 4 фр. 50 с., вы привлекаете все на свете рабочие дни и включаете сюда самый разный труд граждан – полицейских, сельских жителей, работающих на стороне, корпус присяжных заседателей и т. п.

И это не единственная ваша хитрость в ваших усилиях по поднятию до 36 фр. ежегодного вклада каждого американца.

Вы приписываете правительству Соединенных Штатов расходы, которых оно не делает. Чтобы оправдать столь странное суждение, вы заявляете, что эти расходы все равно ложатся на граждан. Но о чем речь? О том ли, чтобы выяснить, какие расходы делают граждане добровольно, а какие представляют собой собственно расходы правительства?

Всякое правительство создается для исполнения определенных функций. Когда оно занимается чем-то другим, оно обращается к кошельку граждан и тем самым уменьшает их доход, которым в принципе они должны распоряжаться свободно во всей его полноте. Правительство становится одновременно и воров, и угнетателем.

Народ, обладающий достаточной мудростью, чтобы заставить свое правительство ограничить свою деятельность обеспечением безопасности каждому и платящее ему лишь

строго необходимое именно для этого, потребляет и использует все остальные свои доходы, руководствуясь собственными способностями, нуждами и вкусами.

Но народ, у которого правительство вмешивается во все на свете, не тратит ничего сам и для себя, а тратит посредством властей и для властей. И если французская публика думает так же, как и вы, сударь, если ей безразлично, проходит ли ее богатство через руки чиновников, то я не удивлюсь тому, что в один прекрасный день мы все будем иметь жилище, пищу и одежду за счет государства. Но все это будет делаться за наш счет, а, по вашему мнению, не имеет особого значения, будем ли мы получать эти тощие блага за счет налогов или же посредством прямой покупки. Наши министры поддерживают такое мнение, и это убеждает меня в том, что скоро мы будем одеваться по фасону, придуманному ими, и получать священников, адвокатов, профессоров, медиков, лошадей и табак по их усмотрению.

Имею честь и проч.

Фредерик Бастиа.

– Прим. ред.

7 См. в томе IV статью «Закон», с. 342, а также пассаж на с. 381–386 [Бастиа Ф. Закон // Бастиа Ф. Грабеж по закону. Челябинск, Социум, 2006. С. 1–2, 63–73]. – Прим. ред.

8 В рукописях автора мы находим следующий текст, который имеет отношение к только что сказанному, но не был включен в статью:

– Почему наши финансы находятся в таком беспорядке?

– Потому что для нас, избранных народа, нет ничего легче, чем проголосовать за статьи расходов, и нет ничего труднее, чем проголосовать за статьи доходов. Если вы хотите, чтобы я выразился иначе, то скажу, что жалованья хороши, а налоги тяжелы.

– Но я знаю еще об одной причине: все хотят жить за счет государства и забывают, что государство живет за счет всех. – Прим. ред.

9 Намек на совершенно нелепое обвинение сторонников свободы обмена в том, что они, мол, продались англичанам. – Прим. ред.

Речь о налоге на напитки

1 Эта импровизация была произнесена в Законодательном собрании 12 декабря 1849 г. – Прим. ред.

2 Можно сказать, что налогоплательщики жалуются на тяжесть обложения сугубо инстинктивно, так как очень немногие из них знают и верно понимают, во что им обходится управление страной. Мы хорошо знаем, что такое поземельный налог, но не знаем, сколько и за что берут с нас налогов за потребление. Я всегда думал, что нет ничего более благоприятного для развития наших знаний и наших конституционных обычаев, нежели система, так сказать, индивидуальной бухгалтерии, когда каждый получает сведения, сколько всего и сколько по отдельным позициям ему надо платить.

В ожидании, когда г-н министр финансов распишет по годам и для каждого из нас прямые налоги, пополняющие наш текущий счет в казначействе, я попытался сам набросать соответствующие формуляры на основе бюджета 1842 г.

Вот вам счет некоего г-на Н., собственника, платящего 400 фр. прямых налогов, что предполагает доход, самое большее, в 2400–2600 фр.

Долг. Государственная казна, ее текущий счет на имя г-на Н.

Суммы, полученные от г-на Н. в 1843 г.:		
Прямое налогообложение	500 фр.	9 с.
Регистрация, гербовый сбор, владение	504	17
Таможенные сборы и соль	158	0
Лесные угодья и рыбная ловля	30	10
Косвенные налоги	206	67
Почтовые расходы	39	0
Расходы на образование	2	50
Расходы на различные продукты	21	87

Всего	1162 фр.	31 с.
Авуар. Суммы, потраченные в интересах г-на Н.		
Проценты по государственному долгу	353 фр.	0 с.
Гражданский лист	14	0
Судебное ведомство	20	0
Церковь	36	0
Дипломатическая служба	8	0
Народное образование	16	0
Расходы, составляющие государственную тайну	1	0
Телеграф	1	0
Поощрения музыкантам и танцовщицам	3	0
Расходы на туземцев, больных, увечных	1	10
Помощь беженцам	2	15
Поощрения сельскому хозяйству	0	80
Поощрения морскому рыболовству	4	0
Поощрения мануфактурам	0	23
Конные заводы	2	0

Всего	462 фр.	28 с.
Перенос	462 фр.	28 с.
Овчарни	0	63
Помощь колонистам	0	87
Помощь пострадавшим от наводнений и пожаров	1	90
Департаментские службы	72	0
Префекты и супрефекты	7	20
Дороги, каналы, мосты и порты	52	60
Армия	364	0
Военный флот	114	0
Колонии	26	0
Расходы на налоговые сборы и административные расходы	150	0

Всего	1251 фр.	48 с.

Разность между долгом, 1162 фр. 31 с., и авуаром, 1251 фр. 48 с., составляет 80 фр. 17 с. Такое сальдо означает, что казна потратила по счету г-на Н. на 89 фр. 17 с. больше, чем получила от него. Но пусть г-н Н. не беспокоится. Господа Ротшильд со товарищи прочно обеспечили себе авансирование этой суммы, и г-ну Н. остается вечно платить по ней проценты, так что у него будут ежегодно изымать еще 4 или 5 фр. (Неизданный рукописный текст, помеченный 1843-м годом.) – Прим. ред.

Последствия снижения налога на соль

1 «Журналь де деба», 1 января 1849 г. – Прим. ред.

Речь о наказании за промышленные коалиции

1 Ст. 413, 415 и 416 Уголовного кодекса предусматривают наказание, но не одинаковое, за создание коалиций хозяев и коалиций рабочих. Предложение убрать эти статьи было направлено Законодательным Собранием на рассмотрение специально образованной для этого комиссии, но та сочла предложение неприемлемым и пришла к заключению, что нужно сохранить эти репрессивные положения кодекса, придав им, однако, более беспристрастный характер.

Можно утверждать, что такая цель не была достигнута выдвинутыми предложениями об изменении трех вышеупомянутых статей. Г-н Морен, владелец мануфактуры и представитель департамента Дром, убежденный в том, что единственная основа, на которой может установиться доброе согласие между рабочими и хозяевами, это равенство перед законом, счел необходимым сделать запрос и внести поправки в выводы комиссии с тем, чтобы твердо соблюдался принцип равенства. Его запрос поддержал Бастиа на заседании 17 ноября 1849 г. – Прим. ред.

Русские переводы сочинений Бастиа

Война кафедрам политической экономии // Бастиа Ф. Протекционизм и коммунизм. Челябинск: Социум, 2011. С. 257–64.

Высшее образование и социализм // Бастиа Ф. Протекционизм и коммунизм. Челябинск: Социум, 2011. С. 168–45.

Государство // Бастиа Ф. Протекционизм и Коммунизм. Челябинск: Социум, 2006. С. 1–5.

Государство // Бастиа Ф. Что видно и чего не видно. Челябинск: Социум, 2006. С. 88–05.

Государство // Бастиа Ф. Экономические гармонии. Избранное. М.: Эксмо, 2007. С. 777–84.

Грабеж и закон // Бастиа Ф. Грабеж по закону. Челябинск: Социум, 2006. С. 192–13.

Даровой кредит (полемика с П.-Ж. Прудоном) // Бастиа Ф. Экономические гармонии. Избранное. М.: Эксмо, 2007. С. 447–96.

Закон // Бастиа Ф. Грабеж по закону. Челябинск: Социум, 2006. С. 1–4.

Изобилие // Бастиа Ф. Протекционизм и коммунизм. Челябинск: Социум, 2011. С. 271–81.

Капитал и рента // Бастиа Ф. Экономические гармонии. Избранное. М.: Эксмо, 2007. С. 423–46.

Кобден и Лига: Движение а свободу торговли в Англии // Бастиа Ф. Экономические гармонии. Избранное. М.: Эксмо, 2007. С. 839–191.

Кобден и Лига: Движение а свободу торговли в Англии . Челябинск: Социум, 2003. 732 с.

Мир и свобода, или республиканский бюджет // Бастиа Ф. Протекционизм и коммунизм. Челябинск: Социум, 2011. С. 282–52.

Парламентские несовместимости // Бастиа Ф. Протекционизм и коммунизм. Челябинск:

Социум, 2011. С. 71–29.

Последствия снижения налога на соль // Бастиа Ф . Протекционизм и коммунизм. Челябинск: Социум, 2011. С. 384–90.

Проклятые деньги // Бастиа Ф . Экономические гармонии. Избранное. М.: Эксмо, 2007. С. 785–02.

Протекционизм и коммунизм // Бастиа Ф . Протекционизм и коммунизм. Челябинск: Социум, 2011. С. 17–0.

Размышления о поправке г-на Мортимера-Терно // Бастиа Ф . Протекционизм и коммунизм. Челябинск: Социум, 2011. С. 251–56.

Речь о наказании за промышленные коалиции // Бастиа Ф . Протекционизм и коммунизм. Челябинск: Социум, 2011. С. 391–13.

Речь о налоге на напитки // Бастиа Ф . Протекционизм и коммунизм. Челябинск: Социум, 2011. С. 353–82.

Свобода, равенство // Бастиа Ф . Протекционизм и коммунизм. Челябинск: Социум, 2011. С. 246–50.

Собственность и грабеж // Бастиа Ф . Грабеж по закону. Челябинск: Социум, 2006. С. 118–91.

Собственность и закон // Бастиа Ф . Грабеж по закону. Челябинск: Социум, 2006. С. 85–17.

Справедливость и братство // Бастиа Ф . Протекционизм и коммунизм. Челябинск: Социум, 2011. С. 130–67.

Торговый баланс // Бастиа Ф . Протекционизм и коммунизм. Челябинск: Социум, 2011. С. 265–70.

Что видно и чего не видно . Челябинск: Социум, 2006. С. 1–7.

Что видно и чего не видно // Бастиа Ф. Экономические гармонии. Избранное. М.: Эксмо, 2007. С. 801–38.

Экономические гармонии // Бастиа Ф. Экономические гармонии. Избранное. М.: Эксмо, 2007. С. 47–20.

Экономические софизмы . М.: Экономика, Социум, 2001. 304 с.

Экономические софизмы // Бастиа Ф. Экономические гармонии. Избранное. М.: Эксмо, 2007. С. 597–76.

Экономические софизмы . Челябинск: Социум, 2010. 415 с.

Серия «Библиотека ГВЛ»

Бастиа Ф. Грабеж по закону

Челябинск: Социум, 2006. 264 с. (Библиотека ГВЛ: Право)

Бастиа Ф. Что видно и чего не видно

Челябинск: Социум, 2006. 144 с. (Библиотека ГВЛ: Экономика)

Бастиа Ф. Экономические софизмы

Челябинск: Социум, 2010. 415 с. (Библиотека ГВЛ: Экономика)

Бентам И. Тактика законодательных собраний

Челябинск: Социум, 2006. 206 с. (Библиотека ГВЛ: Политика)

Гумбольдт В. фон. О пределах государственной деятельности

Челябинск: Социум, 2009. 303 с. (Библиотека ГВЛ: Политика)

Джевонс У. С. Деньги и механизм обмена

Челябинск: Социум, 2006. 180 с. (Библиотека ГВЛ: Деньги)

Кэллахан Дж. Экономика для обычных людей

Челябинск: Социум, 2006. 423 с. (Библиотека ГВЛ: Экономика)

Лебон Г. Психология народов и масс

Челябинск: Социум, 2009. 398 с. (Библиотека ГВЛ: Политика)

Мизес Л. фон. Бюрократия

Челябинск: Социум, 2006. 196 с. (Библиотека ГВЛ: Политика)

Мизес Л. фон. Либерализм

Челябинск: Социум, 2007 336 с. (Библиотека ГВЛ: Политика)

Милль Дж. С. Рассуждения о представительном правлении

Челябинск: Социум, 376 с. (Библиотека ГВЛ: Политика)

Ротбард М. Государство и деньги

Челябинск: Социум, 2008. 200 с. (Библиотека ГВЛ: Деньги)

Тамм С. Собственность

Челябинск: Социум, 2010. 126 с. (Библиотека ГВЛ: Экономика)

Хайек Ф. Цены и производство

Челябинск: Социум, 2008. 202 с. (Библиотека ГВЛ: Экономика)

Энджел Н. Великое заблуждение: Очерк о мнимых выгодах военной мощи наций

Челябинск: Социум, 2009. 409 с. (Библиотека ГВЛ: Политика)